

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

РЕВОЛЮЦИЯ КАК КОНЦЕПТ И СОБЫТИЕ

МОНОГРАФИЯ

**Москва
2015**

Рецензенты:

Малахов В.С. – доктор политических наук, профессор
(Центр теоретической и прикладной политологии
факультета государственного управления РАНХиГС)

Шарова В.Л. – кандидат политических наук
(Институт философии РАН)

Косов Г.В. – доктор политических наук, профессор
(Пятигорский государственный лингвистический университет)

Революция как концепт и событие: монография

Редколлегия: Вартумян А.А., Ильинская С.Г., Федорова М.М. – М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2015. – 183 с.

Монография посвящена категории революции, основательно изученной к 1980-м годам, однако нуждающейся в серьезном переосмыслении в связи с политическими событиями конца XX – начала XXI века. Феномен «бархатных» революций в социалистическом лагере, «цветные» революции на постсоветском пространстве, события «арабской весны» и мн. другие явления последних трех десятилетий уже не раз провоцировали академическое сообщество на обращение к теме революции. В сборнике представлены: концептуальное осмысление понятия, анализ логики его исторического развития, а также интерпретации в российском контексте. Рассмотрена взаимосвязь понятия «революция» с категориями «свобода», «справедливость», «разум», «воля», «история», «социальный прогресс», «эмансипация», «модернизация», «реакция» и др. В работе приняли участие представители абсолютно всех поколений отечественной политико-философской мысли. В книге присутствует не только осмысление революций прошлого, но и прогнозы относительно революций будущего. Они разноплановы, однако у большинства авторов перспектива грядущих изменений неизменно приобретает антикапиталистические черты.

ISBN 978-5-91672-069-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ответственного редактора	4
РЕВОЛЮЦИЯ КАК КОНЦЕПТ	6
Раздел I	
Глава I. О понятии «революция» (<i>Б. Г. Капустин</i>)	6
Глава II. Теоретические модели революций индустриального общества (<i>Е. А. Самарская</i>)	32
Глава III. О революциях будущего (<i>А. Б. Баллаев</i>)	44
Глава IV. Реквием по революции (<i>С. Г. Ильинская</i>)	64
РЕВОЛЮЦИЯ И ЛОГИКА ИСТОРИИ	80
Раздел II	
Глава I. Революция и История (Революция в контексте времени Истории и времени Политики) (<i>М. М. Федорова</i>)	80
Глава II. Логика развития европейских революций XVI-XIX вв. (<i>А. Г. Глинчикова</i>)	97
Глава III. Революция и социальный прогресс (<i>Б. Ю. Кагарлицкий</i>)	106
Глава IV. Между реакцией и революцией (Чернышевский и Герцен: послание потомкам) (<i>Г. Г. Водолазов</i>)	116
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ	122
Раздел III	
Глава I. Социально-экономические истоки Русской революции (<i>И. К. Пантин</i>)	122
Глава II. Революционная символика как структурообразующая основа формирования новой политической реальности (на материалах Северного Кавказа периода Февральской революции) (<i>А. А. Вартумян, Т. А. Корниенко</i>)	133
Глава III. Революция 1991 года: к обоснованию понятия (<i>Д. Э. Летняков</i>)	141
Глава IV. «Октябрьский переворот» или «Великая российская революция»? Переосмысление «мифа основания» СССР в политическом дискурсе постсоветской России (<i>О. Ю. Малинова</i>)	152
БИБЛИОГРАФИЯ	174
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	183

Предисловие ответственного редактора

Сборник «Революция как концепт и событие» посвящен понятию «революция», причем в равной мере, как его теоретическим формулировкам, так и их преломлениям на практике. Одни авторы, рассматривая феномен с применением различных теоретико-концептуальных подходов, нередко иллюстрируют свои утверждения конкретными примерами революций, а другие, вроде бы обращаясь к понятию революции в событийной логике, тем не менее, успешно теоретизируют на этот счет.

Первый раздел «Революция как концепт» начинается статьей Бориса Капустина, главный вывод которой: «Окончательно похоронить революцию, пока продолжается Современность, в самом деле, очень непросто», и кончается... «Реквиемом по революции» ответственного редактора. В нем же Елена Самарская рассматривает эволюцию теоретических моделей революций индустриального общества, а Андрей Баллаев размышляет о революциях будущего, набрасывая контуры устройства постреволюционного общества.

С одной стороны, статья Б. Капустина, в первом своем варианте написанная и опубликованная ранее, была, в некотором роде, «программной», и многие авторы ссылаются на нее. В то же время, представленная вниманию читателя книга не лишена внутренней полемики, и в этом, скорее, ее достоинство, а не недостаток. Вместо того чтобы дать ответы на все поставленные вопросы, наш коллективный труд заставляет читателя задуматься, позволяет ему придти к собственным выводам по заявленному кругу проблем.

Несмотря на то, что остальной коллектив писал свои тексты параллельно, оказалось, что некоторые из них буквально пропитаны рядом идей, которые, очевидно, «витают в воздухе», в отдельных случаях независимо друг от друга авторы приходят к схожим выводам или исходят из общих методологических установок. Если Мария Федорова во втором разделе «Революция и логика истории» рассматривает историческую изменчивость семантической наполненности понятий, то Ольга Малинова в разделе третьем подробно анализирует, как именно и с какой целью (а также с какими

последствиями) события октября 1917 года были интерпретированы различными политическими силами в политическом дискурсе постсоветской России. Философские рассуждения той же Федоровой о структурировании опыта участия в осуществлении общественно-политической практики и приобретении идентичности агента исторического действия хорошо иллюстрирует исследование революционной символики в качестве структурообразующей основы для формирования новой политической реальности после Февральской революции Арушана Вартумяна и Татьяны Корниенко. Утверждение Б. Капустина о том, что субъект революции не предшествует революции, а создается ею самой, убедительно дополняют размышления Бориса Кагарлицкого о «революционной партии».

Современная монография о революции была бы неполной без исторической реконструкции логики развития европейских революций XVI-XIX вв., осуществленной Аллой Глинчиковой, без анализа взаимосвязи понятия революции с понятием социального прогресса Б. Кагарлицкого и констатации утраты такового во всех современных нам примерах революций.

Авторский коллектив постарался уделить внимание отечественной почве, которая немало привнесла в теорию и практику революции. Причем российский опыт отражен не только в третьем разделе «Революция в российском контексте», к нему в отдельных случаях апеллируют авторы и первых двух разделов, в том числе путем актуализации размышлений на этот счет, представленных в истории отечественной политико-философской мысли, осуществленной Григорием Водолазовым.

Особую ценность работе придает то, что в ней приняли участие интеллектуалы различных возрастов, убеждений и социальных идентичностей: столичные академические исследователи и региональные преподаватели, последовательные революционеры и закоренелые консерваторы, классические марксисты и новые левые, признанные мировым сообществом корифеи философской мысли и упрямые почвенники, представители абсолютно всех поколений российских ученых (от 80-летних до 30-летних). Так, анализ социально-экономических корней Русской революции осуществлен в работе пионером отечественной политологии

Игорем Пантиным, а обоснование революционности преобразований 1991 года в нашей стране – молодым, но уже достаточно авторитетным Денисом Летняковым. Для статей, включенных в сборник, характерно не только тематическое пересечение, они также взаимно дополняют друг друга, и если в одной работе какая-то линия рассуждения только намечена, то у другого автора

она подробно и основательно раскрыта. В целом можно констатировать, что у авторского коллектива возникло не очень много внутренних разногласий и, в итоге, получился вполне взвешенный взгляд на исследуемое понятие.

Светлана Ильинская

РАЗДЕЛ I. РЕВОЛЮЦИЯ КАК КОНЦЕПТ

Глава I. О понятии «революция»

Б. Г. Капустин

Цель данного эссе — способствовать прояснению предмета понятия «революция». Это возможно только в контексте полемики, в котором это понятие существует. Я начну с «предварительных замечаний», в которых в тезисной форме обозначу собственную позицию по рассматриваемому вопросу. Далее я попытаюсь обосновать изложенные в «предварительных замечаниях» тезисы, затрагивая следующие темы: «многозначность понятия революции», «революция и Современность (modernity)», «онтология непредсказуемости революций», «революция как политическое событие». Итогом работы, хотя скорее политическим, чем теоретическим, можно считать заключительную часть параграфа о «революции как событии».

Предварительные замечания

Под прояснением предмета понятия «революция» я *не* имею в виду достижение такого его определения, которое — вследствие его логического и концептуального совершенства — «окончательно» бы устранило разночтения «революции». Более того, я считаю сами попытки двигаться в этом направлении бесперспективными и неплодотворными. Аргументация в пользу такой точки зрения будет приведена ниже, а сейчас укажу на следующее. «Окончательное» определение революции возможно только в рамках и в качестве продукта универсальной теории революции, которая потому и может считаться универсальной, что схватывает некую неизменную сущность революции (своеобразно *обнаруживающуюся* в разных революционных явлениях). Такую сущность можно описывать по-разному — методами философии истории, («ортодоксального») исторического материализма, общей социологической теории революции или иначе, но универсалистская претензия на познание причинной обусловленности «эмпирических» явлений революции ее сущностью от этого не изменится.

Я солидарен с теми, кто сомневается в целесообразности и даже возможности построения универсальной теории революции.¹ Если, как я постараюсь показать ниже, революции есть особый вид историко-политической практики — с атрибутами «случайности», «свободной причинности» (в смысле прекращения или приостановки действия некоторых причинно-следственных детерминаций, определявших дореволюционный статус-кво), спонтанного появления дотоле неизвестных форм идентичности и субъектности коллективных акторов, то революции не могут мыслиться в качестве проявлений предпосланных им и как бы существующих «до» них и независимо от них сущностей. Они сами в своих конкретных проявлениях и есть свои «сущности».

Это, с одной стороны, есть лишь парадокс ницшеанского возражения против философского «удвоения мира» (в данном случае — против «удвоения» революций на их сущность и проявления последней). Но, с другой стороны, это есть тезис против общей теории революции, ее претензий на способность объяснять и предвидеть революции, пусть и «в общих чертах», на уровне «закономерностей», а не конкретных деталей и точных дат.² Соответственно, это тезис направлен и против возможности «окончательного» определения понятия «революция». Если тезис верен, то мы останемся с понятиями (во множественном числе!) революций как продуктов *теорий*

¹ Объяснение таких сомнений, впрочем, весьма отличное от того, которое далее дам я, см. Skocpol T. (with M. Somers). The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry // Social Revolutions in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 90.

² Объяснение и предвидение являются сторонами одного и того же спекулятивно-теоретического синдрома, и они невозможны одно без другого. Ведь объяснение, исходящее из *метасобытийной* сущности или закономерности, есть и предсказание того, *как* эта сущность или закономерность будут, или не будут, проявлять себя в других событиях в будущем. Гегелевская философская сова Минервы, разумеется, вылетает только в сумерки, но то, *как* она апостериорно и *сущностно* объяснила Французскую революцию, стало *в то же время* предсказанием «конца истории» и *невозможности* подобных событий в будущем.

конкретных событий, находящихся в компетенции исторической политической социологии,³ а отнюдь не спекулятивной «метаисторической» теории того или иного вида. Но, как мы увидим дальше, и этим плюрализм «концептов революции» не ограничивается.

Что же тогда остается на долю «общего» понятия «революция», и как тогда можно прояснить его предмет? Отказывая общему понятию «революция» в способности схватить «сущность» революции (толкуют ли ее как некие «обязательные» следствия революции, ее «характерные» движущие силы, «типичные» методы – вроде «революционного насилия» – или иначе), мы все же можем признать, что оно в состоянии фиксировать некие *общие условия*, благодаря которым происходят события, именуемые революциями. Эти условия не определяют то, *что* и *как* в революциях происходит. Но они устанавливают их практическую возможность и, соответственно, их *теоретическую мыслимость*⁴.

Я полагаю, есть три таких важнейших условия. Первое – общий *контекст современности*, понимаемой, разумеется, не в смысле «происходящего в настоящее время», а в качестве культурной и политико-экономической динамики, в которой находится *наш* мир где-то с XVII-XVIII веков и которая в свою очередь «запущена» возникшими примерно тогда же и не поддающимися «окончательным» решениям проблемами.⁵ Второе условие – *событийный* характер революций, имея в виду под «со-

бытием» не просто любое случающееся нечто, а именно определенную форму протекания исторических практик с присущими ей разрывами эволюционного континуума, приемами «денатурализации» того, что Пьер Бурдьё называл «доха», и соответствующих структур подчинения,⁶ ролью в них «свободной причинности» и т.д. Третье условие – способность коллективных акторов выступать в качестве политических субъектов. При этом под «субъектом» мы будем подразумевать обусловленную историческими обстоятельствами и определенным образом организованную силу, способную своей деятельной волей менять (до некоторой степени) сами обстоятельства своего образования, а не излюбленную мишень деконструктивистской критики – фантастического «философского (или «метафизического») субъекта».⁷

С учетом этих трех условий революции мы можем дать общее ее определение: *революция есть современное событие, определяемое возникновением и (последующим) исчезновением политической субъектности*. Данное определение является в содержательном отношении бедным и абстрактным. Оно может иметь только служебную роль – давать исходную ориентацию теоретическим исследованиям конкретных революционных практик. Оправданность его зависит от того, насколько такая ориентация способна содействовать плодотворности подобных исследований. Логико-теоретическая состоятельность и надежность предложенного определения должны постоянно проверяться посредством его полемического «трения» о другие определения революции, возникшие в иных

³ В духе того ее варианта, который сформировался в американской исторической социологии и который называется «социологией событий». Репрезентативные примеры такого подхода см. Abrams P. Historical Sociology. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1982, особенно С. 190-226; Sahlin M. The Return of the Event, Again // Clio in Oceania: Toward a Historical Anthropology. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1991; Abbot A. From Causes to Events // Sociological Methods and Research. 1992. Vol. 20. № 4; Griffin L. Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology // Sociological Methods and Research. 1992. Vol. 20. № 4; Sewell W.H., Jr. Historical Events as Transformations of Structures // Theory and Society. 1996. Vol. 25. № 6 и др.

⁴ Практическая возможность и теоретическая мыслимость необходимо взаимосвязаны. Роберт Дарнтон показывает то, как наш политический словарь возникает из усилий революционных практик *осмыслить себя*. «Вначале был опыт, затем – концепт», – резюмирует Дарнтон свое рассуждение. См. Darnton R. What Was Revolutionary about the French Revolution? // The French Revolution in Social and Political Perspectives, ed. P. Jones. L.: Arnold, 1996. P. 19.

⁵ Более подробно о таком понимании современности я писал в другой работе. См. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. С. 11-36.

⁶ Под этим имеется в виду «подъем более-менее значительной части доксы до уровня эксплицитных высказываний», что открывает возможность теоретического и практического оспаривания дотоле принимавшихся за самоочевидные элементов «картины мира» и легитимизируемых ими (опять же – в качестве «естественных», т.е. безальтернативных) структур господства. «Денатурализация» доксы, согласно Бурдьё, является важнейшим условием и аспектом политической борьбы. См. Bourdieu P. Pascalian Meditations / Tr. R. Nice. Stanford (CA): Stanford University Press, 2000. P. 184 ff.

⁷ Логика проводимого мной противопоставления «исторического субъекта» и «философского субъекта» близка к той, которой следует Винсен Декомб, обосновывая противоположность «suppositum» (субъекта действия) и картезианско-кантовско-фихтеанского «субъекта философии субъекта» и показывая политическую иррелевантность деконструктивистских борений с последним. См. Descombes V. A propos of the «Critique of the Subject» and of the Critique of this Critique // Who Comes after the Subject? Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, 1991.

концептуальных форматах. Именно так, а не через наивное его сопоставление с «реальными фактами», может производиться его корректировка.

*О «протейности»
понятия «революция»*

Даже самое беглое знакомство с литературой, посвященной теории революции и описанию практик различных революций, показывает то, что термин «революция» используется в самых разных значениях. Формы дискурсивного бытования этого термина неоднократно становились предметом самостоятельных исследований. Они могут быть очень полезными для прояснения понятия «революция», если они не ограничиваются простым описанием его перемещений из одного «семантического гнезда» в другое, преследующим незатейливую цель показать его бесконечную «протейность» и тем самым – его принципиальную *атеоретичность* (в этой логике Л.Е. Бляхер уподобил «революцию» «блуждающей метафоре»), что, в свою очередь, должно подвести к мысли о «карнавальном характере» как дискурса о революциях, так и самих революций.⁸

«Карнавальный характер» революций – отдельный и сам по себе очень любопытный вопрос, на котором я не буду здесь специально останавливаться, поскольку он не связан напрямую с обсуждаемой полисемантической термина «революция». Отмечу лишь то, что карнавальный элемент, действительно, был присущ ряду революций, но, как таковой, он не свидетельствует об их исторической плодотворности или бесплодии, как и не объясняет их победы или поражения. Наблюдая его и стремясь понять характер той или иной революции, мы, вероятно, должны научиться отличать собственно революционные карнавалы от тех, благодаря которым власть, по выражению Ж. Баландьё, «позволяет ритуально оспаривать себя с тем, чтобы более эффективно себя консолидировать».⁹ В последнем случае мы имеем дело, скорее, с

*контр*революционным карнавалом, в основе которого лежит «превращение в товар даже недовольства [существующими порядками]», явление, столь ярко описанное в концепции «общества зрелища» Ги Дебора.¹⁰ Неразличение этих противоположных по своему политическому характеру карнавалов закрывает возможность понимания революции.

Полисеманτικότητα или поливалентность понятия «революция» сама является серьезной теоретической проблемой, нуждающейся в систематическом объяснении. Его мы, конечно же, не найдем на уровне рассмотрения идиосинкразических предпочтений тех или иных авторов, пишущих о революциях. «Революция» принадлежит к разряду тех продуктов мысли, которые школа *Begriffsgeschichte* относил к «основным понятиям» Современности. Их делает таковыми (в том числе) их присутствие в поле непрерывного дискурса, т.е. их принципиальная оспариваемость с разных идейно-политических позиций именно потому, что такие «основные понятия» *необходимы* для осмысления реальности современного мира и в то же время необходимым образом *участвуют* в ее производстве. Иными словами, оспариваемость понятия «революция» обусловлена его необходимой включенностью в те идейно-политические практики, взаимодействие которых и борьба между которыми конституируют современный мир в его характерной динамике. В свете этого необходимая полисеманτικότητα понятия «революция» может быть объяснена (именно как необходимость) только посредством исследования структуры и исторической динамики дискурса о революции под углом зрения его включенности в политические практики, формировавшие и формирующие нашу Современность. И такая работа уже успешно начата в рамках той же школы *Begriffsgeschichte*.¹¹

¹⁰ См. Debord G. The Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, 1977, par. 59. Автор приносит читателям извинения за то, что вынужден ссылаться на иноязычные издания текстов, имеющих в русских переводах. Последние в период написания данного эссе были ему недоступны.

¹¹ См. статью о «революции» Рейнхарта Козеллека и соавторов в *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur Politisch-Sozialen Sprache in Deutschland*. Bd. 5. Stuttgart: Klett-Cotta, 1984; Koselleck R. Historical Criteria of the Modern Concept of Revolution // Koselleck R. *Futures Past; On the Semantics of Historical Time*. NY: Columbia University Press, 2004 и др. Рассмотрение методологии и результатов таких исследований невозможно в рамках данной статьи.

⁸ См. Бляхер Л. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала // Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 17, 23.

⁹ Balandier G. *Political Anthropology* / Tr. A. Sheridan Smith. NY: Random House, 1970. P. 41.

Стоит обратить особое внимание еще на одно обстоятельство, обуславливающее полисемантическую термин «революция», которое, впрочем, должно быть зафиксировано при последовательном проведении описанного выше подхода. Дело в том, что этот термин синхронически и диахронически присутствует в разных полях и пластах культуры, в каждом из которых он живет по присущим данному полю или пласту «законам». Вместе с тем эти разные жизни термина «революция» «интерферируют» и неким образом переливаются друг в друга. Впрочем, это характерно для *всех* «основных понятий» Современности – никакой уникальностью термин «революция» в этом плане не обладает. Но это важно учесть для понимания того, почему все усилия дать «единственно правильное» определение революции оказались неудачными.¹²

В самом деле, «революция» существует и как продукт (и орудие) воображения определенных эпох и социальных групп, и как идеологический троп и даже политическое клише (в партийных программах, агитации и пропаганде и т.д.), и как собственно «понятие», т.е. как инструмент исследовательской академической работы.¹³ Невозможность «окончательного» определения «революции» обусловлена в первую очередь тем, что ее бытие в качестве аналитического инструмента никак не может быть полностью изолировано от ее же бытия в качестве продукта и орудия культурного воображения и политико-идеологического тропа¹⁴ – хотя бы вследствие того, что любой мыслитель всегда неким образом позиционирован в конкретном культурном и политическом контексте и зависим от него.

Такую зависимость исследования «ре-

волюции» от конкретных историко-политических контекстов Франсуа Фюре элегантно передал противопоставлением изучения эпохи Меровингов и осмысления Французской революции. Первое тоже не свободно от дискуссий, но они *сейчас* не имеют маркеров «идеологических позиций» и не переливаются в вопросы о «легитимности» как существующих общественных институтов, так и самой исторической науки. Изучению же революции – независимо от желаний и убеждений самих историков – «само собой разумеющимся образом» приписываются легитимирующая и делегитимирующая функции. Но в период самой Французской революции именно исследование эпохи Меровингов выполняло те самые легитимирующие / делегитимирующие функции, которыми ныне наделено изучение этой революции: в культурном воображении *той* эпохи она приобрела значение освобождения «простолюдинов», ассоциируемых с галло-римлянами, от аристократов как потомков франкских завоевателей.¹⁵ Так меняющиеся поля культурного воображения и идеологических практик влияют на то, *что* происходит на поле академической жизни. Но между этими полями, конечно же, есть и обратная связь.

«Блуждание» метафоры «революция» по «семантическим гнездам» не так произвольно, как оно представляется некоторым исследователям. Можно и нужно проследить то, *как* именно определенный теоретический концепт «революции» связан с его бытованием на *соответствующих* полях культурного воображения и идеологии,¹⁶ и такие цепочки связей явят нам не размывание семантики «концепта», а, напротив, ее сгущение и кристаллизацию. Другое дело, что в каждую эпоху современного мира, в каждом его отдельном историко-политическом контексте мы обнаружим *несколько* таких цепочек, и их совокупным эффектом, действительно, окажется невозможность «окончательного» и «общепринятого» определения революции. Если же окидывать получающийся в результате этого «революционный

¹² В отношении понятия «демократия» это убедительно показывает Джон Данн. См. Dunn J. Capitalist Democracy: Elective Affinity or Beguiling Illusion // Daedalus. 2007. Vol. 136. № 3. P. 9.

¹³ Я заимствую логику и понятийный аппарат описания поливалентности «революции» из отличной работы двух американских антропологов, посвященной понятию «гражданское общество». См. Comaroff J.L. and J. Introduction // Civil Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives, ed. J.L. and J. Comaroff. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. P. 1-8.

¹⁴ То же самое можно было бы объяснить и иначе, скажем, показывая – в духе Майкла Полани – то, *как* связаны «подразумеваемое» знание (tacit knowledge) с эксплицитным знанием. В логике нашего рассуждения первое можно связать с бытованием «революции» в широкой культуре, а второе – с ее артикуляцией в академической жизни. Классическое освещение различий и связи «подразумеваемого» и эксплицитного знания см. Polanyi M. Tacit Dimension. NY: Anchor Books, 1967.

¹⁵ См. Furet F. The French Revolution Is Over // The French Revolution in Social and Political Perspectives. P. 30-31.

¹⁶ Логика исследования связей такого рода неплохо разработана применительно к понятию «Просвещение». О взаимозависимостях между так называемыми «высоким» и «низким» Просвещением см. Porter R. The Enlightenment. Basingstoke (UK): Macmillan, 1990. P. 6 ff.

дискурс» взглядом *сверху*, с той *внешней* по отношению к нему позиции, занять которую призывает политологов Бляхер,¹⁷ то этот дискурс предстанет всего лишь коллекцией разных мнений о революции или грядкой «семантических гнезд».

Революция и Современность

Политически актуальный поворот темы «революция и Современность» задается вопросом «возможны ли революции в наше время и в будущем?». Более общее *теоретическое* выражение этого вопроса таково – «является ли революция атрибутом Современности или только ее прологом, тем, что ввело ее в историю?». В *историческом* плане эта тема ставит вопрос «были ли революции до Современности или они – уникально современные явления?». Начнем с последнего из них.

Вопрос о «досовременных революциях» теоретически наиболее проработан в отношении классической античности, применительно к так называемым «афинским демократическим революциям» и «римской революции» (в период от братьев Гракхов до Юлия Цезаря). Аргументы оппонентов в этом споре известны.

С точки зрения М. Финли, перенос понятия «революция» на античность ведет к такой его «универсализации», которая делает его бессодержательным и эвристически бесплодным. Водораздел между современными революциями и теми явлениями, которые именуют античными «революциями», обусловлен следующими обстоятельствами. Последние «вписаны» в циклическую схему культурно-исторического времени, из которой они не могли выйти, тогда как современные революции *определяются* открытостью *творимому* ими будущему. Разный характер культурно-исторического времени, которому принадлежат и которое создают современные и «досовременные революции», – первое различие между ними. Второе состоит в том, что «досовременные революции» не приводили к глубоким изменениям *социальных* отношений, смене форм собственности и т.п., хотя результатом их бывала перестройка «политической конституции». Наконец, античные «революции» не вывели на арену борьбы и тем более – не

приводили к власти *новые* социальные силы, создаваемые самой революцией из «социального материала» старого порядка. Политическая борьба в Риме и Афинах – это раунды схватки между одними и теми же соперниками (патрициями и плебеями, олигархами и демосом), хотя их организация могла меняться с ходом истории.¹⁸

Аргументы оппонентов Финли (включая его предшественников, которым он возражал), в *логическом* отношении однотипны, но содержательно они существенно различаются.¹⁹ Они строятся на демонстрации тех или иных сходств, полагаемых решающими, между «античными революциями» и революциями современными, и на показе соответствия тех или иных *современных* концепций революции политическим явлениям античности, «революционность» которых тот или иной автор стремятся доказать.²⁰

В спорах об «античной революции» мы наблюдаем те же явления, которые применительно к современному дискурсу о революции Бляхер и Павлов описывают в терминах «семантической неопределенности» концепта «революция» и «блуждания» «революционной метафоры». Но на первый план выходит нечто новое: трудность и спорность идентификации исторического явления в качестве революции. То, что для одних выглядит бесспорной и эпохальной революцией, для других не представляется революцией, либо оказывается революцией с «противоположным знаком» (скажем, «эфяльтова революция» может

¹⁸ См. Finley M.I. *Revolution in Antiquity // Revolution in History*, ed. R. Porter and M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, особенно С. 49-51, 53, 56-57.

¹⁹ См. статью Робина Осборна, содержащую обзор и критический анализ концепций «античной революции» в англофонской литературе. См. Osborne R. *When Was the Athenian Revolution? // Rethinking Revolutions Through Ancient Greece*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

²⁰ В известном смысле Финли идет тем же путем: он открыто признает зависимость своей трактовки «революции» от Маркса. *Вследствие* такой трактовки этого понятия он и не находит ему соответствия в античном мире. См. Finley M.I. *Op. cit.* P. 47. Разные трактовки того, какие именно черты «античных революций» считать решающими и сближающими их с современными революциями, неизбежно ведут к тому, что *различные* явления античной политической истории квалифицируются в качестве «революционных». Разные версии «античной революции» см. Grote G. *History of Greece*. Vol. 3. L.: J. Murray, 1862. P. 109, 132, 140; Walker E.M. *The Periclean Democracy // Cambridge Ancient History*. Vol. 5, ed. J.B. Bury et al. Cambridge: University Press, 1927. P. 99 ff; Forrest W.G. *The Emergence of Greek Democracy*. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1966. P.160-161, 173; Davies J.K. *Democracy and Classical Greece*. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1993. P. 57- 63 и др.

¹⁷ См. Бляхер Л. Указ. соч. С. 12.

трактоваться и как «радикально демократическая», и как «консервативная», не говоря о том, что и в первом, и во втором качестве она может оцениваться противоположным образом).

Вывод, вытекающий из трудности и спорности опознавания неких явлений в качестве «революции», заключается в том, что революция не есть «абсолютное событие», как его понимает А. Филиппов. Последнее определяется им в качестве такого события, относительно которого у «данного сообщества наблюдателей» «есть уверенность не только по поводу его завершения, но и по поводу его начала». «Абсолютное событие» выступает таковым «в силу квалификации объекта, имплицитующей событие», поскольку иначе сами эти квалификации теряют смысл в сообществе наблюдателей (именно это характерно для «учредительных событий», т.е. революций в первую очередь).²¹ Иными словами, идентификация «абсолютного события» «в наименьшей степени зависит от произвола наблюдателя».²²

В случае с «античной революцией» мы видим, что в сообществе профессиональных «наблюдателей» нет ни малейших признаков единодушия в отношении «абсолютных событий».²³ Но от этого «революция» как квалификация событий не теряет смысл — он только множится. И это происходит потому, что «революция» есть именно *относительное*, а не абсолютное событие. Она есть *культурный конструкт*, и весь вопрос в том, отношением к чему обуславливается его относительность — к произволу наблюдателей, провозгласивших себя «экспертами», или к чему-то исторически и политически гораздо более значительному.

Это «более значительное» — устойчивые историко-культурные традиции, либеральные, консервативные, марксистские, анархистские и т.д., в рамках которых, при помощи которых и против которых мыслят «античную революцию» ее сторонники и

противники.²⁴ Вне спора таких традиций вопрос об «античной революции» не был бы, по Брехту, «убедительным вопросом». И «убедительным» его делает борьба этих традиций, в условиях которой «власть над вопросом» (как он формулируется и решается) есть составляющая и проявление актуальной или потенциальной власти над конкурирующими традициями. Борьба за «символическую власть» есть то, что релятивизирует концепт «революции».

Традиции, о которых мы ведем тут речь, не следует сводить сугубо к интеллектуальным традициям, существующим в академическом мире. Традиции, о которых говорим мы, есть сторона и элемент более широких культурно-политических практик, которые соотносят себя с явлениями, именуемыми «античными революциями», и таким образом *включают их в себя*. Это — то, что Вальтер Беньямин называл установлением констелляций «нашего» времени с определенным прошлым, в которых явления прошлого теряют личину застывших неизменных «фактов» и начинают жить в событиях и посредством событий, которые могут быть удалены от них на тысячелетия.²⁵ Это уже не чисто *познавательное* отношение к явлениям прошлого, и спор идет не о том, «какими они, в самом деле, были» (в чем видел суть исторического ремесла Ранке). Это — *деятельно-практическое* отношение к прошлому, в котором из него черпают те или иные символические ресурсы, коды поведения и мысли, схемы мировосприятия, включаемые в практики настоящего. То, в каком виде явление прошлого *живет* в настоящем, и есть его «настоящая» и единственная *действительность*,

²¹ Филиппов А. К теории социальных событий // Логос. 2005. № 5. С. 86.

²² Филиппов А. Триггеры абсолютных событий // Логос. 2006. № 5. С. 111.

²³ Перефразируя Филиппова, наблюдатели именно *не* «видят одно и то же» в наблюдаемом явлении (см. указ. соч. С. 106), результатом чего выступает бесконечный спор, конституирующий, между прочим, *само сообщество наблюдателей* в качестве профессиональной академической корпорации. Единодушие сделало бы такое сообщество невозможным, а с точки зрения общества, финансирующего его, — излишним.

²⁴ Рассуждение Д. Обера о «примере Французской революции», выступающем «основным внешним „дополнением“» объяснения «античной революции», есть не наивный анахронизм его подхода или предосудительная «модернизация» классического материала, а честная экспликация того *необходимого* методологического хода, который вынуждена делать — скрыто или явно — любая версия «античной революции» (используемыми «примерами» могут быть и другие современные революции). То, что берет во Французской революции Обер и что это «высвечивает» в «революции Клисфена», которой он занимается, обусловлено современной радикально-демократической традицией, ориентирующейся на *спонтанные* протестные действия низов, самоконституирующихся в качестве «политического субъекта». См. Ober J. The Athenian Revolution of 508/7 B.C.: Violence, Authority, and the Origins of Democracy // The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1996. P. 33, 46-52.

²⁵ См. Benjamin W. Theses on the Philosophy of History (A, а также VI и XVI) // Illuminations, ed. H. Arendt. NY: Schocken Books, 1978. P. 255, 262-263.

над которой произвол «наблюдателей» не имеет власти. Но они могут наблюдать разные способы включения прошлого в настоящее, вернее, его включение в разные практики настоящего, и это-то будет отражаться в либеральных, консервативных, марксистских и т.д. версиях «античной революции», равно как и в отрицании того, что она вообще имела место.

Мы приходим к выводу, который не парадоксален, но выразить который, увы, я способен лишь в форме парадокса: «античные революции» «были», поскольку они *есть* в настоящем, в их включенности в определенные современные практики, и их, конечно, не было бы, не будь современных революций, которые эти практики «запустили». Вопрос об «античных революциях», о том, были они или нет, есть в сущности своей вопрос о том, «революционна» или нет современность. И что представляет собой эта «революционность», если она есть. Это и побуждает перейти ко второму поставленному в начале данного параграфа вопросу.

В рамках литературы, которую с идеологической точки зрения можно назвать «центристской» (подчеркивая ее отличие от лево- и праворадикальной), Современность предстает принципиально *неревolutionным* явлением. Революции – это события, которые расчищают путь *модернизации*, делают ее политически возможной. Сама же модернизация, понимаемая прежде всего как формирование демократических политических и рыночных капиталистических структур, т.е. как развитие современного общества, протекает в мирных, *неревolutionных* формах.²⁶ В наше время револю-

ции, конечно, возможны. Но они происходят именно в отставших, *несовременных* странах и выполняют ту же функцию, которая была присуща великим революциям, введшим в историю *западную* Современность, – открыть путь модернизации.²⁷

Однако в такой трактовке связи революции и Современности кроется противоречие. Как бы ни понималась Современность более конкретно (различия в таком понимании и образуют то, что Хабермас называет «философским дискурсом Современности»), она неизменно отождествляется с качественно уникальной динамикой, не знающей и не признающей раз и навсегда положенных ей структурных или нравственных пределов. Поэтому, если говорить об этосе Современности, он определяется бесконечной самокритикой, самообоснованием и самосозиданием, причем под «критикой», как подчеркивал Фуко, в данном случае следует понимать не (кантовскую) рефлексию над необходимыми ограничениями, а «практическую критику в форме возможности [их] преодоления».²⁸ Не важно, описывается ли такая динамика в виде веберовской инструментальной или хабермасовской инструментальной и нормативной рационализации мира, шумпетеровского «созидательного разрушения» или адорновско-хоркхаймеровской «диалектики Просвещения», сутью ее будет то, что Маркс передал гениальной формулировкой из «Манифеста Коммунистической партии»: «Все застывшие... отношения,

Revolution: An Essay Review // The American Political Science Review. 1970. Vol. 64. № 1. P. 81 ff.

²⁷ К примеру, именно в этой логике Тимоти Гартон Эш характеризует сербскую «цветную революцию» как *последнюю* революцию в Центральной и Восточной Европе, завершающую в этом регионе «конец коммунизма» и знаменующую начало строительства «нормального», т.е. буржуазно-демократического, общества. См. Garton Ash T. The Last Revolution // The New York Review of Books. 2000. November 16 (Vol. 47. № 18). Я не могу в данной статье останавливаться на двух проблемах, очень важных для понимания логики такого подхода, и только зафиксирую их. Первая: *почему* один и тот же общественный строй – на уровне доминирующих в социальных науках концепций – перекалифицируется из «современного» в «досовременный» (или наоборот) и *кто* обладает достаточной «символической властью», чтобы делать это? Вторая: те же «почему» и «кто» должны объяснить, каким образом лишь бенефициарии Современности, которая – по определению – существует как глобальная реальность, узурпируют право считаться «современными», тогда как жертвам этой же самой глобальной Современности в таком праве отказано (странам бывшего «третьего мира» или тем же постсоветским «переходным» обществам).

²⁸ Фуко М. Что такое Просвещение? Пер. Н. Т. Пахсарьян // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 2. С. 144.

²⁶ Классическую формулировку таких представлений дал Бэррингтон Мур: «В западных демократических странах революционное насилие (а также другие его формы) были частью целого исторического процесса, который сделал возможным последующие мирные изменения». Логика модернизации (в характерном стиле 60-ых годов) распространяется им и на тогдашние коммунистические страны, предполагая «демократический капитализм» лишь одним из вариантов «современного общества»: «И в коммунистических странах революционное насилие было частью разрыва с репрессивным прошлым и усилий создать менее репрессивное будущее». См. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1966. P. 505-506. Видимо, вследствие «остаточного неомарксизма», в котором его упрекали критики, Мур был несколько амбивалентен в отношении того, как преодолеть наставшую, по его мнению, иррациональность западного демократического общества и обеспечить продвижение к «обществу полного ненасилия». Но до обсуждения перспектив новых революций на Западе он не доходил. Критику такой амбивалентности Мура см. Rothman S. Barrington Moore and the Dialectic of

вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями разрушаются, все возникающие вновь оказываются устаревшими, прежде чем успевают окостенеть».²⁹

Но если так, то модернизация оказывается уже не путем к какому-то (институционально и нормативно) определенному состоянию, признаваемому «полностью современным», а собственным способом существования Современности,³⁰ — ведь любые институты и воззрения, которые сегодня считаются «фирменным знаком» Современности, могут завтра стать «пределами», подлежащими преодолению. Но если бесконечная (в условиях Современности) модернизация способна устранять «все застывшие отношения», перешагивать *любые* пределы развития, то чем она отличается от «революции», если ее мыслить «перманентной» и не привязывать «догматически» к событийной форме ее протекания и насильственным методам осуществления? Ничем. Эту мысль настойчиво и весьма убедительно проводит В. Куренной: «...Буржуазная система приобрела невиданную устойчивость за счет того, что смогла сделать революцию имманентным структурным моментом своего существования».³¹

Получается, что «запущенное» революциями на заре Нового времени современное общество, является настолько динамичным, что новые революции ему уже не нужны. Оно имманентно революционно вследствие, так сказать, интернализации революции. Эту мысль можно еще более радикализовать: коли буржуазное общество

обладает таким имманентным динамизмом, то к чему ему революционные «запуски» на заре Нового времени? Исторически они не нужны, а если и происходили, то в силу «случайного» стечения обстоятельств и не имели особого значения для развития буржуазного общества. Как писал Роберт Бреннер, «...поскольку буржуазное общество развивает само себя и «растворяет» феодализм, постольку буржуазная революция вряд ли могла играть необходимую [для его развития] роль».³² Получается, что концепция «перманентной революции» оказывается *антитезой* революции как политического события.

В этой нереволуционности «перманентной революции» нет ничего парадоксального. Действительно, устраняя «событийные революции», «перманентная революция» становится неотличимой от «исторического развития» (в его буржуазной форме), т.е. от той самой *эволюции* как наращивания и развертывания в непрерывном времени *одного и того же* качества, противоположностью которой является революция как событие, как прерывание преемственности и введение в действие нового культурно-исторического времени. Какое же качество эволюционно развертывается в «перманентной буржуазной революции»? Это, конечно, — капитал с его логикой накопления, воспроизводства абстрактного труда и господства над ним и прогрессирующей коммодификацией сфер общественной жизни и условий существования человека. Темпоральность этого процесса и производимые им структурные, мировоззренческие, психологические и иные изменения и есть специфическое культурно-историческое время буржуазной «перманентной революции» и ее содержание.³³ Таким эволюционно наращиваемым качеством является и представительная демократия как важнейший политический стабилизатор буржуазного развития, исключая альтернативы ему посредством *деполитизирующего* переключения «политической жизни» с конкуренции программ на конкуренцию между «собирателями голосов» избирателей. И к настоящему времени

²⁹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. М.: Политиздат, 1955. С. 427.

³⁰ Утверждая это, я позволю себе пройти мимо идеологических агиток, вроде тех, которые когда-то предназначались «освобождающимся» странам Юга, а сейчас экспортируются в постсоветский мир. Суть таких продуктов в свое время классически зафиксировал Марион Леви: «Я называю систему модернизированной в соответствии со степенью, в которой она приближается к типу системы, существующей в современных западных обществах, беря Соединенные Штаты за достигнутый к настоящему времени предел» (Levi M.J. Some Social Obstacles to Capital Formation in Underdeveloped Areas // Capital Formation and Economic Growth, ed. M. Abramovitz. Princeton (NJ): National Bureau of Economic Research, 1955. P. 449).

³¹ Куренной В. Перманентная буржуазная революция // Концепт «революция»... С. 225 и далее. Идея «перманентной буржуазной революции» не является изобретением Куренного. Нейл Дэвидсон дает обстоятельный критический обзор подобных взглядов, как они сложились в рамках «миросистемного анализа» в духе И. Уоллерстайна и в так называемой «бреннеровской школе». (См. Davidson N. How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? // Historical Materialism. 2005. Vol. 13. № 3. P. 7 ff).

³² Brenner R. Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism // The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone, ed. A.L. Beier et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 280.

³³ Подробнее об этом см. Anderson P. Modernity and Revolution // New Left Review. 1984. № 144. P. 101 ff.

демократия, действительно, стала главным противоядием против революции, а избирательная урна доказала свою способность служить гробом для революционеров.³⁴

Те «застывшие отношения», которые «перманентная революция» разрушает, есть результаты эффективного отбора, который «автоматически» производит рынок, отделяя их от других отношений, не только консервируемых, но и культивируемых им.³⁵ Ясно, что ни одна революция не могла дать «абсолютный» разрыв с прошлым, что *максимум* революционного радикализма может состоять лишь в частичной реконфигурации того, что унаследовано от «старого порядка», и чему придаются *новые смыслы*.³⁶ Тем не менее между такими революциями и буржуазной «перманентной революцией» есть огромная разница. Первые все же производят реконфигурацию «старого порядка», меняя его «операционный принцип», политико-правовой, но также – в случае социальных революций – и политико-экономический. Вторая же наращивает эффективность такого «принципа» и распространяет его действие на те сферы и отношения, которые до того были вне его досягаемости. Первые есть альтернатива статус-кво. Вторая есть упразднение альтернативы, зрелым выражением чего является нынешняя глобально-капиталистическая идеология TINA (There Is No Alternative). TINA и есть, говоря языком Маркузе, «герметизация дискурса и поступка», подавление будущего и торжество «одномерного» общества.³⁷

Так как же ответить на поставленный вопрос о том, является ли революция атрибутом Современности?

³⁴ Последнее есть легкий парафраз афоризма Д. Гудвина – «The ballot box is the coffin of revolutionaries» (Цит. по The Future of Revolutions, ed. J. Foran. L.: Zed Press, 2003. P. 2). В более общем плане рассуждение о противодействии демократии революции см. Halliday F. Utopian Realism: The Challenge for "Revolution" in Our Times // Ibid. P. 305 ff.

³⁵ Блестящее описание рынка как механизма различения «допустимых» и «недопустимых изменений», эффективных санкций за «ослушание» и «пленения политики» и самого политического мышления как гарантии своего бесперебойного функционирования см. Lindblom C.E. The Market as Prison // The Journal of Politics. 1982. Vol. 44. № 2, особенно C. 325, 329, 332, 334.

³⁶ См. Castoriadis C. The Idea of Revolution // The Rising Tide of Insignificance. P. 292 ff. (Режим доступа: <http://www.notbored.org/RTI.pdf>). В этом плане можно говорить о неустранимой «консервативности» всех революций, как ее понимали А. де Токвиль и Ж. Сорель. Подробнее об этом см. Finlay C.J. Violence and Revolutionary Subjectivity // European Journal of Political Theory. 2006. Vol. 5. № 4. P. 381.

³⁷ См. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование об идеологии Развитого Индустриального Общества. М.: REFL-book, 1994. С. 32, 74, 102, 128, 134.

Даже в буржуазной «перманентной революции» событийная революция *присутствует* как симптоматика – во фрейдистском смысле – забытого и вытесненного. Назвать новый крем для лица «революцией в косметике» считается удачным (и стандартным для рекламного бизнеса) ходом. В известном смысле вся буржуазная Современность – а не только ее пролог! – есть история «революций»: научно-технической, индустриальной, постиндустриальной, сексуальной, художественной и т.д. От такого множества «революций», конечно, и получается бляхеровская «блуждающая метафора», но в плане симптоматики в высшей мере примечательно то, что все эти разнообразные явления *легитимируются* посредством их ассоциирования с революцией. Это верно даже для тех из них, которые имеют прямо антиреволюционный эффект подчинения вместо освобождения. Пример тому – «индустриальная революция», заменившая «формальное» подчинение труда капиталу «реальным».

Но важнее другое. Само забывание и вытеснение событийной революции приводит к столь же реальным изменениям в функционировании «перманентно-революционного» общества, какие аналогичные явления вызывали в поведении пациентов доктора Фрейда. Забывание и вытеснение революции, этого парадигмально политического явления, ведет к той фундаментальной деполитизации общественной жизни, которая стала характерной тенденцией эволюции «демократического капитализма» (конечно, не только его – вспомним о современной России).³⁸ То, что эта тенденция несет с собой растущую беззащитность мира труда и непривилегированных групп и слоев в целом, вряд ли может беспокоить героев буржуазной «перманентной революции». Но то, что эта же тенденция угрожает самой динамике и эффективности капиталистического производства корпоративно-административным склерозом с одной стороны,³⁹ а с другой – подрывом собственно

³⁸ Подробнее о связи вытеснения революции и деполитизации см. Wang Hui. Depoliticized Politics, from East to West // New Left Review. 2006. № 41.

³⁹ Яркое описание этого явления можно найти, в частности, в известной книге Мансура Олсона – Olson M. Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven, CT: Yale University Press, 1982. См. также его более позднюю работу, в которой эта концепция распространена на анализ упадка и развала «реального социализма», – Olson M. Power and Prosperity: Outgrowing Com-

рыночных механизмов манипулятивно-лоббистской деятельностью «групп интересов», с отвращением описанной Фридрихом Хайеком под рубрикой «демократия торга»,⁴⁰ не может не вызывать у них тревогу. Эта тревога и выражается в попытках «вернуться» к рынку посредством «минимизации государства» (и его бесчисленной клиентуры) и отрегулировать неким образом деятельность «групп интересов», ограничивая их влияние на функционирование государства. Но именно на этих направлениях «буржуазная перманентная революция» оказывается особенно малоуспешной.

Но революция присутствует в созданных ею современных обществах не только в виде описанной выше симптоматики. Она присутствует также как «эхо», если воспользоваться метафорой Эрика Хобсбаума об «эхе “Марсельезы”».⁴¹ Такое «эхо» есть вся сумма влияний революции на последующую историю – в той мере, в какой она была историей сопротивления новым формам угнетения и неравенства, характерным для современного общества, и историей движения противоречия, *заложенного самой революцией* в *modus operandi* этого общества. Это – противоречие между универсальной свободой, покоящейся на равенстве, что только и делает ее универсальной и характерно *современной* свободой, и необходимо партикулярными институциональными формами ее воплощения / отрицания (от «нации-государства» до капиталистических механизмов хозяйствования) с присущими им делениями на «включенных – исключенных», «господствующих – подчиненных», «богатых – бедняков» и т.д.⁴²

Знаменитый тезис Руссо, которым открывается первая глава первой книги «Об общественном договоре», – «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» – нельзя понимать в качестве харак-

теристики антропологического состояния человека вообще. Но он не является и формулировкой *задачи*, решить которую призван справедливый «общественный договор», и – уже в якобинской трактовке – революция. Этот тезис есть формулировка ее *цели* (конечно, не той, которую преследовали или даже могли преследовать ее участники и лидеры) – внести в общественное бытие напряжение противоречия между свободой, на которую «по праву рождения» в современном обществе может законно претендовать любой его член, и никогда до конца не устранимыми «оковами» институциональных форм существования этого права в современном обществе.

Возможно, такая трактовка тезиса Руссо способна разочаровать иных поборников революции, представляющих ее себе как «последний и решительный» бой, открывающий путь в «царство свободы». Ведь согласно данной трактовке вместо устранимых сегодня «оков» завтра возникнут другие. И будут ли они легче сегодняшних (для нас *завтрашних*)? «Царство свободы» исчезает как практическая цель борьбы, а свобода приобретает значение не состояния, которого можно достичь, а самой практики освобождения. Но разве обесценивает недостижимость «царства свободы» ликвидацию того, что мы сегодня, «здесь и сейчас», считаем недопустимым и оскорбительным? Разве отказ от устранения сегодняшних «оков» не превратит нас в нищенских «последних людей», радующихся существованию в одномерном мире беспрепятственно прогрессирующей «буржуазной перманентной революции»? То, что такой мир пока не возник,⁴³ – тоже следствие революции и ее след в современном обществе в виде того напряжения между свободой и «оковами», о котором я рассуждал выше.

В этом и заключается ответ на первый вопрос, который я поставил в начале данного параграфа, – возможны ли революции в наше время и в будущем? Революция присутствует в современном мире – в качестве симптоматики вытесненного и забытого,

munist and Capitalist Dictatorships. NY: Basic Books, 2000.

⁴⁰ См. Hayek F.A. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. P. 99 ff.

⁴¹ См. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». М.: Интер-Версо, 1991.

⁴² Отличный анализ этого противоречия (хотя его выше-приведенная формулировка принадлежит мне – Б.К.) и его основных политических и нравственных проявлений дает Этьен Балибар. Он же удачно показывает противоположность современной свободы, *основанной на равенстве*, и античной свободы, которая в качестве предпосылки и привилегии *лежала в основе равенства*, очерчивая партикулярный «круг равных». См. Balibar E. Citizen Subject // Who Comes After the Subject? P. 45 ff.

⁴³ Но лишь конкретные политические сопротивления могут предотвратить возникновение такого «одномерного» мира. Опасения, что они могут оказаться недостаточными, сквозят в рассуждениях о том, что понятие «современность» утрачивает содержание, делающее его отличным от понятия «капитализм». См. Jameson F. A Singular Modernity. Essays on the Ontology of the Present. L.-NY: Verso, 2002. P. 214-215.

в качестве «эха» и в качестве напряжения между универсальной свободой и ее (всегда конкретными для данной ситуации) институционально-партикулярными «оковами». Во всех этих качествах она есть *действительность* современного мира (и только его), так что сам вопрос о ее «возможности» — при его серьезном понимании — может означать только одно: способна ли революция сейчас явиться в *еще одном* качестве — в качестве актуального *события*.

*Непредсказуемость революций
и ее значение для теории революции*

Характерной чертой революций является их непредсказуемость. «Патриоты» Национального собрания, уже провозгласившие себя представителями народа-суверена, но не способные в течение нескольких дней узреть во взятии Бастилии уже начавшуюся революцию, «штабом» которой им вроде бы надлежало быть.⁴⁴ Ленин в Цюрихе, ошеломленный вестью об уже свершившейся в России Февральской революции 1917 года и отказывающийся ей верить.⁴⁵ Памятные кадры растерянного Горбачева, возвращающегося из Фороса в Москву в августе 1991 года, — после стольких лет «перестроечных» заклинаний о революционном продолжении «дела Октября». Множить ли подобные примеры?

Уже сказанное заставляет усомниться в понимании революции как «программы» или «проекта». «Революция — это гигантская историческая программа, — пишет Б. Межуев, — приведенная в действие в конце XVIII в. и доселе не останавливаемая». Ее основными компонентами он называет «делегитимацию всякой власти», «демократизацию, т.е. неприятие любой иерархии» и «секуляризацию» как «отрицание любого воздействия религиозного начала на жизнь общества».⁴⁶

⁴⁴ Яркое описание замешательства и смятения депутатов Национального собрания после взятия Бастилии, восприятия ими этого события как «ужасной новости» см. Sewell W.H., Jr. Op. cit. P. 854.

⁴⁵ См. Солженицын А. Ленин в Цюрихе // Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Екатеринбург: У-Фактория, 1999. С. 152-176.

⁴⁶ Межуев Б. «Оранжевая революция»: восстановление контекста // Концепт «революция»... С. 199. Я готов оспорить каждый из указанных Межуевым «компонентов» революции-как-программы, исполнением которой стала вся Современность. Но за неимением места укажу лишь на следующее. Революции Современности не делегитимировали «всякую власть», а создавали неизвестные дотоле механизмы легитимации постреволюционной власти. «Демократи-

Чьей «программой» была такая революция? Наверное, не тех легендарных ее «детей», кого она одного за другим «пожирала». Вряд ли и тех, кто духовно «готовил» ее или витийствовал о ней. Разве не известно, что та же Французская революция была не «реализацией» идей «энциклопедистов» и других «просветителей», а их «переворачиванием» и критикой? Что «Просвещение» в качестве «духовного пролога» революции есть ее собственный поздний продукт (как и продукт ее контрреволюционных противников), «подводимый» ею под себя в усилиях самолегитимации (или контрреволюционной делегитимации)? Как точно выразился *после* революции один из видных (и удивительным образом уцелевших) умеренных деятелей 1789 года Мунье, «не влияние этих принципов (Просвещения — Б.К.) создало Революцию, а, напротив, Революция породила их влияние».⁴⁷ А многое ли из «марксизма Маркса» или даже более позднего марксизма Каутского, Плеханова или самого Ленина, как его марксизм был сформулирован в «Государстве и революции» буквально накануне Октября, можно найти в том, чем реально стала большевистская революция?

Еще менее вероятно, что авторство революции-как-программы принадлежит массам, в ней участвовавшим и составившим ее ударные армии. Не только вследствие тех страданий и разочарований, которые *им* революция несет *в первую очередь* и которые едва ли могли быть их «программной целью».⁴⁸ Важнее то, что цели, с которыми

зация» принесла все, что угодно, только не «отмену иерархий». Анализ специфики иерархичности современного общества красной нитью проходит через серьезную социологию Современности, начиная с ее зарождения в трудах Конта, Маркса, Макса Вебера и т.д. «Секуляризация» обернулась (если мы принимаем за чистую монету отделение церкви от государства) вытеснением религии в *частную жизнь* и ее институты, а вовсе не отрицанием любого воздействия религии на жизнь общества (о собственно «религиозных» революциях Современности не стоит здесь и говорить). В указанном описании революция-как-программа должна быть признана *провальной*, вернее, тем, что на английском называется «non-starter».

⁴⁷ Цит. по Hampson N. The Enlightenment: An Evaluation of Its Assumptions and Values. Harmondsworth: Penguin, 1990. P. 256. Известно, что именно просвещенные абсолютисты монархии, а отнюдь не революции, мыслились самими «просветителями» в качестве наиболее адекватных воплощений их «реформаторских» программ. См. Gagliardo J.G. Enlightened Despotism. Arlington Heights (IL): Harlan Davidson, 1967. P. VI ff.

⁴⁸ Разочарование низов и его массовые проявления в ходе Французской революции побудили американского исследователя Уильяма Дойла аналитически развести понятия «контрреволюция» и (как неологизм) «антиреволюция». Второе означает реставраторское стремление (в основном,

низшие классы входили в революцию, в принципе не могли осуществиться вследствие ее победы. Ведь именно она обычно трансформирует общество так, что старые классы разрушаются, и на смену им приходят новые, для которых (дореволюционные) цели их предшественников утрачивают значение. Это и показало ускорение «пролетаризации» крестьян и ремесленников как одно из важнейших следствий «буржуазных революций», уничтожение рынка труда и формирование «промышленных армий», а также «коллективизация» крестьянства как новые формы закабаления работников, введенные большевистской революцией, и т.д. На основе таких наблюдений Эрик Хобсбаум сделал вывод о том, что о революциях вообще нельзя судить по намерениям тех, кто в них участвует (или по тем намерениям, которые их участникам приписывают историки). Намерения, конечно, – необходимое слагаемое революций (без решимости действовать их бы не было), но то, *как* они свершаются и к чему приводят, такими намерениями не определяется.⁴⁹

Коли сказанное верно, то остается ли нам истолковать революцию-как-программу *конспирологически* – в духе Эрика Фегелина – в качестве дьявольского заговора рвущихся к власти интеллектуальных элит, исторически менявших свою форму от *republique des letters* на заре Современности через салоны и клубы пред- и революционной Франции и инсургентские и националистические ассоциации Германии и Италии XIX века до диктатур этих элит в их фашистских, нацистских и коммунистических воплощениях в XX веке?⁵⁰ Неужели революции непредсказуемы только потому, что Интерпол и соответствующие национальные службы, несмотря на подсказки Фегелина и его единомышленников, никак

не могут «сесть на хвост» этого злокозненного многовекового заговора?

Но, может быть, дело проще (что не всегда значит – «лучше»). Если революция – не (чья-то) «программа», а проявление неких закономерностей, исторических или, так сказать, ситуационных, которые складываются в результате сочетания определенных социальных, экономических, внешнеполитических, культурно-идеологических и иных обстоятельств, то непредсказуемость революций может быть объяснена просто несовершенством научного инструментария исследования или же оплошностями тех, кто составляют научное сообщество. Иными словами, непредсказуемость революций предстанет не характеристикой их «онтологии», а изъяном процесса их познания.

Не будем тогда удивляться тому, что в эпоху «неразвитости» строгих социальных наук ни Франклин не мог предвидеть Американскую революцию, ни Руссо – Французскую, ни Гегель – «весну народов» 1848 года или хотя бы июньскую 1830 года революцию во Франции, которую он успел застать при жизни, ни Маркс – Парижскую коммуну и т.д. Интереснее то, почему в эпоху «развитых» социальных наук революции продолжают заставлять нас врасплох. Кто предвидел «красный май» 1968 года? А Иранскую революцию? Почему «антикоммунистические революции» 1989–91 годов в Центральной и Восточной Европе стали для западных социальных наук, по выражению Адама Пжеворского, «гнетущим провалом»?⁵¹

Этот последний «провал» – вследствие и грандиозности явления, его засвидетельствовавшего, и превращения прогнозирования чуть ли не в главный признак «научной эффективности» – особенно сильно задел за живое адептов социальных наук и породил целую индустрию его объяснения. Наиболее взвешенные и проработанные его версии, призывая социальные науки в целом умерить свои прогностические претензии, приписывают данный «провал» специфическим идеологическим и политическим трудностям познания «коммунизма», а также защищают «честь мундира» ссылками на те отдельные публикации, в которых все же поднималась тема возможного «коллапса

«свергнутых классов») повернуть революцию *вспять*. Первое же отражает недовольство тем, что революция не отвечает предреволюционным требованиям (и ожиданиям от нее, когда она началась), которые во Франции были столь наглядно зафиксированы в *sahiers*, собранных по всей стране по приказу короля накануне созыва Генеральных штатов. «Контрреволюция» нацелена на придание революции «другого направления» – *в соответствии с предреволюционными ожиданиями перемен*, а не на возврат к «старым добрым временам». См. Doyle W. *Revolution and Counter-Revolution in France* // *Revolution and Counter-Revolution*, ed. E.E. Rice. Oxford: Basil Blackwell, 1991. P. 99–105.

⁴⁹ См. Hobsbawm E. *The Making of a 'Bourgeois Revolution'* // *Social Research*. 1989. Vol. 56. № 1. P. 7–8.

⁵⁰ См. Voegelin E. *From Enlightenment to Revolution*, ed. J.H. Hallowell. Durham, NC: Duke University Press, 1975. P. 79, 111, 118.

⁵¹ Przeworski A. *Democracy and the Market*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 1.

советской системы».⁵² Последний аргумент мне кажется лишенным какой-либо убедительности. У З. Бжезинского, Р. Конквиста, А. Амальрика и других авторов, на которых ссылаются в этой связи, нет ничего похожего на предсказание того, что произошло в действительности, т.е. предвидения демонстрация советского строя самой коммунистической номенклатурой при массовых (в ряде стран) выступлениях низов в условиях ненасилия, превзошедшего – по незначительности жертв оппозиции и репрессий властей – триумф гандизма против британского колониализма в Индии. Предсказания же «коллапса советского строя» как бы в общем виде в аналитическом отношении вряд ли чем-то отличаются от ленинско-сталинских пророчеств неизбежной гибели капитализма: она ведь, в самом деле, когда-нибудь произойдет – хотя бы потому, что ничто не вечно в этом мире.

Но действительным провалом социальных наук, причем провалом *философско-методологическим*, является само осознание непредсказанности «антикоммунистических революций» в качестве «провала». Никакого провала у них не было: они правильно делали все, что должны были делать, и именно поэтому предсказать революцию не могли в принципе. Тому есть две причины.

Первая заключается в том, что сама «теоретическая логика» современных социальных наук, т.е. то, *как* они подходят к своему предмету, как «видят» его, какие вопросы ставят, следовательно, какими методами и инструментами с ним работают, делает их «науками о *порядке*». Поэтому даже «социальные изменения» концептуализируются в их рамках как нечто, вытекающее из тенденций и закономерностей самого данного порядка, как продолжение *его*

логики, иными словами, они могут быть представлены только как его эволюция. *Разрыв* с «логикой порядка», который может означать только возникновение новой логики нового порядка, а не «беспорядок», т.е. революция в собственном смысле слова, лежит за рамками их познавательных возможностей. Обусловленную этим трактовку революции по модели эволюции Шелдон Волин точно называет «укрощением проблемы революции» в социальных науках, обстоятельно и конкретно показывая то, *как* именно такое «укрощение» достигается в *парадигмальном* для них случае социологии Парсонса.⁵³

Непосредственным следствием «укрощения проблемы революции» является стремление интегрировать эту проблему в политическую науку (или социологию), подвести ее под «более общие понятия», типа «социальные изменения», «политическая нестабильность», «коллективные действия» и т.п., с которыми социальным наукам привычно и удобно работать в их эволюционистской «теоретической логике». Такое стремление отчетливо обнаруживает, например, А. Никифоров. Он верно отмечает то, что интеграция «революции» в социальные науки означает ее «переопределение в более нейтральном смысле», т.е. *нейтрализацию*, прямо по Карлу Шмитту, того, что является уникальным в «революции» и делающим ее *несводимой* ни к одному из перечисленных выше «общих понятий».⁵⁴ Что же *подавляет* в «революции» ее научная интерпретация? Ответ Джона Данна – ее уникальность в качестве *события* определенного типа, то,

⁵² См. Lipset S.M. and G. Bence. Anticipations of the Failure of Communism // Theory and Society. 1994. Vol. 23. № 2. P. 169-172, 175-178. Более безжалостный анализ прогностических способностей *всех* теорий революции дает Тимур Курань, но и его эссе завершается выводом о том, что непредсказуемость революций есть следствие невозможности совершенного наблюдения за предпочтениями людей и, соответственно, трудностей измерения их поведенческих «революционных порогов». Получается, что причины данного «провала» имеют все же гносеологический, а не онтологический характер. См. Kuran T. Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989 // World Politics. 1991. Vol. 44. № 1, указанный вывод – на С. 47. См. также интересный анализ этого вопроса у Sharman J.C. Culture, Strategy, and State-Centered Explanations of Revolution, 1789 and 1989 // Social Science History. 2003. Vol. 27. № 1.

⁵³ См. Wolin S. The Politics of the Study of Revolution // Comparative Politics. 1973. Vol. 5. № 3, особенно С. 344-345, 349-352. Очень показательны то, что одна из заметных попыток «реабилитировать» социальные науки за «провал» непредсказанности «антикоммунистических революций» прямо апеллирует к *эволюционизму* Парсонса, представляя его в качестве того теоретического ресурса, который *мог бы* помочь предсказать и объяснить эти революции, но был проигнорирован социологами 70-80-ых годов. Это при том, что сам Парсонс в 60-ые годы был сторонником теории «конвергенции» капитализма и социализма, а отнюдь не коллапса последнего! См. Mouzelis N. Evolution and Democracy: Talcott Parsons and the Collapse of Eastern European Regimes // Theory, Culture and Society. 1993. Vol. 10. № 1, особенно С. 149.

⁵⁴ См. Никифоров А. Революция как объект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины // Концепт «революция»... С. 147-148. Пожалуй, лучшим из доступных на русском языке изложений такого подхода к «революции» следует считать статью немецкого ученого Петры Штыков. См. Штыков П. Деконструкция революции // Повороты истории. Том 2. Науч. ред. В. Гельман. СПб.: Летний сад, 2003.

что «революция» является категорией, центрированной на «действующих лицах» и не допускающей чисто «внешнюю», объективную и «натуралистическую» идентификацию ее.⁵⁵

Здесь мы приходим к пониманию второй причины того, что я считаю философско-методологическим провалом социальных наук. Дело в том, что философии давным-давно известно — акты свободы не предсказуемы *в принципе*. Такова их онтологическая «природа», укротить которую не в силах никакая методология познания, даже та, которой обладают «самые передовые» современные социальные науки. Как писал Кант, «...в том и беда, что мы не можем встать на точку зрения, с которой возможно предвидение свободных поступков, ибо это была бы точка зрения провидения, недоступная человеческой мудрости, распространяющаяся также и на свободные деяния человека, которые хотя и могут быть им *увидены*, однако не могут быть *предвидены* со всей определенностью (для божественного ока здесь различия нет)».⁵⁶ Все, что определено естественной «причинностью природы», предвидеть — при известном совершенстве орудий познания — можно, но то, что определено «причинностью свободы», — нет, ибо второе *не* вытекает из первого, а само становится для создаваемой им цепи явлений «абсолютно первым началом не в отношении времени, а в отношении причинности».⁵⁷ Если революция есть хотя бы до некоторой степени акт свободы, то предвидеть ее нельзя, и в этом неправильно усматривать «провал» социальных наук. Ибо сие зависит не от них, а от характера самого данного события.

Но в том-то и дело, что в социально-научных употреблении «революция» все больше отдаляется от «свободы», так что связь между ними становится незаметной и аналитически несущественной или случайной. Наглядный пример уже упоминавшийся ранее сборник «Концепт “революция”...». Поразительно, но во всех статьях *российских* авторов слово «свобода» либо отсутствует совсем, либо возникает лишь в

цитатах из работ зарубежных писателей (Гегеля — в эссе А. Павлова, Ш. Эйзенштадта — у В. Куренного, французских «энциклопедистов» — у К. Аршина). Похоже, российским участникам сборника решительно нечего сказать о свободе в связи с «революцией», с какой бы стороны последнюю не рассматривать. Не знаю, входило ли это в замысел составителей сборника, но контраст между текстами российских и зарубежных его участников получился шокирующий: для Арендт, Хабермаса, Данна, Маркузе, Селбина, Монбиота и многих других «революция», конечно, немыслима вне связи со свободой и без ее «освободительных эффектов». Достаточно сказать, что у Арендт само событие революции *определяется* как такое, которое *уже есть* свобода (а не только движение к свободе), — «ведь быть свободным и совершать поступки — одно и то же».⁵⁸ С другой стороны, такой контраст — лишь свидетельство того, что зарубежные авторы сборника подобраны «неправильно»: в их числе нет настоящих представителей социальных наук (вместо них в сборник попали преимущественно политические философы и культурологи), которые и на Западе написали о «революции» горы литературы без какой-либо рефлексии над свободой.

Очевидным проявлением разъятия «революции» и «свободы» выступает, к примеру, трактовка прихода нацистов к власти в Германии как *тоже* революции.⁵⁹ Так, у А. Михайловского «консервативная революция» — *тоже* революция, только с «ярко выраженными *авторитарными и антиэгалитарными чертами*».⁶⁰ А почему бы нет? «Социальные изменения», «политическая нестабильность», «коллективные действия» и все остальные «общие понятия», под которые мы должны подвести «революцию», — налицо в случае нацизма, или «в задумке» — в случае «консервативной революции». И остается всего лишь отбросить наивную, унаследованную еще от Просвещения веру в то, что «революция» как-то связана со свободой,⁶¹ чтобы стереть

⁵⁵ См. Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 4, 226.

⁵⁶ Кант И. Спор факультетов. Соч. в восьми томах. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 100-101.

⁵⁷ См. Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. С. 283-284.

⁵⁸ Arendt H. What Is Freedom? // Between Past and Future. NY: Penguin, 1977. P. 153.

⁵⁹ См. Calvert P. Revolution and Counter-Revolution. Milton Keynes (UK): Open University Press, 1990. P. 57.

⁶⁰ Михайловский А. Консервативная революция: апология господства // Концепт «революция»... С. 268.

⁶¹ Питер Калверт, призывающий очистить теорию революции от этого архаического наследия Просвещения, говорит непосредственно о «прогрессе», а не о «свободе», но

последние различия между «революцией» и «реакцией», угнетением и освобождением и объявить все это «социальными изменениями», которые будут «нейтрально» изучаться социальными науками, готовыми служить без разбора подонкам и героям.

Но если – в противоположность всему этому – свободу считать не только неотъемлемой, но определяющей чертой «революции», то как понимать ее в контексте революционных событий? Как она возникает? Каким образом проявляется? К чему приводит? Ответы на эти вопросы образуют ядро политико-философской теории революции как события, абрис которой я попытаюсь представить ниже.⁶²

Революция как событие

Первое, что нужно иметь в виду, обсуждая данную тему, – это то, что не всякое изменение есть событие. Как пишет Бадью, «внезапность, темп и дезорганизация [привычного уклада жизни. – Б.К.] могут быть лишь симулякрами события, а не обещанием его истины».⁶³ Изменение *как* событие, на мой взгляд, определяется четырьмя основными чертами, которые я назову «реверсом времени», «конституированием субъекта» (точнее – субъектов), «двойным самоотрицанием» и «зависимостью от будущего», т.е. от того, что следует *за* событием как таковым и в чем оно продолжает «жить» *после* своего завершения. Я постараюсь прояснить каждую из этих характеристик, иллюстрируя мои рассуждения об-

данные понятия неразрывно связаны в отвергаемом им наследии (см. Calvert P. Op. cit. P. 57). Вряд ли нужно пояснять, что «постклассическое» переосмысление свободы давно отделило ее от (линейного) прогресса, так что революционная освободительная борьба отнюдь не обязательно означает «прогрессивную» борьбу за переход к следующей общественной формации.

⁶² Объем данной статьи заставляет меня ограничиться лишь абрисом теории политического события. Стремясь к ее экономной реконструкции, я буду использовать некоторые важные с точки зрения целей данной статьи идеи Алена Бадью и Эрнесто Лаклау без того критического их анализа, которого они заслуживают, и без наведения методологических «мостов» между концепциями этих во многом очень разных мыслителей. Это, к сожалению, придаст черты эклектики моему повествованию. Более развернутое изложение теории политического события дает Артемий Магун (см. Магун А. Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта. СПб: изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008, особенно – глава 3). В ряде моментов оно перекликается с моими взглядами, но я не могу ограничиться простой отсылкой к концепции Магуна в силу немаловажных расхождений между нами.

⁶³ Badiou A. Infinite Thought. Truth and the Return to Philosophy / Tr. O. Feltham and J. Clemens. L-NY: Continuum, 2003. P. 129.

щеизвестными событиями Французской революции.

I.

Начнем с «реверса времени». Это понятие отражает образование революционного события задним числом, поворотом времени вспять, хотя таким образом поворачивается время самого события, а не время того общественного порядка, который им отрицается. Более того, способность события *так* повернуть время означает отмену времени «старого порядка», т.е. то, что его время «подшло к концу». Событийное поворачивание времени и дает тот «взрыв» континуума истории, о котором писал Бенямин в тезисе XV его «Тезисов о философии истории», и введение нового исторического «календаря», точкой отсчета в котором становится данное революционное событие.⁶⁴

Образование революционного события благодаря «реверсу времени» осуществляется посредством включения в него явлений и происшествий, случившихся *до* события и в логике той причинности (вместе с ее «сбоями»), которая присуща *не* событию, а отрицаемому им «старому порядку». Иными словами, то, что составляет содержание события, возникло до него и не в его логике. Однако позже (задним числом) оно было реконфигурировано в соответствии с новой логикой, которая, как и писал Кант о «причинности свободы», не вытекает из предшествующей логики («старого порядка»), породившей явления и происшествия, образующие революционное событие. В этом и заключается суть дела: явления и происшествия, порожденные «старым порядком» (и его «дисфункциями»), входят в состав революционного события, но не являются его причиной. Напротив, само их включение в революционное событие определяется *им самим*, а не их «имманентной природой», и в этом смысле Бадью прав, называя события «беспричинными», т.е. имеющими причину в самих себе, что и есть – «свободная причинность».

Конечно, такое рассуждение поднимает сложный вопрос о том, кто или что «принимает решение» о таком «реверсном» конституировании события путем включения в него *некоторых* явлений и происшествий

⁶⁴ См. Benjamin W. Op. cit. P. 261.

«старого порядка». Я думаю, у Бадью не получается удовлетворительным образом справиться с этим вопросом, вследствие чего в его философии возникает полумистическая фигура «оператора», отличного от «множества», которое составляет событие, и дающего событию «имя», т.е. «решающего событие».⁶⁵ Преодолением этой трудности мне видится концепция «гегемонии» (восходящая к идеям А. Грамши), позволяющая объяснить возникновение такого «оператора» из хода политико-идеологической борьбы, которая всегда имеет ситуационный характер и не предопределена какими-либо «сущностями» или «законами», предшествующими ситуации или лежащими вне ее. Но о событийном «конституировании субъекта» речь пойдет, когда мы будем рассматривать вторую главную черту революции как события.

Теперь обратимся к явлениям и происшествиям, группируемым как событие «взятие Бастилии».⁶⁶ 17 июня 1789 года делегаты Генеральных штатов от третьего сословия уже объявили себя «Национальным собранием», но продолжали заседать в королевском Версале, и о низложении монарха, учреждении республики, отмене феодальных привилегий и всем прочем, что составило «суть» Французской революции, слышно не было. Само слово «революция» было в ходу и даже существовала довольно популярная газета под названием “Les Révolutions de Paris”, но оно ни в коем случае не имело современного значения «легитимного» ниспровержения существующей власти народом-сувереном и по сути означало любое заметное изменение политического устройства, включая то, которое мог производить сам король.⁶⁷ 11 июля король,

похоже, принимает решение восстановить «порядок»: он отправляет в отставку популярного министра Неккера и начинает стягивать к Парижу верные ему войска. Город охватывают страх и возбуждение. Пламенный оратор Камилл Демулен в Palais Royal произносит перед толпами собравшихся речи о подготовке новой резни в стиле Варфоломеевской ночи.⁶⁸ В этой ситуации Национальное собрание практически бездействует, однако парижане начинают действовать спонтанно: в поисках запасов продовольствия они захватывают монастырь Saint-Lazare, освобождают из нескольких тюрем тех, кого сейчас назвали бы «политзаключенные», разрушают парижские таможни, наконец, стремясь вооружиться для *самообороны*, они овладевают арсеналом, в Hôtel des Invalides. За исключением мелких стычек с немецкими наемниками все эти действия не встречают вооруженного сопротивления. Но в захваченном арсенале парижане обнаруживают только мушкеты и несколько пушек, патронов и снарядов к ним там не было. *Так* возникает идея штурмовать Бастилию – многие полагали, что в крепости хранятся запасы пороха.⁶⁹

В *военном* плане штурм и взятие Бастилии, действительно, были незначительной операцией. Ж. Годешо, конечно, прав, подчеркивая, что бескровный захват Hôtel des Invalides в этом отношении имел гораздо большее значение, – он показал ненадежность королевских войск в противодействии бунтующим парижанам.⁷⁰ Узников же в Бастилии к 1789 году почти не осталось.

Как уже отмечалось, акции парижан 11-14 июля – и в особенности взятие Бастилии – повергли «представителей народа» в Национальном собрании в смятение

⁶⁵ См. Badiou A. On a Finally Objectless Subject // Who Comes After the Subject. P. 27. Об этой и других трудностях концепции события в философии Бадью см. Bensaid D. Alain Badiou and the Miracle of Event // Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, ed. P. Hallward. L-NY: Continuum, 2004. P. 94-105. См. также Clemens J. and O. Feltham. The Thought of Stupefaction; Or, Event and Decision as Non-Ontological and Pre-Political Factors in the Work of Gilles Deleuze and Alain Badiou. P. 21 ff. Режим доступа: <http://whiteheadresearch.org/event-and-decision/#papers>

⁶⁶ В их изложении я буду следовать нарративу Жака Годешо, представляющему наиболее скрупулезным и систематическим их освещением. См. Godechot J. The Taking of the Bastille: July 14, 1789 / Tr. J. Stewart. NY: Charles Scribner's Sons, 1970.

⁶⁷ О предреволюционных коннотациях термина «революция» во Франции и их трансформации в связи со «взятием Бастилии» см. Baker K.M. Inventing the French Revolution: Essays on the French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 203-223.

⁶⁸ См. Godechot J. Op. cit. P. 187-188. Обратим внимание: мобилизация массовых действий начинается посредством указания на возможность повторения *прошлых* преступлений «старого порядка», а не призывов к его ниспровержению ради «светлого будущего». О таком повороте дела не говорит в это время даже Демулен!

⁶⁹ Конечно, восприятие Бастилии в качестве *символа* жестокостей «старого порядка» сыграло в этом свою роль. Но не забудем и о более «прагматических» мотивах: *по слухам* Бастилия имела большое значение для грядущей расправы над парижанами – из ее пушек якобы собирались расстрелять Сент-Антуанское предместье. Делегация горожан, впущенная в крепость накануне ее штурма, удостоверилась в том, что пушки Бастилии не находятся в боеготовности. Но устойчивые фобии не рассеялись. См. Lusebrink H-J. and R. Reiherdt. The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom / Tr. N. Schurer. Durham (NC): Duke University Press, 1997. P. 40, 42.

⁷⁰ См. Godechot J. Op. cit. P. 217.

и уныние. Предлагались даже резолюции, осуждающие эти акции. Они – в соответствии со стереотипами времени, когда современная революция еще не была изобретена, – рассматривались большинством членов Собрания в качестве бунтов толпы, бессмысленных как таковые и, хуже того, дающих оправдание жесткой политике короля в отношении «народных представителей». Однако произошло неожиданное: король отдал приказ войскам отойти от Парижа (и к 16 июля они были отведены) и восстановил в должности Неккера. С другой стороны, группа членов Собрания, сделавшая вылазку в Париж во второй половине дня 15 июля, обнаружила, что он не только не охвачен яростью бессмысленного бунта, но и преисполнен лояльности к «народным представителям». 16 июля в Национальном собрании прозвучали первые высказывания в том духе, что взятие Бастилии – оправданный ответ народа деспотизму. Но только 20 и 23 июля было окончательно решено, что произошедшее 14 июля является именно легитимным восстанием народа. В большой мере такое решение было вызвано стремлением «народных представителей» *остановить* самостоятельность парижан, продолжавшуюся и после 14 июля. Для этого новые акты насилия и неповиновения властям противопоставлялись как «незаконные» «законному» выступлению народа против деспотизма 14 июля. Так 14 июля стало началом великой революции, и в этом выражалось стремление ее «штаба» закончить ее той же датой: дальнейшие самочинные действия народа оказывались уже *преступными*, а изменения – в том скромном их понимании, какое господствовало в умах «представителей народа» в июле 1789 года, – должны были в последующем осуществляться только *законным* путем, т.е. по их собственному решению и под их контролем.

К этому остается добавить, что закончить революцию так быстро не получилось. Парижские бунты имели ряд непредвиденных следствий. Одним из важнейших было усиление панических настроений среди крестьян, явление, известное как «Великий страх». Его вызвали опасения реквизиций со стороны властей из-за угрозы голода, слухи о бандах горожан, отбирающих продовольствие, и т.д. На селе не просто интенсифицировалось брожение – разразилось то, чему Жорж Лефевр дал название

«крестьянской революции».⁷¹ Оперативной реакцией на это стали знаменитые законы «ночи 4 августа», положившие юридический конец феодализму во Франции. Революция шагнула к новому рубежу. Но и на нем ее остановить не удалось. Революция продолжала вбирать в себя все новые происшествия и явления, переопределяя их в собственной логике и подчиняя их ей. За счет этого она «развивалась», обогащалась новым содержанием (можно сказать – радикализировалась) и приобретала *свою* историю, уже вполне автономную от истории «старого порядка», из которого она *вышла* и который «породил» ее лишь в том узком смысле, что дал податливый «материал» (явлений, происшествий, но также и человеческих ресурсов) для лепки ею себя.

Что все это говорит нам о «реверсе времени» как определяющей черте революции? 14-ое июля стало началом революции никак не раньше 20-ого или 23-его июля. Его сделали таким началом не сами по себе происшествия этого дня, а *реакция на них*, с одной стороны, короля, а с другой – тех, кто до 20-ого или 23-его июля были лишь «знаком без обозначаемого», т.е. «представителями народа», который еще отсутствовал. Hôtel des Invalides и Бастилию брал не народ-суверен. Их брали толпы возбужденных и напуганных парижан. И сами по себе эти акции вписывались в логику «старого порядка» – мало ли он знал бунтов, вызванных его преступлениями и «дисфункциями», в ходе которых мятежники одерживали и гораздо более впечатляющие победы, чем бескровный захват Hôtel des Invalides или овладение Бастилией, защищаемой небольшой командой отставных ветеранов?

Но эти сами по себе довольно заурядные происшествия были *таким* образом признаны верховной властью, т.е. королем, и «генералами без армии», т.е. Национальным собранием, что они оказались включены в совершенно новую, дотоле неизвестную логику – логику «свободной причинности», наделившей эти происшествия достоинством Начала и «основополагающего акта». Ошибочно считать, будто эта новая логика была кем-то (королем или членами Собрания) придумана или будто эти происшествия были всего лишь *названы* Началом, так что их подлинная «сущность» от

⁷¹ См. Lefebvre G. The Coming of the French Revolution / Tr. R.R. Palmer. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2005. Глава 4.

такого переименования не изменилась. Нет, новую логику никто не придумал – она сложилась *непреднамеренно* из действий и решений, преследующих цели, которые соответствовали *modus operandi* «старого порядка». Король отвел войска и призвал Неккера, т.к. ему, вероятно, нужна была пауза для консолидации сил и поскольку – в логике бунтов, а не революций – иногда бывает лучше дать беспорядкам возможность истощить себя собственной бесплодностью. А «генералам без армии» была нужна армия – прежде всего как угроза королю для усиления своих позиций в торге с ним. Но в том и дело, что пути следования этим вполне «по-сторонним» целям пересеклись таким образом, что достичь ни одну из них в логике «старого порядка» стало невозможно. Он треснул, и в этой трещине – помимо сознательных целей и устремлений всех тогдашних действующих лиц – возникла новая логика: логика революции. И она сразу преобразовала всех участников драмы: парижские толпы превратились в народ-суверен и стали все более уверенно вести себя *в этом качестве*; «генералы без армии» обрели ее и стали-таки представителями народа (хотя бурные преобразования последнего в ходе революции лишали их одного за другим этого звания и отправляли – кого на эшафот, кого в изгнание, кого в политическое небытие). И король приобрел новое качество – еще не «гражданина Капета», но уже, как сказал при его встрече 17 июля 1789 года новый мэтр Парижа, «короля, отвоеванного народом» – в противоположность качеству Генриха IV, который въезжал в столицу как «король, отвоевавший свой народ».⁷²

II.

«Конституирование субъекта» (субъектов) – другая определяющая черта революции как события. Иллюстрацией этому и может служить описанное выше обретение королем, членами Национального собрания, парижскими толпами (и не только парижскими) нового качества, или идентичностей, как сейчас принято говорить, и их практические действия *в логике этого нового качества* или этих новых идентичностей. К их числу, конечно, нужно добавить и такие новые идентичности, как «контрреволюционеры», «колеблющиеся» (названные якобинцами «подозрительными»), «попут-

чики» и другие, которые создает сама революция, которые отнюдь не совпадают с политическими и социально-экономическими категориями, описывающими группировки и деления обитателей «старого порядка», и подвижные, меняющиеся взаимоотношения между которыми и составляют «процесс революции».

Исходным пунктом рассуждений о «конституировании субъекта» является тезис о том, что субъект революции *не* предшествует ей, а создается ею самой. Дело не обстоит таким образом, что еще до революции имеются силы, готовые ее осуществить и чьей *программой* она является, а также другие силы, решившие революцию предотвратить, а коли она начнется, то подавить ее.⁷³ Представление об уже запрограммированных на определенные виды деятельности силах, для которых практика – лишь исполнение их программ, а не творческое *одновременное* изменение обстоятельств и человеческой деятельности, т.е. самих людей, как определял в «Тезисах о Фейербахе» *революционную практику* Маркс, необходимо предполагает именно «метафизического субъекта». Этот субъект стоит в своей полной определенности, цельности и законченном самопонимании *перед* практикой, которая для него – лишь способ самореализации, т.е. реализации того, что он *уже есть* до и вне этой практики. Он автономен по отношению к практике – любым возможным видам практики («сущность» сил, «готовых к революции», не меняется от того, приходится ли им действовать в условиях торжества реакции или наступления революции), как кантовский моральный субъект автономен по отношению к любой гетеронии. Поэтому такой субъект в принципе является «универсальным», т.е. независимым от ситуаций и контекстов, в которых он себя обнаруживает. Такому субъекту теория события противопоставляет другого субъекта. Как описывает его Бадью, «этот субъект будет исключительным, а не универсальным, и он будет исключительным, поскольку всегда будет являться событием, которое конституирует

⁷³ О революции можно сколько угодно говорить, «готовить» и даже предчувствовать ее, но это ничего не скажет о готовности реальных сил ее совершить. Бляхер с точной иронией замечает, что в Европе начала XX века (но также и последних десятилетий века XIX) просто не было «неревolucionеров» (см. Концепт «революция»... С. 25). Стоит только добавить, что после Парижской коммуны не было и никаких революций.

⁷² Цит. по Sewell W.H. Op. cit. P. 856.

субъект как свою истину».⁷⁴

Создание революционным событием своих собственных исполнителей, т.е. революционных субъектов, нуждается в объяснении: ведь им просто неоткуда взяться, иначе как из *объектов* «старого порядка», т.е. тех организованных и воспроизводимых им социальных групп, которые подчинялись присущей его природе «естественной причинности». Как происходит трансформация объектов в субъекты?

Рассуждение об этом следует начать с того, что ни одно общество не является монолитным, «системой» в строгом смысле данного понятия, воспроизводящейся и развивающейся в соответствии со своей имманентной логикой. Оно всегда является «чешуйчатым» – наложением друг на друга экономических, социальных, политических, культурных структур, имеющих разное происхождение и разные логики функционирования, но (до поры до времени) удерживаемых вместе скрепой некоей доминантной логики, скажем, капиталистического способа производства или феодальных сеньориальных отношений. Этот «чешуйчатый» характер общества на уровне методологической рефлексии и применительно к построению его «общей теории» точно ухватил Йозеф Шумпетер. Приведу полностью его формулировку: «Каждая социальная ситуация является наследием предыдущих ситуаций и перенимает от них не только их культуру, предрасположенности и их «дух», но и элементы социальной структуры и концентраций власти. <...> Ни одна социальная пирамида не бывает сделана из однородной субстанции и не бывает бесшовной. Нет единого *Zeitgeist* – разве что в виде [теоретического] конструкта. Это означает, что, пытаясь объяснить исторический путь или историческую ситуацию, необходимо принять во внимание наличие в ней многого такого, что чуждо ее собственным тенденциям и что существует как «пережитки». Все это самоочевидно, но часто выступает причиной практических трудностей и проблем с диагностикой социальных ситуаций. Другое следствие этого состоит в том, что сосуществование принципиально разных ментальностей и групп «объективных фактов» должно стать частью *любой общей теории* [общественной жизни]».⁷⁵

Взаимодействие доминантной логики данного общества с тем «многим» в нем, что ей «чуждо», многообразно и противоречиво. Результатами его могут быть и ассимиляция части этого «многого» доминантной логикой (классический пример – капиталистическая трансформация аграрных отношений), и эксплуатация другой его части в качестве своих опор (неоплачиваемый женский труд внутри семьи по воспроизводству потребляемой капиталом рабочей силы), и модификация / адаптация самой доминантной логики к третьим элементам этого чуждого ей «многого» (мутация капитализма, включая частичную деконструкцию рабочей силы, в условиях «государства благосостояния»). Так или иначе, доминантная логика и непосредственно воплощающая ее доминантная структура всегда соотносится с Другим (чуждым ей «многим»), полагает себя через Другого и тем самым полагает Другого через его соотнесение с собой. В таких соотношениях и полаганиях, которым всегда присуща та или иная степень напряженности и конфликтности, доминантная логика стремится воспроизвести общество в качестве повторяющегося образца сочетания и взаимоувязки того «многого», что составляет данное общество.

Пока такие повторения образца происходят, хотя абсолютно точными они никогда не могут быть,⁷⁶ социальные группы данного общества воспроизводятся в качестве объектов доминантной логики, условия существования которых с *необходимостью* детерминированы ею. Положение меняется, когда такие повторения дают сбой, когда доминантная логика не может по «прежним правилам» положить себя в Другом, а Другое – по тем же правилам – соотнести с собой. Другое оказывается в недостаточной степени детерминировано доминантной логикой, а она сама ищет нестандартные, не присущие ей самой способы сохранить себя в качестве *modus operandi* данного общества и таким путем – вопреки возникшим трудностям – добиться все же повторения образца. Такой выход доминантной логики

P.M. Sweezy. NY: A.M. Kelley, 1951. P. 144-145 (курсив мой. – Б.К.).

⁷⁶ Экспансивное развитие по модели «перманентной буржуазной революции», которая обсуждалась нами ранее, можно рассмотреть в качестве повторения образца «буржуазного общества» на все более разрастающемся социально-экономическом и культурном материале, беря такое разрастание в эволюционной перспективе.

⁷⁴ Badiou A. Infinite Thought... P. 56.

⁷⁵ Schumpeter J.A. Imperialism and Social Classes, ed.

за ее собственные рамки Лаклау передает понятием «смещения (dislocation) структуры», а такую недостаточную детерминированность Другого – «заброшенностью в ситуацию неопределенности», которая и есть *возможность* свободы.⁷⁷

Канун Французской революции дает этому отличную историческую иллюстрацию. Глубокий фискальный и финансовый кризис монархии, вызванный ее собственными операциями и обычаями (от милитаризма и военных авантур до расточительности двора и усиления традиционного давления на крестьянство и городские низы в целях пополнения казны), потребовал нестандартных действий, выходящих за рамки логики абсолютизма. Таким шагом был, как известно, созыв Генеральных штатов, не собиравшихся с 1614 года, что само по себе показывает чуждость этого органа механизму абсолютной монархии. Но подготовка этого шага потребовала целого ряда таких действий, включая резкое ослабление цензуры и создание форм политической артикуляции недовольства населения – в виде собираемых по всей стране для Генеральных штатов *Cahiers de doléances*, которые сами по себе привели к существенному «смещению структуры». Дальнейшее известно.

Важно иметь в виду, что такое «смещение» есть не необходимый момент в восходящем развитии общества, а открытие поля возможностей, которое для самой «смещившейся» доминантной структуры выступает *непреднамеренным следствием* ее действий, направленных на самовоспроизводство, на повторение старого образца. В собственной логике доминантная структура *не* признает возникновение этого поля, и само его существование зависит от того, что кто-то *вопреки* такому непризнанию начинает использовать «смещение структуры» как возможность для действий нового типа, немислимых ранее. Поле возможностей как следствие «смещения структуры» есть, таким образом, не «объективная данность» социального бытия, а *характеристика практик*, могущих возникнуть благодаря их недостаточной детерминированности доминантной структурой, но не предопределенных этой недостаточностью. Вследствие этого такие практики *случайны*

– в смысле их невыводимости из «естественной причинности» «старого порядка» и зависимости от «стечения обстоятельств», одним из которых выступает *сознательное отношение* социальных групп к возникшему факту их недостаточной детерминации «смещившейся структурой».

Но (то или иное) сознательное отношение к этому факту становится *необходимостью*: автоматическое следование ритуалам повседневности, делающее рефлексивное самоопределение не столько в принципе исключенным, сколько излишним и чересчур обременительным, становится невозможным в ситуации недостаточной детерминированности. Какие-то нестандартные решения приходится принимать просто потому, что знакомая и вошедшая в рефлексы организация жизни не срабатывает.

Это крайне важно: свобода есть порождение ситуационных неудобств и опасностей, а не атрибут автономного Разума. Она есть бремя, которое приходится на себя взваливать, а не данная нам (богом, человеческой природой или добродетельными правителями) благодать. Люди становятся субъектами, т.е. существами, способными к «самозаконотворчеству», *по принуждению* обстоятельств, с которыми они не могут иным образом справиться, а не по зову своей нравственной природы. И эта свобода, и эта субъектная форма их существования есть для них *средство* преодоления возникших затруднений, а не самоцель. Трудно представить себе что-то более неверное, чем дышащая истинным благородством формула Токвиля – «кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее саму, тот создан для рабства».⁷⁸ Или точнее сказать так: это – чисто аристократическое видение свободы, подходящее для тех, для кого «социальный вопрос» – по Арендт – может быть оставлен по ту сторону политики, и только в тех ситуациях, в которых повседневность как фундамент их жизни не пошла трещинами и не обернулась сверхвопросом «а как же жить в таких условиях дальше?». Хотя, с другой стороны, на определенном этапе развития субъектности и революции свобода-средство может превращаться в свободу-самоцель, вернее – подобно тому, как аристотелевская справедливость является для полиса и высшим благом, и благом как

⁷⁷ См. Laclau E. *New Reflections on the Revolution of Our Time*. L-NY: Verso, 1990. P. 42-44.

⁷⁸ Токвиль А. *Старый порядок и революция*. М.: Кушнерев, 1905. С. 188.

средством для иного, – совмещать инструментальность и самооценность в качестве своих ипостасей. И это тоже нужно понять в динамике революции как события.

Однако от открытия поля возможностей на уровне индивидуального самоопределения до возникновения коллективных революционных субъектов – неблизкий и отнюдь не прямой путь. Маневр «смещения» доминантной структуры может у нее получиться, и она «повторит» себя, пусть в измененном виде, но зато подавив ростки политической субъектности. Вероятно, так можно интерпретировать маневр нэповского «отступления», по выражению Ленина, большевистской власти после «военного коммунизма», закончившийся сталинской ее консолидацией в конце 20-ых годов. Или «смещение» может привести к формированию политических субъектов только на уровне (противоборствующих) элит, и в таких случаях возникнут так называемые «революции сверху», классическими примерами которых являются японская «революция Мэйдзи» и «кемалистская революция» в Турции.⁷⁹

Но и развитие политической субъектности «снизу» может быть остановлено (и даже повернуто вспять) на разных его фазах. Более того, формируемая *самой революцией* доминантная структура стремится к тому, чтобы сделать это, как только ей удастся более-менее встать на ноги, на каждом очередном этапе революции, на который ее переводит именно *неудача* предыдущей попытки остановить идущий «снизу» рост демократических революционных субъектов. Об этом и свидетельствует описанная выше попытка самого Национального собрания закончить революцию, начавшуюся 14-го июля, той же датой, переведя дальнейшее развитие сугубо в «законное русло» и исключив новые всплески самостоятельности низов. Поскольку это не удалось, постольку революция вышла на этап, озаглавленный законами «ночи 4-го августа». И якобинцы стремились положить конец росту революционной субъектности, причем им это удалось много лучше, чем предшественникам (посредством разгрома эбертистов и «бешеных», ослабления народных секций и т.д.), что и сделало возможным Термидор

как полную – в рамках Французской революции – остановку развития революционных субъектов и начало их разложения, итог чему подвел бонапартизм.

В свете этого контрреволюцию – в отличие от «антиреволюции»⁸⁰ – следует понимать не как то, что манихейски противостоит революции, но как внутренний момент последней. Контрреволюция – необходимый момент структурирования самих революционных субъектов, которое в то же время есть их отрицание, т.е. подавление их самостоятельности *организацией*, необходимой для их же успеха. В этом смысле контрреволюционерами были не только термидорианцы, но и сами якобинцы, революционно действовавшие, конечно же, только под давлением низов,⁸¹ которых они стремились обуздать, и «патриоты» Национального собрания, желавшие завершить революцию 14-ым июля 1789 года, и вообще любое руководство революции на любом ее этапе. Как и почему это происходит, объясняет теория гегемонии.

Гегемония есть метод (наряду с насильем) конструирования и воспроизводства «исторического блока»,⁸² который предполагает «этико-политическое» руководство одних сил при «добровольном согласии» других, подчиненных сил. Это есть «правление посредством постоянно организованного согласия».⁸³ У Грамши под «силами» фигурируют «классы», хотя и предстающие в их политическом, «гегемонном», а не «корпоративно-экономическом бытии, т.е. как акторы жизни общества в целом, а не как персонификации факторов экономического производства».⁸⁴ Но такое

⁸⁰ См. сноску 48.

⁸¹ А. Тарасов, ссылаясь на А. Собуля и Я. Захера, верно подчеркивает, что «лишь под постоянным нажимом «снизу», под прямым действием санкюлотов Комитет [общественного спасения] шел на шаги, которые... спасли революцию и республику» (Тарасов А. Необходимость Робеспьера // Концепт «революция»... С. 289, 293).

⁸² Сжатое и четкое представление грамшианской концепции «исторического блока» см. Bobbio N. Gramsci and the Conception of Civil Society // Gramsci and Marxist Theory, ed. C. Mouffe. L.: Routledge and Kegan Paul, 1979. P. 37 ff.

⁸³ См. Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks / Tr. Q. Hoare and G. Nowell Smith. L.: Lawrence and Wishart, 1971. P. 80n, 161, 271.

⁸⁴ У меня нет здесь возможности обсуждать то, каким образом экономическое бытие классов и их экономические «идентичности» конституируются политически, что и позволяет «экономике» в капиталистической формации выступать детерминирующей политикой (и другие общественные сферы) силой. Об этом см. Balibar E. Marx, the Joker in the Pack (or the Included Middle) // Economy and Society. 1985. Vol. 14. № 1. P. 1-27; Rosenthal J. Who Practices Hegemony? Class Division and the Subject of Politics // Cultural Critique.

⁷⁹ Классикой жанра «элитных революций» является известная работа Э. Тримбергер. См. Trimberger E.K. A Theory of Elite Revolutions // Studies in Comparative International Development. 1972. Vol. 7. № 3.

«классовое» прочтение гегемонии оправдано лишь постольку, поскольку имеет место, действительно, «*постоянно организованное согласие*» подчиненных. Такая организация их согласия и обеспечивает их бытие именно в качестве *классов*, т.е. устойчивых «общностей», этико-политически детерминированных доминантной структурой настолько, что они уже могут – в качестве *объектов* такой детерминации – более-менее автоматически воспроизводиться *экономикой*.

Созданный по классовым параметрам и на основе «постоянно организованного согласия» «исторический блок» и есть то *завершение* развития революционного субъекта, которое в то же время есть его *конец* – в виде структурного «окостенения» и превращения в *повторяющийся образец* отношений субординации «ведущих» и «ведомых». Революционный субъект есть незавершенная структура гегемонии, способная вновь и вновь дестабилизировать себя на каждом новом этапе своего развития. Революционный субъект как коллективный многосоставный актор невозможен без организации и, следовательно, без отношения «ведущих» и «ведомых». Толпы парижан, захватывающие Hôtel des Invalides и Бастилию, были именно толпами, а не революционным субъектом, которым они стали, лишь вступив в определенные *практические* отношения «лояльности» к новому политическому классу, формирующемуся в Национальном собрании и вокруг него. Но если бы эти отношения приобрели черты «постоянно организованного согласия», то революция, действительно, завершилась бы 14-го июля. Она продолжилась именно потому и постольку, поскольку «ведомые» в революционной структуре гегемонии низы раз за разом подрывали «организованное согласие» своими самостоятельными акциями, перетряхивая ими и верхи, и всю структуру гегемонии в целом. Получается, что революционный субъект не просто конституируется революцией, но она сама есть его конституирование, и длится она ровно столько, сколько это дело продолжается.⁸⁵

1988. № 9. Р. 50-52.

⁸⁵ Не буду подробно обсуждать то, что самоочевидно: никакой политический субъект не может конституироваться в одиночестве, хотя бы потому, что главным условием этого является открытая борьба, а она может быть только борьбой с другими субъектами. Революция конституирует субъектность (естественно, различным образом) «по обе стороны баррикады». Именно в этом Жорж Сорель видел нравствен-

III.

«Двойное самоотрицание» есть способ, которым революция, во-первых, конституирует себя⁸⁶ в качестве события радикального обновления общества («основополагающего события»), во-вторых, легитимирует себя в этом качестве.

Ни одна революция не начинается с борьбы против статус-кво как *такового* или с борьбы за свободу как таковую, якобы подавленную или отчужденную существующим порядком.⁸⁷ Революция (или *предреволюция*) начинается с конкретных многообразных и рассредоточенных *сопротивлений* конкретным явлениям угнетения, ущемления, унижения, дезориентации и т.п., которые обнаруживаются, возникают или начинают восприниматься как «нестерпимые» именно вследствие того «смещения структуры», о котором говорилось выше. Лаклау прав в том, что – на этой стадии – борьба идет не против «структурности доминантной структуры», а против эффектов, вызванных ее деструктурированием, т.е. отсутствием достаточной структурированности существующего порядка.⁸⁸ Непременное условие начала революции как таковой есть стягивание всех (или значительной части) этих разнородных и разнонаправленных сопротивлений в один узел, т.е. придание им единого смысла и единой направленности противостояния «режиму», «структурности структуры», точнее, ее способности реструктурироваться и (в том или ином виде) «повторить себя». Если это удастся, то борьба уже не будет распадаться

ное достоинство пролетарского насилия, которое было призвано «вдохнуть в буржуазию некоторую долю ее прежней энергии», присущей ей тогда, когда она «субъектно» закладывала основы современного мира (см. Сорель Ж. Размышления о насилии / Пер. В.М. Фриче. М.: Польза, 1907. С. 27, 32). Понятие «субъект» (за рамками метафизики) по определению предполагает интересубъективность в качестве и своей предпосылки, и следствия.

⁸⁶ Это, конечно, гипостазирующий эвфемизм: в действительности так конституирует и легитимирует себя формирующаяся в ходе революции доминантная структура.

⁸⁷ Мишель Фуко справедливо отмечал, что представления о борьбе за свободу как таковую предполагают метафизического субъекта, который будто бы утратил ее как то, что принадлежит ему по праву. В действительности исторические обстоятельства формируют и людей, как и то, что является для них свободой (разной в разных исторических контекстах). Борьбой свобода *создается*, а не возвращается из плена. См. Foucault M. The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom: An Interview with Michel Foucault // Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault, 1954-1984, ed. P. Rabinow. Vol. 1. L.: Penguin Books, 1997. P. 282.

⁸⁸ См. Laclau E. Op. cit. P. 62.

на самооборону парижан от ожидаемой резни, на голодные бунты, на возмущения от чрезмерных поборов и т.д. — она выстроится как противостояние «суверенного народа» нестерпимому деспотизму. В этом и заключался великий смысл запоздалого опознания взятия Бастилии в качестве «законного» акта «народа-суверена». Так и возникла (ранняя) форма гегемонной структуры революционного субъекта.⁸⁹

Стягивание разнородных сопротивлений в один узел означает, что они теряют самостоятельное значение в универсальной борьбе против «режима» как такового. Их разнообразные причины не столько сводятся к общему знаменателю, сколько «снимаются» в революционном антагонизме к универсальному врагу.⁹⁰ Благодаря такому «снятию» революция делает себя основополагающим актом Нового Мира, который строится как бы с «чистого листа», будь таким Новым Миром «Новый Иерусалим» кромвелевской революции, «республика добродетели» Робеспьера или «коммунизм» большевиков.⁹¹ Это и есть первое самоот-

рицание революции — отрицание ею и своих реальных истоков (самостоятельного значения сопротивлений и протестов, приведших в движение ранее политически статичные классы и тем самым сделавших возможным образование революционного субъекта), и своей «материи», которой ведь являются не только противоречия «старого порядка», но и созданные им ресурсы, от интеллектуальных и духовных до экономических и военных, позволивших революции осуществиться.

Разрушение старого мира «до основания» и строительство нового с «чистого листа», т.е. основоположение Нового Мира, можно назвать «фикциями» революции или даже ее «ложным сознанием» и самосознанием. «Фикцией» при таком понимании будет и то, что мы называли первым самоотрицанием революции. Но так же, как в известном примере Маркса «ложное» товарно-фетишистское сознание лондонского лавочника есть необходимое условие его функционирования в качестве лавочника и уже по этой причине есть необходимая сторона определенной исторической *действительности*, «фикции» революции не совсем фиктивны, более того, они тоже есть сторона действительности. Стягивание до-революционных причин революции в один узел и их «снятие» в ней и есть то, что позволяет ей (к лучшему или к худшему) «штурмовать небо», преодолевать «естественную причинность» «старого порядка» и *невозможным* в его собственной логике образом трансформировать его. Согласимся с Бреннером и его единомышленниками в том, что капитализм может развиваться и подчинить себе общество и без того, что называют «буржуазными революциями» (см. сноску 43). Но «капитализм с революциями» и «капитализм без революций» оказываются все же весьма разными видами капитализма, и они — по крайней мере в среднесрочной исторической перспективе — открывают весьма разные возможности и для политических свобод, и для самообороны угнетенных низов.

⁸⁹ Но даже это еще не гарантирует перерастание борьбы с эффектами «смещения структуры» в борьбу против «структурности структуры». Лишь развитие первой в *определенных условиях* может привести к ее трансформации во вторую. О многом в этом плане говорит то историческое свидетельство, что даже участники боев при Лексингтоне, Конкорде, Банкер Хилле и Тикандероге, оказавшихся великими вехами Американской революции, продолжали считать себя лояльными подданными британской Короны, боровшимися лишь против «заговорщиков», которые окопались на разных уровнях государственной власти. См. Countryman E. The American Revolution. NY: Hill & Wang, 1985. P. 110.

⁹⁰ В самом деле, *причину* того же драматического ухудшения положения с продовольствием в предреволюционной Франции трудно увидеть в самом существовании абсолютистского режима. Причин этого было много, в том числе — сохранение с ветхозаветных времен таможенных барьеров, разделявших провинции и города Франции, устранить которые вроде бы был должен сам абсолютизм в соответствии с присущей ему *централизаторской* логикой.

⁹¹ Ленин, пожалуй, наиболее отчетливо представил логику такого «снятия», объясняя легкость победы большевиков в октябре 17-ого тем, что они на том этапе революции выполняли *эсеровскую* программу («Мир! Хлеб! Земля!»), тогда как к реализации «принципов коммунизма» перешли позже (см. Ленин В.И. Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала. Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Политиздат, 1964. С. 30). В логике такого «снятия» произошла кардинальная перестройка структуры гегемонии, определявшей революционный субъект на начальном этапе революции. Как писал Л. Троцкий, в демократической революции пролетариат осуществляет «гегемонию» (в отношениях с крестьянством), но при переходе к социализму он устанавливает «диктатуру» (См. Trotsky L. The History of the Russian Revolution. Vol. 1, tr. M. Eastman. NY: Simon & Schuster, 1932. P. 296-297). «Гегемония пролетариата» у Троцкого и есть то, что для Ленина было «революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». Называть эту концепцию «нонсенсом» и «бредом» — на том основании, что будто бы возможна диктатура одного чело-

века или социального слоя, но никак не двух, как это делает С. Земляной в статье в сборнике «Концепт «революция»...» (см. С. 351), несуразно. История знает немало примеров не только диумвиратов и триумвиратов, но даже «тиранию тридцати». Но важнее то, что данное суждение свидетельствует о непонимании или незнании азов теории гегемонии и структурирования революционного субъекта, в логике которой формулировалась эта ленинская концепция (что, разумеется, не есть гарантия ее безукоризненности).

Второе самоотрицание революции есть «снятие» ею собственного событийного характера и даже сокрытие его посредством представления себя в качестве *неизбежности*. В рамках историзированного мировидения, которое в решающей мере – продукт самой революции, она принимает облик неизбежного проявления законов истории, изображаемых так или иначе. Так выражается стремление революции к самолегитимации, продиктованной самыми «земными» и конкретными политическими потребностями (но, как и почти любой крупный политический маневр, этот маневр может быть успешен тогда, когда в него *искренне* верят).

Механизм этого самоотрицания в принципе такой, каким Ницше описал «забывание» в качестве явления или процесса, позволяющего установить «полезное» отношение с прошлым.⁹² Такое «забывание» активно, избирательно и продуктивно. Оно целенаправленно (в модальности истинного убеждения «ложного сознания») отсеивает одни элементы прошлого и сохраняет другие с тем, чтобы – в данном случае – снять событийную случайность революции и придать ей значение *необходимого следствия* «естественного» хода истории и в то же время – *необходимой причины* дальнейшего прогрессивного развития. Это и есть «натурализация» революции. Ницше был прав, говоря о том, что «забывание» есть условие неисторической длительности существования – ведь история отличается от длительности природы (и «натурализованной» эволюции) именно своей событийностью и прерывистостью. Изображение в коммунистической идеологии советского периода Октябрьской революции в качестве закономерного продукта противоречий капитализма (пусть и взорвавшихся в «слабом звене» цепи империализма, которым была Россия) и в то же время – как определившего все последующее развитие начала «строительства социализма и коммунизма», есть наглядный (и даже утрированный) пример того, как срабатывает «забывание».

Только «забывание», о котором тут идет речь, не следует смешивать с сознательными фальсификациями истории, которым советская историография того же Ок-

тября дает обильные и зачастую чудовищные свидетельства. «Забывание» не только производится «честно», но и входит в механизм самого исторического действия, а не камуфлирует его (в чем состоит главная функция фальсификаций). Когда, к примеру, Че Гевара в одной и той же работе писал, что революции *делаются* революционерами (и в этом состоит их долг) и что они – «историческая необходимость и неизбежность»,⁹³ он не стремился кого-либо мистифицировать или фальсифицировать характер Кубинской революции, хотя противоречивость этих двух утверждений очевидна. Нет, он четко и *адекватно* передал самопонимание и мотивационную структуру тех, кто шел на смерть ради революции, кто сделал ее и кто без такого самопонимания и такой мотивационной структуры, вероятно, не мог бы ее сделать.

IV.

Революции остаются в последующей истории не только в виде созданных ими (и так или иначе модифицируемых) институтов, но и в отношении к ним. Через такое отношение к ним они входят в настоящее: отношение к революциям влияет не только на то, каким люди видят мир вокруг себя, но и на то, как они ведут себя в этом мире.

Отношение к революциям, как правило, противоречиво. Такие противоречия в отношении к революциям в их *политическом* значении для настоящего есть спор о «смысле» (той или иной) революции, а не о ее «фактах». Именно спор о «смыслах» может доходить до того, что ту или иную революцию отказываются считать революцией и переквалифицируют ее в событие другого рода. Либеральная или, наоборот, леворадикальная переквалификация Октябрьской революции в «большевистский переворот» – лишь один из примеров зыбкости бытия прошлых революций в настоящем.⁹⁴ Но чем это, кроме силы резонанса в общественном мнении, отличается от суждения о том, что «Американская революция» – «это хорошая пропаганда, но плохая история и

⁹² См. Ницше Ф. О пользе и вреде истории // О пользе и вреде истории. Сумерки кумиров. О философах. Об истине и лжи во внеэтическом смысле. М.: Харвест, 2003. С. 3-118.

⁹³ См. Che Guevara E. Guerilla Warfare: A Method // Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara, ed. J. Gerassi. NY: Macmillan, 1968. P. 271, 275.

⁹⁴ Переквалификацию Октябрьской революции в «государственный переворот» в сборнике «Концепт «революция»...» производит С. Земляной. См. Земляной С. Якобинская метафора и большой террор // Концепт «революция»... С. 351.

плохая социология»?⁹⁵ О нескончаемых спорах относительно того, были ли события 1989-1991 годов в Центральной и Восточной Европе и СССР «революцией» или нет, я уже упоминал (см. сноску 62).

Аналогичным образом спорят о том, являются ли события, все же признаваемые «революциями», победоносными или потерпевшими поражение. В чем, в самом деле, критерии, по которым мы отличаем победу революции от ее поражения? Считать ли победоносной якобы пролетарскую революцию Октября 1917 года, если ее итогом стало то, что критики Октября не без основания называют (бюрократической) «диктатурой над пролетариатом», подменившей «диктатуру пролетариата»? А с другой стороны – якобы потерпевшая поражение европейская революция 1848 года. В чем состоит это поражение, помимо военных неудач революционеров, если торжествующая контрреволюция сама выполнила основную часть либеральной программы революции в скором времени после своей военной победы (от принятия конституций и установления – в тех или иных формах – режима гражданских и политических прав до отмены сеньориальной юрисдикции и феодальной административной системы)?⁹⁶

Связь революции с настоящим осуществляется во времени и посредством времени. Наше отношение к ней в огромной мере зависит от того, каким образом во времени разворачиваются следствия революционного события, причем такое разворачивание само зависит от борьбы политиче-

ских сил в каждый данный момент времени. Это обстоятельство побуждает некоторых исследователей говорить о «бесконечности» события (концепция «бесконечного события»), т.е. считать «бесконечность» атрибутивным признаком события как такового.⁹⁷ В результате получается еще одна версия «перманентной революции», хотя содержательно отличная от той обсуждавшейся ранее, которую предложил Куренной. «Перманентной революцией» оказывается уже не постоянное эволюционное самообновление капитализма, а растянувшееся в бесконечность событие, подобно событию «разрушения “социализма”», начавшемуся в 1985 году и продолжающемуся, по мнению Магуна, *до сих пор*.⁹⁸

Я думаю, что «бесконечное событие» есть *contradictio in adjecto*. Дело не только в том, что при таком понимании «событие» становится не отличимым от «процесса» и «исторического развития» вообще и потому лишается *differentia specifica*. Не менее важно, что оно утрачивает связь с субъектной формой бытия своих действующих лиц, которая, в самом деле, определяет революцию, – ведь не может же Магун думать, будто «быть субъектом» есть субстанциальная, «бесконечная» и неизменная характеристика политических сил. Что в той же России после октября 1993 года ничего в этом плане не изменилось, что публичная политика не стала быстро угасать, а в начале 2000-ых годов не исчезла практически полностью. Нет, революционные события не бесконечны, но они, действительно, своими следствиями, во-круг которых продолжается политическая борьба, входят в настоящее. Свойство *так* входить в настоящее есть атрибут политического, тем более – революционного, события, и именно его я назвал их «зависимостью от будущего». На языке Бадью то же самое можно выразить так: одним из определяющих революционное событие свойств является его способность вызывать к себе «верность».

⁹⁵ См. Moore B. Op. cit. P. 112-113. В «стандартной» английской историографии кромвелевскую революцию аттестуют не иначе, как «Великое восстание» и «междоусобица» (*Interregnum*), тем самым буквально стирая революционность данного события (об этом кратко упоминает и Дани в его статье в сборнике «Концепт «революция»...»). См. С. 113-114). Или взять нынешние споры о Французской революции, проходящие под знаком вопроса «а имела ли она вообще место?». Обзор и анализ таких споров см. Магун А. Указ. соч. С. 188 и далее.

⁹⁶ Подробнее об этом см. Klima A. The Bourgeois Revolution of 1848-9 in Central Europe // *Revolution in History...* P. 97-98. В теоретическом плане такие наблюдения заставляют поставить по крайней мере два важных вопроса. Первый – насколько существенно для понимания революции и для самой квалификации неких событий в качестве революции то, что считается ее «победой» или «поражением» по военно-политическим меркам? Второй – кто вправе судить о том, «победила» или нет та или иная революция: те, кто пришли благодаря ей к власти, или «поверженные» ими, или будто бы беспристрастные наблюдатели (из числа современников и/или потомков)? Глубокое обсуждение этих вопросов, вдохновленное арендтовской философией революции, см. Tassin E. ...“sed victa Catoni”: The Defeated Cause of Revolutions // *Social Research*. 2007. Vol. 74. № 4.

⁹⁷ См. Магун А. Указ. соч. С. 159. Такая концепция есть противоположность идее Бадью о «верности событию» (уже завершившемуся), благодаря которой возникает «истина этого события» в виде существующего *в настоящем* субъекта. Такой «верный» субъект способен к мышлению и, как можно предположить, к действиям, аналогичным по типу (но не по конкретному содержанию) тем, которые характеризовали субъекта прошлой революции. См. Badiou A. On a Finally Objectless Subject. P. 27.

⁹⁸ См. Магун. Указ. соч. С. 17.

Эту способность нельзя понимать ни как имманентное свойство революций, которое в качестве безотказно действующей причины вызывает в нас в качестве своего следствия «верность», ни как то, что всецело зависит от нашего произвола – от того, как нас угораздит отнестись к революции или как мы предпочтем это сделать. Революция как событие, воплощающее «свободную причинность», обладает *императивностью* вызова и, если угодно, «соблазна». На вызов *приходится* так или иначе отвечать нам, живущим в логике другой, «естественной причинности» объективированных и «повторяющих себя» социально-экономических и политических порядков, но осознающим, что сами эти порядки есть продукты отрицания и самоотрицания революций. «Соблазну» свободы можно противостоять или поддаваться, но это тоже *требует* выбора. Императивность революции проявляется в ничем не остановимых спорах о ней, и ими же подтверждается ее сила. Поэтому конец споров о революции, достижение окончательного и бесспорного ее определения и понимания (я возвращаюсь к тому, о чем писал в самом начале эссе) засвидетельствовали бы смерть революции как события, способного проникать в настоящее и влиять на него. Нелегко представить себе, *что* в этом случае осталось бы от нашей Современности. Возможно, как раз то, что Куренной назвал «перманентной буржуазной революцией».

Попыткам и практикам окончательно похоронить революцию несть числа. Наиболее яркие среди них – официальные чествования революций (кое-кто из нас, наверное, может припомнить, как праздновались годовщины Октября в СССР). Грандиозный праздник 200-летия Французской революции прошел под знаком «революция окончена». Даже в том смысле, что о ней больше нечего спорить: либерально-умеренная «истина» революции, устанавливающая ее «суть» в Декларации прав человека и гражданина и видящая ее главного героя в Кондорсе (уже не в Дантоне и, боже упаси, не в Робеспьере), утвердилась окончательно. Но после парада, прошедшего от Champs-Élysées до Place de la Concorde, тем же маршрутом двинулась «контрреволюционная» колонна с муляжом гильотины, который она намеревалась водрузить на той самой революционной площади Франции, на которой сек головы его исторический оригинал. А потом прошли китайские юноши с велосипедами, напоминая о зверстве на другой площади – Тяньаньмень, о несостоявшейся революции, подавленной во имя другой, якобы победоносной коммунистической революции.⁹⁹ И получилось так, что спор о революции продолжился в рамках того самого представления, смысл которого был превратить ее в музейный экспонат. Окончательно похоронить революцию, пока продолжается Современность, в самом деле, очень непросто.

⁹⁹ Я использую описание празднования 200-летия Французской революции в книге Lusebrink H.-J. and R. Reichardt. Op. cit. P. vii-ix.

Глава II. Теоретические модели революций индустриального общества

Е. А. Самарская

В данной статье речь пойдет не об истории технологии с каменного века, вообще не о переменах в способах производства, а о социальных катаклизмах, вызванных переменами в индустрии, начиная с эры машинного производства. Начало этого процесса привело к формированию буржуазии, которая осуществила в Европе и Северной Америке антифеодальные революции. Это были не столько революции производителей, сколько революции новых собственников (предпринимателей, коммерсантов). Позже развернутся революционные движения непосредственных производителей (прежде всего, пролетариев). Теоретические модели этих движений были разными – марксистская модель пролетарских революций, анархо-синдикалистская модель, модели революции организаторов производства. Реализацию марксистской модели мы видим в России 1917 года, в Китае 40-х-50-х годов XX в., в ряде восточноевропейских государств 40-х годов. В настоящее время революция производителей сходит со сцены. Это связано с крупными переменами в производстве и технике, происходившими, примерно, с 60-х годов XX в., в результате которых начались общественные преобразования, заставляющие говорить о смене индустриального общества постиндустриальным. Одновременно меняются типы протестных движений, это уже не столько борьба производителей, сколько протесты потребителей, охватывающие соответственно более широкий круг людей.

Самой распространенной формой индустриальных революций, господствующей на протяжении XX в., были пролетарские революции с марксистской идеологией. В ней отводилась громадная роль промышленному производству, которое осмысливалось как первооснова предстоящих глубоких экономических, социальных и политических перемен и формирования революционного класса пролетариев. Революция, которую Маркс называл коммунистической, должна была утвердить в обществе приоритет промышленного труда в лице рабочих, добиться изобилия материальных благ и всестороннего прогресса.

Последователи Маркса, в частности,

русские большевики во главе с Лениным, внесли изменения в его концепцию революции. В 1917 г. они признали возможным начать революцию в одной стране – России. В этом пока не было прегрешения против марксизма: Маркс в 50-ые годы XIX в. признавал возможность того, что революция начнется на периферии капиталистического мира и лишь позже перейдет в его центры. Они прилагали огромные усилия, чтобы перенять на Западе достижения в области промышленности, но факт остается фактом: они отказались от взгляда на производство как первооснову социальных перемен и стали смотреть на него как на инструмент решения политических проблем. Маркс мог сказать: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – с промышленным капиталистом».¹⁰⁰ Но он не сказал, какая мельница дает начало социализму. И большевики этого не знали и были обречены копировать западные технические достижения, пока оказывались к этому способны. В этом сказалась не столько их верность мысли Маркса о том, что социализм предполагает высокоразвитый технологический базис, сколько желание обезопасить большевистский режим в России перед лицом враждебного капиталистического окружения. Итак, отчасти у Маркса, но более у его российских последователей, когда они обратились к революционной практике, возобладало инструменталистское отношение к производству, к науке и технике, их назначение сводилось к тому, чтобы они своим развитием послужили упрочению социально-экономических и политических преобразований, проводимых социалистами. Можно добавить, что почти такой же была позиция названных последователей Маркса в отношении пролетариата. В нем они видели класс, созданный условиями машинного производства и предназначенный своим положением эксплуатироваться к социальному протесту вплоть до свержения капитализма. Инструментализм со стороны марксистов состоял в данном случае в том, что на деле они не слишком верили в революционные стремления

¹⁰⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 426.

пролетариев и хотели поэтому подчинить их влиянию коммунистической партии. Маркс в «Коммунистическом манифесте» писал, что революционные цели пролетариат получит от партий, а в своих более ранних работах он провозгласил союз пролетариата и философии: последняя указывает цель, тогда как пролетариат должен ее осуществить. Но то, что у Маркса было теорией, большевиками было превращено в жесткую политическую практику. В результате все революционные идеи Маркса о производстве как первооснове социальных преобразований, о пролетариате как ведущей силе коммунистической революции оказались при этом извращены. Но как бы то ни было, российская революция октября 1917г. на протяжении почти всего XX века была образцом индустриальной социалистической революции для многих народов мира.

Наряду с марксистами и даже ранее их на значимость производства для протестной деятельности обратили внимание идеологи, которых позже стали называть технократами. У них производство выступало не как первооснова, определяющая всю громадную надстройку общества, а как сама суть общественной жизни. Черты технократического подхода к обществу можно видеть у А. де Сен-Симона. Его долго считали социалистом, но он им не был, он был пропагандистом промышленного общества, который обращал большое внимание на тяжелое положение пролетариев, вообще «бедных классов» и был убежден в том, что развитие производства приведет к уничтожению их нищеты. Он начинал как историк науки и хотел разработать научный подход к обществу. В этом духе он рисовал идеал промышленного общества, в котором царит единый принцип организации, названный им сначала «законом всемирного тяготения», а позже законом христианского «братства». В противовес буржуазному обществу с его индивидуализмом и анархизмом промышленное общество будет иметь централизованное управление и заниматься всецело мирными производственными делами, оно иерархично, в нем правят ученые и промышленники. Что касается низших классов, то их дело повиноваться, они «исполнители», подчиняющиеся «руководителям» общественных работ.

Сен-Симон был первым в ряду тех, кто представил будущую власть в форме адми-

нистративного управления: в обществе, где все привилегии, даваемые рождением, будут уничтожены, где целью всеобщей деятельности становится благо всех, окажется ненужным репрессивный аппарат, на смену управления людьми придет управление вещами (производством), место политических инстанций займет администрация хозяйственного толка, которая рассматривает проекты, принимает бюджет, распределяет его и т.д. Политические формы управления (демократические институты) окажутся не нужны. Останутся высшие хозяйственные органы, что же касается регулирования человеческих отношений, то Сен-Симон думал передать его духовной власти (церкви «нового христианства»), которая должна заниматься воспитанием членов общества в духе морали братства, солидарности всех членов общества.

Ранние технократы (Сен-Симон, О.Конт) выдвигали проекты революционного преобразования общества, но эти проекты не имели социально-политического характера, как в марксизме. У них революционность заключалась в перестройке управления производством и обществом, а не в классовой борьбе на марксистский лад. Родоначальник позитивизма О.Конт, как и Сен-Симон, выступал против диктата политики в обществе и за преобладающую роль в нем промышленности и науки. Это вело его к утверждению значимости исполнительной власти, административной, которая осуществляет непосредственное управление страной. Конт изображал ее как централизованную структуру, позитивисты, писал он, стремятся «к прямому господству централизованной власти и сведению местной власти к ее необходимым функциям».¹⁰¹ Он называл такое государство республикой, но не демократической, в нем исполнительная власть важнее демократических органов, так как правительство промышленников и ученых всегда получит поддержку народа против собрания депутатов.

Конт не исключал революционного пути к установлению промышленного общества, хотя чаще он имел в виду моральную революцию в духе солидарности всех трудящихся и любви к всемирной семье человечества. Вообще он был против того, чтобы власть принадлежала народу, его

¹⁰¹ Конт О. Дух позитивной философии. СПб. 1910. С. 135.

идеал – распространение на все общества иерархии, царящей в промышленности, структуры «руководители-исполнители». Но для революционного периода, когда происходит переход от феодального общества к промышленному, он допускал установление диктатуры пролетариата. Ее функция – воспитание в обществе духа солидарности, которым пролетарии обладают в силу коллективизма их труда и могут распространить это чувство на всех работников, участвующих в производственном процессе, включая промышленников.

Такая своеобразная позитивистская схема революции в XIX в. вынуждает поставить вопрос о том, имеет ли она характер левого или правого проекта. Конт явно не принадлежал к теоретикам левого движения: он сторонник социальной и производственной иерархии, он резко возражал против того, чтобы низшие слои общества участвовали в управлении страной, был противником лозунга равенства, хотя настаивал на принципе общественной солидарности. Он не был и правым, его нельзя записать в сторонники традиционализма и национализма, его принцип солидарности относится как к отдельным обществам, страдающим от классового расслоения, так и к отношениям между народами всей земли. А если взять в качестве примера правых либералов, то с ними Конт вел непримиримую борьбу, упрекая их в насаждении принципов индивидуализма, эгоизма и экономической анархии. Французский исследователь творчества Конта Ж.Гурвич в своей книге «Основатели современной социологии»¹⁰² писал о контрреволюционности Конта, приводя в подтверждение этой мысли высказывания Конта в поддержку разных диктаторских режимов – диктатуры папы, диктатуры Конвента, диктатуры Наполеона III, наконец, диктатуры пролетариата в период революции 1848 г. В результате он делает вывод, что Конт всегда был на стороне власти и против революционной анархии, что у него идея контрреволюции превалировала над революционной идеей. Но тут следовало бы обратить внимание на то, что Конт выражал поддержку и левым, и правым диктатурам, в них его привлекало то, что было у них общим, а это, как уже было сказано выше, административная

власть. Конт поэтому не вписывается в привычную расстановку сил в европейской политике: либералы, правые, левые, он выразитель чего-то иного, а именно, власти, диктуемой напрямую производством и развитием наук, власти промышленников, производителей, которые не приемлют интересов непроизводительных слоев (парламентариев, военных, вообще лиц, не занятых производительным трудом). Такая позитивистская программа преобразований власти содержала в себе предвидение усиления роли производственных факторов в системе власти, которое неизменно присутствовало в эволюции государственности Европы и Америки на протяжении XIX – XX веков.

Технократические концепции претерпели значительные изменения на рубеже XIX – XX веков. Тогда происходили большие перемены в экономике: конкурентный капитализм сменялся монополистическим, организовывались картели, тресты, произошло образование тесно связанного с производством финансового капитала, государство проникало в производственно-экономическую деятельность. Идеологи технократии того времени (Т. Веблен, Т. Бернхейм) сохранили тот негативизм в отношении к политике, тот акцент на роли административной власти, который был у Сен-Симона или Конта. Но у них появилось новое, идея о том, что власть в производственном процессе и в обществе должна принадлежать не собственникам средств производства (предпринимателям), а непосредственно руководителям производственного процесса, инженерам. Т. Веблен объяснял это тем, что назрел конфликт между миром производства и миром бизнеса: занятые в производстве стремятся к максимальной производительности, тогда как представители бизнеса (предприниматели, финансисты) стремятся только к прибыли, это слои «праздные». Он выделял две стадии в развитии индустриальной системы, на первой предприниматели («капитаны индустрии») выполняли еще полезные производственные функции, на второй они в результате громадного увеличения масштабов и технической сложности производства уступают первое место в организации производства инженерам, оставляя за собой привилегии собственников. Так развивался конфликт между производством и бизнесом, который стал причиной борьбы между

¹⁰² Gurvitch G. Les fondateurs de la sociologie contemporaine. P. 1957.

инженерами и предпринимателями. Можно вспомнить в этой связи и Дж. Гэлбрейта, сказавшего однажды, что врагом частной собственности и рынка является не социалист, а инженер с его заботами о производительности и стремлением к плановому производству. В начале XX века, когда инженеры стали уже серьезной силой, появилась идея о возможности их революционного действия, Веблен заговорил о «забастовке инженеров», об установлении на производстве «совета технических специалистов». Веблен был уверен, что они будут править на производстве и в обществе соответственно принципам производственной эффективности, экономного использования природных ресурсов и справедливого распределения произведенной продукции.¹⁰³

Вебленовская критика предпринимательства, его негативизм в отношении политических институтов, вера в ведущую роль производителей в обществе обнаруживает поразительные черты сходства с позицией революционера, анархо-синдикалиста Ж. Сореля. С той, однако, разницей, что последний делал ставку не на инженеров, а на рабочих и поэтому говорил не о «забастовке инженеров», а о «всеобщей забастовке», организацию которой, как он думал, возьмут на себя революционные синдикаты. Он выступал с резкой критикой демократии, вообще политических институтов, а главное, политического социализма, представители которого де просто хотят пробраться к власти, воспользовавшись пролетарским движением. Как и Веблен, Сорель нападал на финансистов, которые просто паразитируют на производстве, для него труд – вопрос морали, приоритета ценностей свободы и независимости производителей. Конечно, Сорель – мыслитель совсем другого плана, чем идеологи технократии, он социалист, хотя и весьма своеобразный, антирационалист, но его идеи о роли производства в обществе, о соответствующем изменении характера власти, которая должна быть передана непосредственным производителям, обнаруживают родство с технократическими идеями. Это можно объяснить влиянием эпохи. С одной стороны, в конце XIX и начале XX веков происходили громадные изменения в экономике, о которых упоми-

налось выше и которые привели к распространению технократических идей как в левых, так и в правых (тут следует упомянуть идеологов консервативной революции в Германии) политических течениях. С другой стороны, в это же время происходило обострение классовой борьбы в европейских странах в связи с формированием рабочих профсоюзов и социалистических партий, а агрессивная империалистическая политика европейских государств создавала общую атмосферу готовности к насильственным действиям. Это, видимо, и придавало революционный оттенок собственно технократическим действиям и идеологиям. Кроме уже упоминавшегося в этой связи Веблена с его «забастовкой инженеров», к таким идеологам принадлежал и Дж. Бернхейм, выдвинувший идею «революции управляющих».

Идея о примате организации и организаторов в обществе была высказана на социалистический лад крупным русским мыслителем и революционером А.А. Богдановым. Носителем принципа организации производства и общества в целом у него становится не менеджер, а класс пролетариев. Он был марксистом, но весьма своеобразным. Он взял у Маркса идею об определяющей роли производства в развитии обществ, но истолковал ее существенно иначе: Маркс рассматривал производство как силу, влияющую на общество опосредованно, через отношения собственности и классовую борьбу. Богданов соглашается с этим, но подчеркивает и другую сторону дела: производство влияет на общество и своей организационной структурой. Эта мысль привела Богданова к созданию своеобразного, организаторского варианта социализма. Он набрасывает схему исторических изменений форм производственной организации от первобытных общин до эпохи машинного производства. В первобытных обществах царил коллективизм труда и распределения, затем происходит разделение социальных ролей и в обществе появляется деление на лидеров (патриархи, вожди, жрецы), которые выполняют функции организаторов, и пассивных исполнителей. Если раньше труд выступал в качестве основы и первопричины накапливаемых знаний и типов человеческих отношений, то теперь идеология отрывается от труда и фетишизируется, это своего рода перевернутое сознание,

¹⁰³ См. Макеев С.В. Технократические идеи и концептуальные построения в их историко-философском развитии. М. 2006.

которому соответствует перевернутый тип социальных отношений. Фетишизация идеологий и всех человеческих отношений длится в истории вплоть до капитализма, радикальная перемена возникает с наступлением машинного производства, когда рабочий начинает выполнять и исполнительские, и частично организаторские функции. Тогда начинает рушиться вся система фетишей, созданных человечеством в формах «авторитарного фетишизма» или «товарного фетишизма», проясняется главенство социально-трудовых отношений и, соответственно, начинает меняться вся система социальных ролей, знаний, идеологий, отношений. Всю эту огромную перестройку по выработке нового сознания и вообще нового мира и должен выполнить социализм. В новом мире должен исчезнуть дуализм «власти» и «подчинения», они выступают как взаимно сочетающиеся элементы трудового процесса, практика приобретает «монистический» характер.

Такое видение истории организационных структур в человеческих обществах вписано у Богданова в рамки философии, исходным понятием которой является «социально организованный опыт», под которым он имел в виду опыт всего человечества. Соответственно, главная задача социализма или «коллективизма», как он предпочитал говорить, заключается в выработке единства этого опыта и в создании необходимой для него «всеобщей организационной науки». Проблемам последней посвящен его главный труд «Тектология», в котором, как теперь признается, предвосхищены положения кибернетической науки. Понятия труда, науки, пролетарского социализма завязаны у Богданова в тугой узел: движение к социализму – это движение к единству организационного опыта и к единому знанию. Коллективизм, писал он, «сознательно организованное объединение всех сил человечества для борьбы с природой, для бесконечного развития власти труда над ней».¹⁰⁴

В те годы (начало XX в.) многие социалисты и даже либералы (Л. фон Мизес) отождествляли социализм и организованное общество, социализм и план. Но Богданов придал этой идее подлинно философское звучание, он понимал организа-

цию не как механистическое управление сверху некой доминирующей инстанции, направленное вниз, на широкие массы. Его коллективизм это сотрудничество равных, где нет властвующего центра. Вернее, центр есть, но он не правит, он собирает информацию и передает ее коллективу, который и принимает решение. Он писал об устройстве социалистического производства: «Сознательная и планомерная организация производства не может быть иной, как централистической; но при однородном товарищеском сотрудничестве центральное объединение не основывается на власти».¹⁰⁵ Если смотреть на историю советского социализма, то идеи Богданова оказываются настолько далеки от реальности, что их можно считать немыслимой утопией. Если же смотреть на современные перемены в характере труда и человеческих отношений, то мысль Богданова о единстве организаторских и исполнительских функций труда кажется постепенно реализующейся.

С одной стороны, Веблен и Бернхейм, с другой, левой, стороны Сорель и Богданов, каждый на свой лад, высказывали в начале XX века идеи господства производителей, зачастую в революционной форме, их отличала глубокая вера в то, что наука, техника, индустриальное производство являются носителями социального прогресса и что главная задача субъектов истории – содействовать этому прогрессу. Но ни одна из названных теорий не упрочила себя в революционной практике, только русская революция октября 1917 г. стала истоком революционной практики индустриального социализма. Ее история, моменты ее процветания и упадка отражались на мировом коммунистическом движении, определяли фазы его истории.

Русская революция 1917 г. оказалась в ситуации, когда она была вынуждена, чтобы сохранить себя, начать ускоренную индустриализацию. С конца 30-х годов XX в. России строились фабрики, готовились кадры для работы на них (за счет переселения крестьянского населения в города, развития высшего технического образования и т.п.). В этот период в России технология работала на революцию и наоборот, в ней установился союз технологии и революции.

¹⁰⁴ Богданов А.А. Познание с исторической точки зрения. Москва-Воронеж. 1999. С. 462.

¹⁰⁵ Богданов А., Степанов И. Курс политической экономии. Т. 11. Выпуск IV. М.-Петроград. 1918. С. 194.

Эти процессы были прерваны второй мировой войной и продолжились в послевоенный период. Такая устремленность социалистической страны к росту индустрии устрашала руководителей западных стран, идеологи на Западе старались развенчать советский рост. Французский социолог, либерал Р.Арон уличал Советы в том, что русская революция делалась ради достижения справедливости, а теперь она сделала ставку на индустриализацию. В пятидесятые годы Запад занимал оборонительные позиции в отношении русской революции и многочисленных просоветски настроенных левых у себя дома. Так, Арон, защищая конституционно-плюралистические режимы Запада, доказывал, что они не мешают функционированию социального законодательства и управлению национализированными предприятиями. Такая позиция благоприятствует, по словам Арона, «развитию экономики к режиму полусоциалистическому, наполовину плановому, которое может помешать тому, чтобы рыночные механизмы слишком задевали ту или иную группу населения».¹⁰⁶

Ту же мысль о совместимости капитализма с некоторыми мерами социального характера Арон развивал в «Эссе о свободах». Он писал здесь о том, что политические свободы на Западе сохранились благодаря тому, что западные демократы и либералы смогли воспринять и реализовать социалистическую идею о необходимости создания реальных условий для того, чтобы граждане смогли воспользоваться предоставляемыми им конституцией «формальными» свободами. Он писал даже так: «...в некотором смысле мы все марксисты, все современные общества пытаются установить такой строй, который отвечал бы их идеалу и отказывался покориться судьбе».¹⁰⁷ Арон постоянно подчеркивал, что его представления об адекватной для современных обществ политической системе имеют два теоретических источника: идеи Токвиля о политической свободе и идею Маркса о реальной свободе. Он исходил из того, что идеи Маркса и Токвиля взаимно дополняют друг друга: «Я не подвергаю сомнению совместимость старого идеала либеральной демократии с обновленным идеалом прометеевского господства над

природой и над самим обществом».¹⁰⁸

Итак, примерно до пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века технология работала на русскую и мировую революцию как в идеологическом, так и в реально-историческом планах, тогда казалось, что организационные формы социализма (планирование) более соответствуют крупному машинному производству, чем капиталистические. Но уже в указанные годы западные идеологи предприняли контратаку, тогда У. Ростоу, Р. Арон, Ж. Фурастье и др. пришли к мысли представить социализм советского типа просто вариантом индустриального общества, к которому принадлежит и западный капитализм. Это означало колоссальную демистификацию социализма, миф об экономическом превосходстве социализма был разрушен, он был поставлен на один исторический уровень с капитализмом, их достоинства и недостатки стало можно социологически сопоставлять и сравнивать. Правда, Арон говорил о двух «идеально-типических моделях» индустриального общества, а не о какой-либо стране, конкретном политическом режиме. Но фактически он сопоставлял постоянно в экономическом, социальном, политическом планах Советский Союз и капиталистический Запад.

Арон начал с исследования общих черт этих обществ и прежде всего указал на то, что производство и наука предстают при этом как «инструменты», якобы нейтральные в отношении культурно-исторических особенностей той или иной страны. Производство, техника, наука — это сферы, где единственно наблюдается накопление результатов и, следовательно, существует прогресс. Экономика же и политика лишены накопления, та или иная их форма определяется поиском ответов на некие фундаментальные проблемы. Причем, любая форма ответов имеет всегда и положительные и отрицательные стороны. То есть прогрессивные изменения возможны только в технологической сфере, тогда как политика, социум и пр. не имеют прогрессивного направления развития. Такой ход мыслей вел к дискредитации марксистского прогрессистского подхода к истории, при котором прогресс наделялся тотальным характером и охватывал как производство, науку, так и социально-политические, культурные

¹⁰⁶ Aron R. Sociologie des sociétés industrielles. P. 1964. P. 120.

¹⁰⁷ Арон Р. Эссе о свободах. М. 2005. С. 7.

¹⁰⁸ Там же. С. 49.

сферы. Арон при этом поставил под вопрос единство технологии и революции.

Складывается впечатление, что поначалу обе модели роста, западная и советская, казались ему равноценно реализующими рост, он был против абстрактной критики той или иной модели: нельзя, например, критиковать капитализм абстрактно за то, что в нем производство ориентировано на прибыль, или за анархию, несправедливое распределение доходов. Все указанные особенности капитализма имеют как плохую, так и хорошую стороны. То же относится к модели советского типа: нельзя ее критиковать абстрактно за тиранию плановых органов, невозможность экономического расчета из-за отсутствия правильных цен. Выносить оценочные суждения можно не об идеальных типах, а о конкретных экономических режимах. Нельзя, думал он, основываясь на свойствах той или иной идеальной модели предсказать крушение такого-то режима, причины краха лежат в самом конкретном режиме (определенный национальный тип экономики и политики), а не в идеальной модели. Он писал, например, что «экономическая идеальная схема саморазрушающегося капитализма немыслима, и я бы сказал даже, что идеальная схема саморазрушающейся плановой экономики тоже немыслима».¹⁰⁹ Технология оказывается оторвана от революции, она движется как бы транзитом через все социально-политические режимы, обесценивая их значимость перед лицом научно-технического прогресса.

Однако рассуждения в духе параллелизма двух «идеальных типов» роста у Арона не единственные. В его работах часто можно натолкнуться на другие высказывания, в коих речь идет уже не о равенстве, а скорее о неравноценности упомянутых моделей. Советская модель роста характеризуется при этом как форма осуществления в России первоначального накопления, строительства начальных фаз индустриализации: «Советская модель имела заслугу или провинность назвать строительством социализма то, что в XIX веке называли накоплением капитала. С психологической точки зрения предпочтительнее назвать экономический рост строительством социализма, так как это дает

моральный, духовный смысл жертвам, которые требуются от масс. Поэтому советская модель роста осуждена на гибель в момент, когда советские потребители станут более требовательны и советские плановые органы столкнутся с необходимостью приспособить производство к нуждам потребителей».¹¹⁰

Такой ход мыслей ведет к выводу, что динамический рост производства – реалья западной культуры. И Арон часто говорит как западник, несмотря на оговорки относительно специфического характера роста в каждой стране. В «Разочаровании в прогрессе», работе 1969 г., Арон констатирует уже, что соревнование между советской и западной моделями роста повернулось к победе либералов, что рассеялись иллюзии, будто в индустриальном развитии можно обходиться без рынка, правильных цен, ссудных процентов и автономии предприятий. Превосходство Запада заключается и в сохранении частной собственности, она является залогом ограничения всевластия государства, каковое служит часто помехой росту. Таким образом, от рассмотрения собственно индустриальных моделей роста Арон переходит к мышлению по схеме «капитализм – социализм», Запад – Восток, однозначно утверждая приоритет капитализма в отношении социализма и приоритет Запада по отношению к Востоку в плане реализации индустриального роста. В этот период Арон уже считает, что рост в западной стране зависит от того, насколько она сумела перенять на Западе условия роста. Именно так он объясняет экономические успехи Японии: она де переняла на Западе «индивидуалистическую» и «рационалистическую» юридическую систему, структуру коммуникаций и транспорта, административную систему, приверженность к научному и техническому прогрессу и т.д. Итак, под влиянием исторических фактов Арон, по сути, вынужден был отказаться от своей идеи о двух равноправных идеальных моделях экономического роста, технология теперь оказывается не столько нейтральной силой, сколько силой, детерминированной социально-политическим и культурными условиями Запада.

В пятидесятые годы Арон развивал идею единого индустриального общества и стоял на позициях нейтральности техники,

¹⁰⁹ Aron R. Dix-huit lecons sur la societe industrielle. P. 1962. P. 293.

¹¹⁰ Ibid. P. 245.

науки, производства в отношении экономики, политики, культуры. Когда стало ясно, что СССР проигрывает в экономическом плане Западу, он стал склоняться к точке зрения единства научно-производственной и политико-экономической и культурной реальности Запада. Вследствие этого ясно, что роль производства на Западе и в западных регионах оказывается разной: в западных странах она препятствует в настоящее время революции, в западных регионах она стимулирует революционные преобразования, которые население предпринимает в надежде достичь технического уровня Запада.

Постепенное формирование постиндустриального («технистского», «информационного», «программируемого») общества в западных странах означало существенные перемены во всех сферах общественной жизни, новая технология способствовала переустройству социального мира. Главное, на что хочется обратить внимание, это перемена в отношениях человека и техники. Арон объявил инструментом технику, новый мир продемонстрировал другое: техника принимает форму социальной машины, винтиком которой выступает человек. Эту сторону дела быстро подметили левые, которые заговорили об инструментальном отношении к человеку, желая утвердить в противовес ему идеалы гуманизма.

Если говорить о социальных переменах, то прежде всего следует отметить возрастание роли науки в обществе, что сказалось, например, в изменении характера управления производством, раньше решающую роль в нем играл капиталист, теперь же корпорации управляются высококвалифицированными специалистами, которые занимают в ней должности руководителей, работников разного ранга, даже рабочих. Дж.Гэлбрейт назвал правящий аппарат корпораций «техноструктурой» и подчеркнул, что она заинтересована прежде всего в росте производства и эту цель она навязывает государству и всему обществу.

Во-вторых, устанавливается тесная связь между государством и корпорациями, например, в связи с необходимостью планирования производства. Наукоемкий процесс производства требует большого времени для научных разработок и все больше капиталовложений, он нуждается в квалифицированных специалистах, в устойчивых ценах на материалы и в обеспечении спроса

на свою продукцию. Всего этого можно достичь с помощью планирования и при поддержке государства: «Потребности развития техники, а не идеология или политические интриги заставляют фирмы искать поддержки у государства».¹¹¹

В третьих, аналитики постиндустриального общества также отмечают, что возрастание роли науки в создании новой техники и новых производственных технологий ведет к крупным изменениям в социальной структуре общества: сокращается численность рабочих, их теснят техники, профессионалы. В этом же направлении действует рост сферы услуг (здравоохранение, просвещение, социальные службы), где также работают люди со средним и высшим образованием. Фигура рабочего вытесняется с передней сцены в развитых странах, в обществе складывается новая социальная структура, в которой статус человека определяется его образованием.¹¹² Маркс, пишет Д.Белл, ошибался насчет поляризации классов, на деле в развитых индустриальных и постиндустриальных экономиках «работники интеллектуального труда, организаторы производства, техническая интеллигенция и административные кадры составляют около 60% всех занятых в производственной сфере».¹¹³ Классовая борьба утрачивает свою остроту, революционные интенции в таких странах сводятся к минимуму. Французский социолог Ж.Фурастье еще раньше Белла в книге «Большая надежда XX века» высказал прогноз о неизбежности перемещения активного населения из первичного и вторичного секторов хозяйства в третичный сектор, предсказал повышение интеллектуального уровня промышленного труда, распространение высшего образования и т.д.

Важную особенность постиндустриальных обществ отметил А.Турен, когда говорил о срастании в таких обществах экономики, политики, культуры. Он писал, например, что автономия государства по отношению к центрам экономического решения повсюду ослаблена, а то и вовсе исчезла. Самые крупные инвестиции определяются не стремлением к прибыли, а ввиду

¹¹¹ Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М. 1969. С. 222.

¹¹² Белл Д. Грядущее индустриальное общество. М.: Академия, 1999.

¹¹³ Там же. Предисловие. С. ХСII.

целей экономического «роста» и государственной «силы». Даже экономическая эксплуатация не может теперь рассматриваться изолированно, скорее теперь нужно говорить не об эксплуатации, а о «социальном господстве» или отчуждении. Он выделяет три формы социального господства: 1) «социальная интеграция», 2) «культурная манипуляция», 3) усиление контроля над обществом крупных экономических и политических организаций.

Если Маркс говорил применительно к капитализму об отчуждении труда, то Турен ставит на его место ситуацию «зависимого участия».¹¹⁴ Отчужден тот, кто участвует в общественной жизни так, как это определено господствующими классами. В современном обществе противостоят друг другу не столько капитал и труд, «сколько аппараты экономического и политического решения тем, кто осужден на зависимое участие».¹¹⁵ Можно также говорить о противостоянии «центра» – «периферии» или «маргиналам». При этом протест не локализован лишь в области труда, он охватывает все сферы человеческой жизни.

Новый мир, рожденный информационной технологией, имел в глазах левых двойного рода следствия: с одной стороны, происходило исчерпание старых революционных конфликтов и снижение протестного потенциала, с другой стороны, наблюдались некие новые формы протеста, которыми левые пытаются овладеть. Тот же Турен, социолог, историк социального движения писал в семидесятые – восьмидесятые годы XX века о том, что основной в прошлом социальный конфликт между трудом и капиталом утратил свое значение и, соответственно, потерял актуальность индустриальный социализм. «Социализм мертв»¹¹⁶ – говорил Турен в 1980 году, он уходит в прошлое вместе с породившей его индустриальной эпохой. Отождествляя социализм с идеей освобождения фабричного труда, Турен доказывал, что мир волнуют иные вопросы: ядерная угроза, генетические манипуляции, экология, безработица и бедность. Социализм же ограничен набором потерявших актуальность тем, вроде исторического предназначения пролетариата, модернизаторской роли государства, про-

гресса производства, который якобы принесет и социальное освобождение. Подобные темы невозможно уже развивать, когда численность рабочего класса сокращается, когда бедными являются уже не рабочие, а пожилые люди, мигранты, безработные, женщины-домохозяйки, когда исчезла вера в однолинейный и неотвратимый производственный и социальный прогресс. Мышление современного человека чуждо прогрессизму, оно усвоило различие «структуры» и «генезиса», «социологии» и «истории». Поэтому вера в прогресс и модернизаторскую роль государства уступает место надежде, что постепенная трансформация общества возможна путем развития и решения разнообразных социальных конфликтов. Общество не представляется Турену единой развивающейся системой, двигающейся в направлении реализации некой трансцендентной цели. Он пишет, например: «Мы не можем более мыслить общество как систему. Это значило бы принять безоговорочно господство аппаратов и государств. Нужно смотреть на социальную жизнь как на сеть конфликтных действий и прежде всего социальных движений».¹¹⁷ Поэтому вместо прежнего культа будущего развивается интерес к настоящему, а в качестве преобразователя общества мыслится не революционная власть, а различные социальные движения, стремящиеся влиять на государство.

Наряду со студенческим движением, Турен в своих работах анализирует и другие: регионализм, антиядерное движение, феминизм, движение против концентрации власти в области культуры. Очень характерна для теоретиков постиндустриальных левых тема региональной и этнической борьбы внутри устоявшихся национальных государств, целью которой является достижение большей независимости от центра и сохранение культурной идентичности. Турен подчеркивает ту особенность новых левых, которая была ярко выражена А. Лефевром, а именно, их тяготение к защите прав «различий», разного рода «автономий» в противовес традиционным левым, сосредоточенным на универсальных ценностях (разум, равенство, свобода). Таким образом, постиндустриальные левые стремятся изменить взгляд на общество: на место централизованной системы они

¹¹⁴ Touraine A. La société post-industrielle. P. 1969. P. 15.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Touraine A. L'après socialisme. P. 1980. P. 15.

¹¹⁷ Touraine A. Les autres. Mouvements sociaux d'aujourd'hui. P. 1982. P. 251.

ставят сеть разрозненных социальных конфликтов. Так они думают спасти в обществе революционный потенциал. Но вопрос, против какого врага выступают новые левые? Ответ однозначен: они борются против социальной организации, против сплоченного мира производства, потребления, государства, СМИ, говоря иначе, против технической и политической рациональности, против ситуации, когда, как пишет Маркузе, «технологическая рациональность становится политической рациональностью».¹¹⁸

Постиндустриальный мир, еще более заорганизованный, чем был индустриальный, вызывает растерянность у социалистов, особенно с марксистским прошлым. Они ориентировались в своих надеждах и прогнозах на сферу производства, на центральный для капитализма конфликт между трудом и капиталом, разрешение которого должно было привести к социализму. В новом обществе конфликт капитала и труда – один из многих, кроме того, все эти конфликты разворачиваются на фоне сплоченного мира, где тесно взаимосвязаны производство, потребление, государство, средства массовой коммуникации. Сохранить левую направленность своих концепций и действий социалисты могут, выйдя за пределы организованного мира. Так поступил французский социалист А. Горц. Он выдвинул цель отвоевать у существующего общества, основанного на «продуктивистской и торговой рациональности» некие «пространства автономии».¹¹⁹ Место веры в социалистические интенции производственного прогресса у него занимает надежда, что индивиды смогут выйти за пределы продуктивистской рациональности, обретя свободу то ли для автономного труда, то ли для культурной деятельности за пределами производственной сферы. Если в производстве царит «логика прибыли», то в сфере свободы должна установиться «логика жизни», повторяет Горц вслед за Ю. Хабермасом.

К числу самых яростных критиков союза технологической и политической рациональности относился Ж.Элюль, который в течение многих лет писал о всесиилии техники в современных обществах, посвятив этой теме работу «Техника или ставка века»

(1954) и продолжив ее в работе 1988г. «Технологический блеф». Он считал технику центром, основой современного общественного устройства, различая при этом технику в собственном смысле слова и технику в широком плане, которая сводится к системе рационализаций, охватывающей все стороны общественной жизни. Последняя адаптирует общество к машине, она «проясняет, упорядочивает и рационализировать», распространяя повсюду закон «эффективности». Обращаясь к прошлому, Элюль пишет, что индустриальная революция XIX в. была и революцией машин и созданием рациональных систем – администрации, полиции, права и т.д. «Большая работа рационализации, унификации, прояснения производится повсюду, как в части бюджетных правил и фискальной организации, так и в области меры и веса. Или в проведении дорог. Все это дело техники. С этой точки зрения можно сказать, что техника служит стремлению людей господствовать над вещами силою разума, сделать измеримым подсознательное, количественным качественное, подчеркнуть большой черной чертой контуры света, отбрасываемого на сумятицу природы, наложить руку на хаос и подчинить его порядку».¹²⁰ В отличие, например, от индустриальных социалистов, которые боролись против «социальных абстракций» в виде рынка и представительной демократии, Элюль выступает противником любых форм социальной рационализации и в защиту свободы индивидов, их спонтанных устремлений. Как в экономике, так и в политике, управление, считает Элюль, и в этом он не одинок, переходит к людям науки, «техникам». Современное государство функционирует как машина, не столько воля правителей, политических деятелей лежит в основе политических актов, сколько решения экспертов относительно современного состояния государства и его перспектив. В пятидесятые годы Элюлю казалось, что социалистические (и вообще тоталитарные государства) более техничны, чем демократические. Он имел иллюзию, будто сталинское государство действовало исключительно на базе рационального расчета. В восьмидесятые годы он поймет, что чрезмерная рационализация приводит к абсурду и иррациональности, что и произошло в советской экономике в силу

¹¹⁸ Маркузе Г. Одномерный человек. М. 1994. С. XX.

¹¹⁹ Gorz A. Adieux au proletariat. P. 1980. P. 101.

¹²⁰ Ellul J. La technique ou L'enjeu du siècle. P. 1954. P. 40.

чрезмерно централизованного планирования. Поистине план в данном случае привел к анархии и неуправляемости экономики. Но ранее он думал, что общее развитие государственности идет по пути, предложенному Сталиным. Государство в такой ситуации «не является выражением воли народа, ни творением бога, ни средством классовой борьбы. Это предприятие со службами, которые должны хорошо функционировать. Предприятие, стремящееся к рентабельности и максимальной эффективности и имеющее в основе движение нации».¹²¹ Политическая техника извращает традиционную демократию, она создает новую аристократию. Население делится на «толпу» (элементы социальной машины) и «избранных», которые понимают ход техники и могут влиять на него. В перспективе, думал Элюль, политические действия будут утрачивать реальную силу, становясь просто спектаклем и формальностью, их заменит «игра техник».

И все же при всей мрачности таких прогнозов, Элюль апеллирует к «социализму свободы», к тем островкам человеческой культуры, которые еще не подчинены рационализации. Стать свободным человек сможет, лишь осознав свою несвободу, освобождаясь от порабощающей власти техники. В этом пункте Элюль смыкается с К.Касториадисом, которого он считает одним из главных теоретиков «социализма свободы» и критиком индустриальной и постиндустриальной рационализации, существующих науки и техники.

Эволюция технологии на Западе в конце XX века поставила перед западными левыми вопрос, куда может быть направлен революционный протест? Традиционные индустриальные левые XIX–XX веков выступали против капитализма, за социализм и были на стороне технического прогресса. Новые левые постиндустриального типа исходят из того, что главное зло мира, в котором они живут, составляет не капитал, он потеснен в своих притязаниях на господство, главное социальное зло они видят в господстве рационализаций, ядро которых составляют современные науки, техника, производство, государство. Поэтому их идеал – свобода за пределами рационализации, завоевание индивидами автономии от рациональных институтов (Горц), «остров-

ков свободы» (Элюль). К таким левым относится и Касториадис, он тоже на стороне спонтанности, автономии, свободы, их истоком выступает у него «воображаемое», которое и порождает из себя все новые миры рациональности, и может разрушить их в новом спонтанном акте исторического творчества людей. Касториадис указывает точный адрес критикуемого им рационализма – это Запад. При этом он справедливо полагает, что любая незападная модель индустриализма питается западными корнями, что родиной идеи развития, прогресса, роста является Запад. Кризис западного типа рационализма, западного общества и науки в центре размышлений Касториадиса.

Особо пристально в связи с критикой западного рационализма Касториадис рассматривает феномен техники. Сопrotивление с его стороны вызывает то обстоятельство, что ее часто берут отдельно от связанных с нею социальных факторов, при таком подходе она оказывается «нейтральной» и исключительно позитивной силой. Но «отделимость» того или иного феномена, считает Касториадис, только рабочая гипотеза, имеющая ограниченную ценность. Он ссылается на естествоиспытателей, которые преодолевают односторонность подобной точки зрения «отделимости, спрашивая себя, не должна ли вселенная рассматриваться как «уникальная» и единая сущность».¹²² Именно тенденция разделять взаимосвязанные стороны действительности отличает западный рационализм, который Касториадис иногда называет «псевдорационализмом» и который, по его мнению, встал в силу этого на путь бесконечной прогрессии (знаний, техник, производственного роста), вообще безмерной рациональности. Разум, не ведающий границы, западная безмерная рационализация квалифицируются Касториадисом как проявления «безумия».

Кульминацией негативизма Касториадиса в отношении индустриального рационализма является та мысль, что преодоление его требует принципиально другой техники и даже другой науки. Должна для этого произойти трансформация всего общества, всей системы «установленных значений и рамок рациональности, науки последних веков и гомогенной ей технологии».¹²³

¹²² Ibid. P. 94.

¹²³ Castoriadis C. Les carrefours du labyrinthe. P. 1978. P. 248.

¹²¹ Ibid. P. 239.

Концепция Касториадиса представляет, может быть, самый радикалистский вариант отрицания индустриальной рациональности.

В соответствии с происходящими в развитых странах социальными переменами новые левые ушли от антитезы «труд – капитал», которая доминировала в рассуждениях индустриальных социалистов. Их интересует возможность протеста против власти технократов, установлению которой предшествовали процессы возрастания роли науки и техники в производстве, развитие зависимости политической власти от специалистов, экспертов, срастание экономической и политической форм власти, подчинение населения с помощью СМИ экономическим и политическим целям технократии. Соответственно, постиндустриальные левые выражают теперь не столько интересы труда, сколько интересы той жизни, которая разворачивается в непродовственных сферах, которую можно обозначить словом «повседневность». Если же они обращают свои взоры на производство, ищут альтернативу современной жизни в целом, то они приходят к требованию другой науки, другой техники, другого производства, которые не подчиняли бы человека собственным целям, а были проводниками человеческих целей. Новейшая технология оказывается, таким образом, антитезой революции. Когда начиналось развитие современной технологии (XVIII – XIX в.в.), она способствовала стремлениям к революционным преобразованиям. Наоборот, развитая технология стала антиподом революции, она влечет за собой тот блок социальных институтов, против которых должны быть направлены проекты революционных преобразований.

В заключение следует отметить, что в данной статье на примере главным образом развитых стран были рассмотрены отношения революции и технологии с середины XIX и до конца XX века. На начальных этапах своего развития технология содействовала революции. Эта идея получила отражение как в марксизме, так и в ранних технократических концепциях, авторы которых стремились перестроить управление обществом по типу управления производством. Причем, технократические идеи проникали как в левые, так и в правые политические теории, внося в те и другие идею о приоритете административной власти в отношении законодательных органов. Вплоть до пятидесятых годов XX века технология работала на мировую революцию, особенно ярким примером этого служила русская революция, которая ошеломляла наблюдателей темпами роста производства. Но в пятидесятые – шестидесятые годы стали заметны слабые стороны в развитии советской индустрии, альянс революции и технологии распался. Какими же представляются теперь отношения между технологией и революцией? На Западе технология противостоит революции главным образом тем, что насаждает в стране (в экономике, государстве, культуре) инструментальное отношение к человеку, тогда как революция обозначает себя как борьба за гуманизм, за верховенство человеческих целей над целями производства, техники. Поэтому левые на Западе часто уверены в невозможности революции. Если же у них заходит речь о революционных перспективах, то они или ограничиваются указанием на разрозненные социальные конфликты в своих странах, или возлагают надежды на оппозицию Западу со стороны населения незападных регионов.

Глава III. О революциях будущего

А. Б. Баллаев

Конец XX и начало XXI вв. выдались беспокойными. Политические перевороты участились, причем, весьма различные по стилю и характеру, и теоретики вновь принялись размышлять о классической теме революций.¹²⁴ Не слишком ли ускоренно меняются политические режимы? И не грозит ли мировому порядку что-то глобальное, какое-то потрясение, ранее не встречавшееся в историческом опыте? Англосаксы пытаются демонстративно наводить порядок (или создавать «управляемый хаос»?) в различных регионах, но все-таки подобная практика имеет ограничения, как ресурсного и временного, так и политического характера, даже на Ближнем Востоке. «Империи» по А. Негри как будто не получается, скорее наоборот,¹²⁵ а это значит, что новые «локальные» революции (или «контрреволюции»?) вовсе не исключены из ближайшего будущего. Вопрос – какие? Или, по классификации Голдстоуна, революции «четвертого поколения»?¹²⁶ Может быть, по классическому определению Теды Скокпол, революции как политические перевороты с участием масс и крупными социальными преобразованиями?¹²⁷ Можно придумать и что-то новенькое, например, «скучные мировые», как выразился где-то В. Цымбурский. Все возможно...

Мы возвратимся к различению революций как буржуазных и социалистических, теоретически основному в традиции марксистской философии истории. Об этом варианте классификации как-то забыли. Политические философы от Солона до Мао-Цзедунa рассуждают преимущественно о «революциях вообще», пытаясь не отходить слишком далеко от политической эмпирии и ходовых исторических характе-

ристик. Учитывая падение престижа марксизма, неудивительно, что тема социалистических революций разделила судьбу своей прародительницы, формационной теории К.Маркса.¹²⁸ Раз нет формационного деления, то нет и понятия социалистической революции. Утверждается, что динамика общественных форм не подчинена «шампуру» прогресса, а точнее, этой динамики и вовсе нет, согласно современному философско-историческому дискурсу. Соответственно, в новейших либеральных рассуждениях на эти темы получается, что социалистических революций вроде бы и ранее не было, а потому и впредь их не должно быть. Хотя оппозиционные упреки капитализму вообще и «разным капитализмам» в частности еще встречаются, но социалистические революции отрицаются даже в качестве абстрактной возможности. Имеется, что интересно, постоянно повторяющееся пророчество И. Валлерстайна о «точке бифуркации», т.е. о саморазрушении капиталистической мировой системы, но уважаемый автор старается ничего не говорить о содержании пост-разрушенного миропорядка, кроме надежды на больший эгалитаризм. Ну и, естественно, точные сроки конца капитализма как общественно-исторической формы общества И. Валлерстайн постоянно корректирует в сторону удаления от текущей действительности.

И все же, все же... Разве тяжкий исторический опыт XX в. ни о чем не говорит? Ведь, кажется, уже было что-то, похожее на социалистические революции. Что же это было? И отчего это очевидный страх перед неизбежностью какого-то «социализма» так велик в текстах его бывших идейных противников, типа фон Мизеса или Шумпетера? Неужели только оттого, что в 30-е годы XX в. случились экономические кризисы, рецессии и «тележка с яблоками» сильно накренилась?

Согласно марксистским историческим преданиям, социалистические революции появились на свет несколько позднее

¹²⁴ Отличный обзор отечественных представлений по данной тематике сделан Завалько Г. Изучение революции в эпоху реакции // *Альтернативы*. 2013. № 4. Также важны работа Капустина Б. Г. О предмете и употреблении понятия «Революция» // *Критика политической философии*. М. 2010. С.118-149; и полемика Б. Межуева и Б. Капустина о революции в журнале «Логос» за 2012 г. № 4. С. 239-285.

¹²⁵ См. об этом Арриги Д. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М. 2009.

¹²⁶ Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения // *Логос*. 2006. № 5 (56). С. 58-103.

¹²⁷ Skockpol T. *States and Social Revolutions*. Cambridge University Press, 1979.

¹²⁸ О марксовой теории общественно-экономических формаций более развернуто – в журнале «Логос» за 2011 г. № 2.

буржуазных,¹²⁹ уже в XX веке, если не считать опыт Парижской Коммуны, столь восхитившей Карла Маркса. Чем-то вроде общего образца могла послужить – и официально служила – Октябрьская революция 1917 г. в России, имевшая смелость объявить себя социалистической. Далеко не все в лагере марксистов были с этой самооценкой согласны (например, эту революцию не считал социалистической К.Каутский).¹³⁰ Несколько позднее А. Грамши (и не он один) убедительно доказывал, что русский опыт скорее исключение, чем правило или эталон. Он считал, что подобные революции возможны вне Европы или на ее периферии, а в странах, называемых ныне развитыми, государство слишком сильно укреплено буржуазным гражданским обществом и умеет противостоять революционным попыткам. Дальнейшие события частично подтвердили и это, но мир не сводится к маленькой Европе, и уж тем более к микроскопической муссолиниевской Италии. Случились социалистические революции, или хотя бы считавшиеся таковыми, в великом Китае, на Кубе, удачные и неудачные попытки имелись и в других странах, весьма на европейский глаз экзотических – Вьетнаме, Северной Корее и т.п. Правда, критики тут же указывали, что страны эти отсталые и должны были бы предварительно выстроить себе нормальный капитализм. Кажется, что и они были частично правы, так что вопрос так и остался открытым.

Опять же, заметим нехоти: как оценить исторический процесс «насаждения социализма» в Восточной Европе в результате победы СССР во второй мировой войне? Пространственно эксперимент делался на какое-то время почти планетарным, захватил треть человечества. Связанный с именем страшного человека Иосифа Сталина, всяческими террорами и депортациями, этот опыт часто называют «империалистическим захватом», «оккупацией» и другими нехорошими словами. Конечно, считать революцией смену политического и социального режима с помощью оккупационных войск как-то неудобно, но ведь принято отчего-то наполеоновские

завоевания в Европе именовать «перенесением французской революции вовне»? Тогда каждую завоеванную страну (Голландию, Италию, Германию) сурово обирали в пользу Франции (об этом прекрасно рассказано еще Е.А.Тарле в его ранней работе о континентальной блокаде), но зато давали ей французскую конституцию, кодекс Наполеона, вводили новые права и некоторые свободы и проч. Аналогично, и после второй мировой войны в восточноевропейских странах были проведены фундаментальные преобразования: частную собственность национализировали, ввели плановое хозяйство, активную социальную политику. Вольнолюбивые поляки и прибалты видели во всем этом лишь русскую оккупацию, различия между царями и лидерами КПСС считали малозначимыми, это вполне понятно.

Но вопрос о «расширении социализма» в мире был не прост, и таковым остается. Политика правящей верхушки бывшего СССР с ее попытками насаждения «африканского социализма» или безумной войной в Афганистане не есть историческое правило. И, с другой стороны, проходящий перед нашими глазами опыт насаждения «демократии» с помощью прямых гуманитарных интервенций, это ведь как-то оправдывает и даже легитимизирует политику Коминтерна и распространение зачатков социалистического миропорядка на хотя бы «священные камни» лимитрофной Восточной Европы? В общем, это – вопрос для историков, скорее всего.

Важно, что к нашим дням, после завершения цикла жизни «реального социализма» старые оценки и самооценки во многом подверглись неизбежной ревизии, чаще всего недостаточно объективной в силу идеологических предпочтений разных авторов, что и естественно. Но и будущее стало более открытым и непредсказуемым. Кое-что нужно отметить и нам.

Опыт XX века, кратко

Представляется важным, как мы уже заметили, что первая социалистическая революция была сразу же поставлена под подозрение в смысле ее соответствия ей же объявленным социалистическим ценностям и критериям (например, это было высказано Карлом Каутским и Розой Люксембург уже

¹²⁹ О революциях буржуазных, даже вне их отличий от революций социалистических, написано немало, поэтому данную тему мы подробно не рассматриваем.

¹³⁰ См. Баллаев А.Б. Философия революции в марксизме начала XX века // Философия политического действия. М. 2010. С. 107-110.

в 1918 г.).¹³¹ Впоследствии схожие и более острые критические оценки закрепились. Под будто бы гуманистическими социалистическими лозунгами на самом деле шла обычная борьба за власть и ее использование во вполне эгоистических, партийных или еще каких-либо интересах. Когда же победившие в этой революции политические силы попытались более «догматически» отнестись к собственным ценностям и революционным лозунгам – национализации и другим эгалитаристским мероприятиям, (неизбежно сопровождавшимся brutalными методами проведения), то такие революции стали заносить в разряд «коммунистических», типичных для слаборазвитых стран, для мировой периферии, для становления тоталитарных режимов. Так и по сейчас изображается в господствующем оценочном мейнстриме. Либералы преподносят коммунизм как некий антицивилизационный тоталитарный праксис, который считается уничтоженным вместе с поражением СССР в холодной войне и началом китайских реформ, и потому выносятся за рамки политически допустимого. Во всяком случае, так принято писать и говорить, таков порядок. В итоге получается, что о социалистических революциях нет смысла высказываться, ибо они таковыми не являются, а коммунизм, притворяющийся социализмом, надлежит элиминировать из мировой истории. Подобная логика представлена, например, в весьма информативной книге Д. Пристланда.¹³² (Вообще же долговременные спекуляции со смыслами понятий «социализм» и «коммунизм», находящиеся в основаниях подобной критики (которую сложно обвинить в добросовестности), лучше и вовсе не учитывать, и разумнее всю эту проблематику отложить для специального рассмотрения.)

Если обратить внимание на то общее, что наличествует во всех рассуждениях о революциях, а также легко фиксируется в реальной истории XX в., то это, конечно, смена властного режима и властных полномочий государства. Политический переворот – необходимая, неизбежная и основная

часть любых революций, в каких бы вариантах он ни происходил, – от мирной передачи власти до гражданских войн. Смена власти, замена правящей элиты, изменения в способах управления и т.д. Когда говорят и пишут о революциях, чаще всего имеют в виду именно политический переворот, а все прочее записывают в его «последствия и результаты». Замена монархии на республику или парламентского режима на какое-либо единовластие, не говоря об освобождении колоний или переходе власти в руки иной этнической группы, несомненно, имеют некое социальное значение, ведут к социальным изменениям. Но не эти изменения составляют их суть и цель. В случаях переворотов, следствием которых «реальный социализм» трансформировался в почти «нормальный капитализм» тоже не очень уместно говорить о революциях (даже о «революциях сверху»), хотя значительные социальные изменения были налицо. Разумнее квалифицировать эти перевороты как «контрреволюцию», следуя за некоторым количеством оставшихся марксистских теоретиков. Или называть их, по Б. Ю. Кагарлицкому, «реставрацией».¹³³

Как известно, в так называемом «традиционном обществе» политическая история чаще всего непосредственно не касалась народных масс (или, на ином языке, непривилегированных слоев). Эта история шла как бы «поверх» сельских общин, концентрировалась в столицах и больших городах, а социальное значение имели вопросы, часто далекие от борьбы за власть. В значительной степени это положение сохранилось и поныне, на чем и основывается столь нужный властям предержащим эффект «молчаливого большинства» при выборах или осуществление переворотов небольшими группами активистов плюс городской «люмпен-пролетариат» с аналогичным ему молодежным составом? Да и присутствует ли реальное большинство населения при политических переворотах в наше время? Конечно, нет, как бы ни были убедительны толпы восставших на площадях различных столиц и мегаполисов в телевизионных репортажах. Чисто статистически «народ безмолвствует», что легко доказывается небольшим участием женщин, т.е. непосредственного и прямого большинства населения, в подобных акциях.

¹³¹ См.: Каутский К. От демократии к государственному рабству // Большевик в тупике. М. 2002; Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Издательство политической литературы, 1991. Подробнее об этом: Баллаев А.Б. Указ. соч.

¹³² Пристланд Д. Красный флаг. История коммунизма. М. 2011.

¹³³ Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России. М. 2000.

Иногда политические революции имеют значительные социальные составляющие или последствия, иногда же они существенно не затрагивают социальных основ общества. Была ли революция социалистической или тривиальным «цветным» госпереворотом в пределах капиталистического миропорядка (прокрученным силами этого миропорядка), выясняется не из идеологического оформления и не из специфики переворота как такового, а из реального социального праксиса, следующего за ним. Ведь только с обретением политической власти «новые» получают возможность хоть как-то изменять фундаментальные жизненные устои. На эту последовательность следует обратить внимание как на характерную особенность классических социальных революций и существенный, важнейший признак революций социалистических. Тут социальные преобразования столь значительны, что требуют времени, и потому их чаще всего записывают в последствия уже прошедших революций. На самом же деле получение политической власти есть лишь первоначальное условие, «гарантия» того, что можно приступить к подлинно социалистическим революционным преобразованиям. Таковые в истории уже случались.

Социалистических революций в XX в. меньше, чем хотелось бы. Им приходится туго, особенно поначалу. Новая политическая власть может спешить с социальными и прочими инновациями, всячески стараясь «заявить себя», но сложность обстановки в стране и враждебном мире заставляет ее не столько выполнять свои лозунги и обещания, сколько реагировать на текущие проблемы и затруднения. Напомним, речь идет о странах отнюдь не процветающих, а о мировой периферии или полупериферии, по известной классификации И. Валлерстайна. Поэтому нередко начало собственно социалистических преобразований не обходится без некоторого временного разрыва или «лага» с обретением власти, хотя это и не правило без исключений. Но если молодая власть чувствует себя покрепче и не боится затронуть чьи-то интересы, на какие меры она непременно должна решиться? Социалистическая традиция рекомендовала два основных направления деятельности: *во-первых, обобществление производства, то есть передачу частного бизнеса («собственность на средства производства» в*

его основе) государству, и, затем, во-вторых, введение плановости в экономической сфере. Так и должно быть, например, по Ф.Энгельсу или В.И.Ленину, хотя о полной или частичной национализации должна идти речь, единого мнения не было. Относительно плановости единомыслие более очевидно, ибо какой же еще может быть экономика при единой или хотя бы доминирующей государственной собственности? Иное дело, что даже при таких обстоятельствах планировать можно по-разному, что и было наглядно продемонстрировано в XX в.

Попытки реализации этих представлений о движении к социализму совершались в разнообразных вариантах даже без политических переворотов. Например, в Англии, «сердце» капитализма, после второй мировой войны лейбористские реформаторы отважились национализировать целый ряд отраслей экономики.¹³⁴ Широкий масштаб национализации имел место в Италии, Франции, ФРГ и др. европейских странах. Периодический рост доли государственной собственности характерен для всего XX в., а в странах юго-восточной Азии он является значительным и в настоящее время. Практически во всех странах, объявивших себя социалистическими или проводивших реформы социалистического типа, также вводилось и планирование.

Тем не менее, в опыте этих стран явно просматривается и его недостаточность, некая незавершенность, если рассматривать его с позиций заявлявшихся «ценностей» социализма – социального равенства, радикального улучшения качества жизни ранее угнетенных и униженных. Ведь и национализация, и планирование не являлись самоцелью. Мне представляется, что за словом «социализм», помимо политических и экономических реалий XX века

¹³⁴ Находясь у власти в 1945-1951 гг., лейбористское правительство К. Эттли осуществило национализацию и передачу в государственное управление Английского банка (1945), угледобывающей промышленности (1946). В августе 1947 г. национализированы железнодорожный транспорт и электроэнергетика, включая производство, передачу и распределение электроэнергии. В 1948 г. государство стало собственником газовой промышленности, внутреннего водного транспорта, части автомобильных перевозок, ряда авиакомпаний, радио и телекоммуникаций страны. Всего на национализированных предприятиях было занято более трети работающего населения страны. См.: Лейбористские правительства. Национализация ряда отраслей экономики. Социальные меры. Режим доступа: http://www.navalnycard.ru/history1/lejboristskie_pravitelstva.html.

в соответствующем идеологическом оформлении, стоит более общий теоретический концепт, обнародованный К.Марксом в «Критике Готской программы» (1875). Смысл размышлений Маркса в этой работе сводился к тому, что составители программы для съезда социал-демократов в Готе недостаточно разумно усмотрели перспективу деятельности социал-демократической партии Германии в пролетарской революции и создании бесклассового общества. Маркс утверждает, что «между» капиталистическим и следующим за ним коммунистическим миропорядком (принцип последовательности общественно-экономических форм-формаций, по Марксу) неизбежно существование длительного переходного периода, который представляет собой некий симбиоз того и другого. Называть его можно по-разному, слово «социализм» имеет свои плюсы и минусы. Конкретизации Маркса касались только вопросов права и распределения, причем он убедительно доказывал невозможность полного или реального социального равенства сразу и во всем. Сами по себе эти марксовские соображения подтвердились в многочисленных социалистических экспериментах XX в., достаточно припомнить хотя бы звучавшие в нашем отчестве бесконечные и вполне справедливые упреки в адрес «уравниловки», наряду с отвратительными «привилегиями», зажавшейся «номенклатурой», господством «аппарата» и т.п.

Собственно, на данном уровне развития производства и обмена иначе и не могло получиться, и Маркс полностью прав. Но лукавые критики первых шагов русского социализма «перепутали» нищую, придавленную неучастием в дележе государственных прибылей номенклатуру с нормальной «волчьей стаей» бизнесменов=банкиров=«олигархов», владельцев частной собственности любых размеров и масштабов. На этом основании «русский социализм» всячески клеймили и продолжают это богополезное занятие, хотя, на мой взгляд, наличие «номенклатуры» в том историческом виде, в каком она была в СССР, свидетельствует скорее о том, что в этом обществе было установлено (какое ни на есть!) социальное равенство. Привилегии номенклатуры, по своей мизерабельности – решающее «алиби русского социализма», хотя эстетически и морально оно выглядит и не очень красиво. Подлинно богатым лю-

дям такого рода привилегии просто не нужны, как бы ни был прав Валлерстайн в своих рассуждениях об «алчности». В нищем и почти как асфальтовым катком выровненном обществе социальное неравенство продолжало существовать, никуда не делось, но его уровень, даже если применять для измерения одного коэффициент Джини, был вполне пристойным для XX в. Таким образом, это общество в СССР было вполне симбиозным с точки зрения социального равенства и не могло быть иным.

Обратимся к другой стороне нашей проблемы. Эти шаги суть первые и недостаточные еще и потому, что они не выходили за пределы представлений о социальном равенстве, типичных для «рабочего класса». Равенство понималось как всеобщее равенство в труде и потреблении. «Кто не работает, тот не ест!» Получается, что первые в истории варианты социалистических преобразований были ограниченными по самой своей сути – уровнем экономически и социально возможного. Это – в практике. В сознании массового типа они были определены (ограничены) единственно приемлемым целеполаганием, в котором новое общество предстало лишь улучшенной копией старого. Тем же капитализмом, но без капиталистов, с одними пролетариями. Перекладывая эти ожидания на идеологический лад, В.И. Ленин и писал о стране, превращенной в единую фабрику, что и было последовательно реализовано. Абсурдным примером праксиса в свете данного эгалитарного миропонимания может служить политическая кампания по борьбе с «тунеядством», позволившая во времена Никиты Хрущева отправить в ссылку Иосифа Бродского, божьей милостью замечательного поэта. Не менее показательна многолетняя принудительная, но воспитательная по сути, практика привлечения студентов, школьников, вообще городских жителей к сезонным сельскохозяйственным работам и т.п.

Отметим, что такой поворот истории Маркс полагал теоретически возможным, поскольку с идеологическими мечтаниями пролетариев был знаком не понаслышке. Позитивная их сторона вполне корректно выражена в материалах Первого Интернационала, написанных Марксом (в «Учредительном манифесте»), а негативная – в критике уравнилительного коммунизма в рукописях 1844 г. и в полемике с Т.Годскином

в «Теориях прибавочной стоимости». При общем положительном отношении к идеям Годскина Маркс отчетливо видит в уравнительном варианте «рабочего общества» типиковое положение в отношении к социокультурному прогрессу в целом. Во всяком случае, в материальном и культурном аскетизме жизни «рабочего класса», распространенном на все общество, Маркс не находил ничего привлекательного. (За исключением, конечно, изменений в соотношении рабочего и свободного времени, т.к. собственники, исключительные потребители общественного свободного времени в этом случае устранялись.)

В марксовом концепте социализма нет «равенства в бедности», нет и ленинской «единой фабрики», как нет принудительного труда как такового – ни на частных владельцев средств производства, ни на общество в целом. Однако в истории слишком многое, теоретически разумное и достижимое, требует для своей реализации намного большего времени, чем даже «долгое» броделевское. Учитывая фактор «нелинейности развития», как деликатно выражается А.В. Бузгалин, начало новой общественной формы может быть весьма долговременным. (Речь идет о планете в целом, а не о «социализме в отдельно взятой стране», который был произведен в отечественной идеологической лаборатории и для внутренних нужд).

Социалистическая революция в этом случае представляется уже не как «событие», верность коему следует сохранять в близком А. Бадью сомнительно-романтическом смысле, а как исторический процесс четко определенного типа, но с неопределенной длительностью и различными вариантами осуществления.¹³⁵ Я также думаю, что представление о процессуальности революции в историческом времени не должно так уж смущать, несмотря на риторическую болтовню о «взрывах», «непредсказуемости» и т.п. Быстро штурмуются прези-

дентские дворцы, а для глубинных социальных преобразований революционного характера нужно время. И это обстоятельство во многом проясняет, отчего социализм XX века в самом деле выглядит как «мутантный», «недостаточный» или «неистинный». Он и есть половинчатый, непоследовательный, в нем еще слишком многое «не соответствует своему понятию» в гегелевском смысле. Он просто еще не совсем и социализм.

Сегодня более понятно и то, отчего первые попытки социализации оказались в конце XX в. столь резко «законченными», с таким неожиданным коми-трагическим финалом. Все-таки капитализм как валлерстайновская мировая экономическая система был и остается куда «сильнее» национальной «единой фабрики». Государство как единый (и единственный) собственник в стране не смог предложить людям наемного труда больше «благ», чем совокупный планетарный капитал некоторым регионам планеты. Концентрация капитала в странах «золотого миллиарда» (при всей условности этой позолоты) со всем идеологическим и прочим обеспечением позволила довести эту выставку «благ» во второй половине XX века до уровня бодрийеровского «общества потребления». (Об этом с забавным остервенением писал, например, А.И. Фурсов, вспоминая «славное тридцатилетие» после второй мировой).¹³⁶ А люди, жившие в странах «реального социализма» к достижениям собственного общества чаще всего относились критически, поскольку воспринимали их как нечто естественное и общепринятое. Как будто, не спасая от личной «бедности», господь обеспечил всех общими «благами», не позаботившись о достаточном их количестве и качестве!

Юмористическая вставка в русском стиле

Ах, как привыкшие к типовому уровню всеобщей бедности «совки» впадали в «культурный шок» в немецких универсалах и французских бутиках! Смикшированное с вековым русским «западничеством» желание есть гамбургеры и пить кока-колу, одеваться в рваные джинсы и смотреть голливудские ужастики, слушать

¹³⁵ Философско-исторические взгляды Маркса, конечно, сложнее истории традиционных марксистских представлений о них. Интерпретаций этих взглядов также достаточно, и это нормально. Но смешно, когда люди используют ключевые марксистские категории («капитализм», «социализм», «коммунизм» и т.д.) в собственных рассуждениях и думают, что это ни к чему не обязывает в отношении к Марксу. Теоретическая необязательность, нерелевантность собственных позиций, столь характерная для многих, на мой взгляд, входит в разряд необходимого методологического вооружения большинства критиков марксовской философии истории.

¹³⁶ Фурсов А.И. Недолгое счастье среднего класса // РФ сегодня. 2007. № 10.

тяжелый рок и ходить по чистому асфальту, ездить в своем личном авто и т.п., конечно, перебили любую возможность оценить по достоинству жалкий и нищенский «социализм», дорожить его позитивными сторонами. Как только подвернулся случай, от него массово отказались. Вся страна, СССР целиком, начиная с советско-партийной «элиты», в своих предпочтениях сбежала на Запад. Наши соплеменники хотели убежать от «нищего социализма», оно и получилось.

Я хочу специально подчеркнуть это обстоятельство, хотя, может быть, придаю ему слишком большое значение. Почти всеобщее желание приобщиться к «Западу», увиденному через очки потребительского изобилия и соблазны массовой культуры, лишило социалистические тенденции в СССР должной поддержки. Финальный экономический провал горбачевской авантюры, искусственный товарный голод в стране и политическая неразбериха только обострили недовольство, закрепили уже сделанный общий выбор. Быстрый и тактически продуманный перевод страны из «социализма» в «капитализм» прошел практически беспрепятственно, а «страшная» КПСС исчезла, как корова языком слизнула. Как и некоторые другие авторы, я уверен, что и сейчас, после более чем двадцати лет усвоения жестоких капиталистических порядков, большое число людей из нищего «среднего класса» и люмпен-интеллигенции, особенно столичной, да и полных «пролетариев» известного возраста, сохранили должный страх перед былым социалистическим порядком и нравами и оттого не решаются голосовать за коммунистов на всяческих выборах. Не знающие, о чем идет речь, молодые люди, как правило, верят любому кошмарному мемуару – результат интенсивной промывки мозгов, длящейся и поныне. Мне не слишком-то нравится довольно нескладный бузгалинский концепт «мутантного социализма», но что *советский социализм был недостаточно социалистичен, чтобы люди могли им дорожить, это уж точно.*

Итак, исторический опыт вполне адекватно вписал в себя результаты промежуточного финиша первых попыток построить «социализм в отдельно взятой стране», причем не столь уж важно, (хотя и важно, конечно), что социалистических экспериментов прямом смысле слова в так называемых «развитых странах» в XX в. не

наблюдалось. А это означает, что капиталистическая стадия в истории еще далеко не закончена, как ожидали этого марксистские теоретики, начиная с самого Маркса. Но история и без попыток ее разными способами подгонять или «облегчать ей муки родов» никем не отменена, вернее, она – просто есть, несмотря на детские мечты наивных фукуям о ее «конце». В общем, опыт XX в. оставляет вопрос о социалистических революциях открытым.

Социалистическая революция an fur sich

Поскольку мы вслед за Марксом решили, что социализм есть просто переходный период, «непородистая» помесь коммунизма с капитализмом, следует уточнить, о чем идет речь? Каково направление этого перехода – откуда и куда? Не глупо ли «строить переход»=«строить социализм», как это было при советской власти? Речь идет не о состоянии, а о движении с определенной логикой, не о статике, а о динамике. Переходный период и есть переходный – как и куда идти дальше? Словечко почти лишено понятийного смысла, но оно весьма значимо. Либо как-то развиваться в рамках мировой экономической системы капиталистического типа, либо – что? Первое на ближайшее будущее обеспечено, рамки национальных государств иногда могут выдерживать кое-какие социальные эксперименты, но система в целом ставит им ограничения, по видимости, непреодолимые в современных обстоятельствах. Транснациональные корпорации, мировые финансовые институты ныне могущественнее большинства национальных государственных образований. Военные угрозы и экономическое давление в комплексе – средства испытанные. Следует упомянуть и об идеологическом воздействии «старого мира», о его доминировании в сфере массовой культуры, все более эффективном управлении сознанием и поведением людей. Так что, пока не изменятся «обстоятельства» и вся система валлерстайновской мир-экономики не ослабеет, социокультурный прогресс в социалистическом варианте для отдельных стран и регионов вряд ли доступен. Поставим вопрос иначе. А может ли общество «переходного типа» еще как-то продвинуться в направлении большей социализации? Если да, то что оно может и как? Чем должна заняться «социалистическая

революция», поскольку шанс ей непременно выпадет? В чем она будет состоять? Как полагает И. Валлерстайн, после «точки бифуркации» общественное развитие может пойти и в совсем неизвестную сторону, хотя лично он надеется, что в новой системе возобладает больший эгалитаризм. У этого автора речь всегда идет о всемирном масштабе, откуда и осторожность в оценках.¹³⁷ Его сверстник Ю. Хабермас и в 70-е, и в «лихие» 90-е утверждал, что утопическая энергия в обществе закончилась, он и поныне надеется только на коммуникативную составляющую современности, на воздействие «общественности» что, собственно, уже почти полный социальный пессимизм, ограниченный почти микроскопическими масштабами Европы, пусть и объединенной.¹³⁸ В родном отечестве мне весьма близки некоторые идеи А.В. Бузгалина и его сподвижников, хотя немного корбит их несколько «приземленный» в общем теоретическом смысле характер.¹³⁹ (Это особенно заметно в содержательной полемике с В.М. Межуевым.)

Что же делать? И это возвращает нас к главной теме, к принципиальному смыслу социалистической революции, к ее гегелевскому «понятию». Видимо, социалистическая революция, в какой бы стране она ни происходила, обязана измерять правильность и успешность своих действий степенью улучшения условий жизни большинства своего населения, а лучше – всех ее жителей. Это – минимальное требование, но его нужно понимать достаточно широко. «Условия жизни» людей не ограничиваются своей материальной составляющей, кстати, вспомним размышления В.М. Межуева о социализме как царстве культуры. То же самое можно сказать и о планетарном переходе к бесклассовому типу общества, который по марксистским прогнозам ожидается впоследствии. В этом состоит коренное (и тривиальное) отличие революций социалистических от буржуазных, радеющих все же о меньшинстве, так или иначе обладающем соответствующей собственностью. Но за понятием «социализм» стоит смысл улуч-

шения жизни для *всех*, а большинство занято наемным трудом, подвергается эксплуатации, часто весьма наглой, и потому ограничено в возможностях удовлетворения своих даже базовых потребностей (жилье, еда, одежда и прочее). Не говоря уже о потребностях культурных, которых сами пролетарии часто и не ощущают по незнанию, незнакомству с тем, что можно назвать собственнo культурой. (Та эрзац-культура, «зрелища» с минимумом «хлеба», которые этому большинству навязываются, выполняют функцию блокировки подлинных духовных потребностей.) Эксплуатация делает жизнь большинства если не «хождением по мукам», то недалеко от этого. Что вытворяют транснациональные корпорации с женщинами, занятыми в производстве всяческой компьютерной и прочей «постиндустриальной техники» в Китае, на Филиппинах! А что являет собой текстильное производство в Бангладеш? Не нужно делать вид, будто это мелкие жизненные сложности азиатских и африканских дикарей, а благополучные Европа и США давно все это превзошли. Во-первых, мир велик, и мы-то имеем в виду большинство человечества и не идентифицируем его с англосаксонскими меньшинствами. Во-вторых, текущие события с лент новостей и телевизионные картинки (например, из стран Юга Европы) обычному набору либерально-демократических комиксов зримо оппонируют. Да и вообще система капитала + наемного труда подразумевает и сознательно развивает социальное неравенство во всем, на этом она и построена. Эксплуатация трудящихся, социальное угнетение, нищета на одном социальном полюсе и концентрация растущего мирового материального богатства на другом в этом миропорядке неустранимы, они ему атрибутивны и имманентны, что вслед за Марксом и неоднократно повторял И. Валлерстайн.

По идее, должно быть так – *социализм есть переходный этап к концу господства капитала и экономического принуждения к труду*. Но тождественно ли устранение капитала в его традиционном виде окончанию экономического принуждения к труду, т.е. господству наемного труда? В какой степени жизнь большинства может от этого улучшиться? Проблема и, возможно, основная, всякой социалистической революции состоит в том, что *ресурсов в общественном (государственном) владении и материального роста этих ресурсов на имеющейся производственной базе недостаточно для*

¹³⁷ Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М.: Логос, 2004.

¹³⁸ Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии // Политические работы. М. 2005. С. 55-87.

¹³⁹ См. Бузгалин А. В. Методология и теория исследования социализма: некоторые полемические заметки // Марксизм. Альтернативы XXI века. М. 2009. С. 222-242; Бузгалин А. В. Марксизм: Перезагрузка // Марксизм. Очерки марксистской политической экономики. М. 2013. С. 90-104.

надлежащего роста всеобщего обеспечения. «Их было слишком много!» – кричала в подобной ситуации добрая Шен Де у Бертольда Брехта. То есть, имеется прямая и жесткая зависимость, в которой всеобщность распределительных механизмов наталкивается на ресурсную ограниченность государств, менее значимую при классовых отношениях распределения. Там, в стандарте «труда и капитала» всеобщее обеспечение, попахивающее советской «уравниловкой» исключено в принципе. Еще Т. Мальтус объяснял непонятливым, что «полюс бедности» необходим, чтобы у этих «бедных» не исчезла мотивация к труду. В обществе, где господствует государственная собственность, такое структурирование частично неактуально, но необходимы ресурсы. При этом полагается, что вековая тяга к индивидуальному обогащению заблокирована общественным распределением, удовлетворяющем сначала базовые, а затем и остальные возможные потребности людей. Это, повторяем, целевая установка революции социалистического типа, определяющая ее смысл и основную направленность деятельности государства.

Конечно, в ситуации временного ослабления мировой экономики и для многих современных не-социалистических государственных образований сохранять имеющийся уровень социальных гарантий для населения становится затруднительно, сокращаются пенсии, пособия по безработице, бюджетные расходы на здравоохранение и образование и т.д. Тем не менее, различного рода возможности для маневра сохраняются, например, исключение из числа людей, имеющих право на социальные гарантии, определенных групп населения (иммигранты, не-граждане, люди среднего достатка), или же – как крайняя мера – повышение налоговых ставок для богатых. Наконец, всегда к услугам власть предержащих при кризисах и рецессиях – так называемая «элиминация среднего класса» (по аналогии с «элиминацией рантье», по Дж. Кейнсу). Социалистическая же экономика обязана как-то удовлетворять потребности всех без исключения – и всегда. А где, опять же, взять ресурсы? И есть ли они?

Отсюда вытекает очевидная перспектива (одна из многих) движения социали-

стической революции после получения политической власти – это *перспектива социального прогресса, основывающегося на экономическом росте*. Слова шаблонные, но праксис должен быть инновационным. Иными словами, обобществленное производство просто обязано быть ориентированным на всемерное удовлетворение социальных потребностей людей, что требует принципиальной переориентации всей экономической сферы, включая обмен и распределение. Национализированная, или государственная, экономика должна быть ориентированной только и исключительно на созидание, рост материальных и всяческих «благ», а все прочее устранить.¹⁴⁰ Поэтому следует добиваться максимально возможного уничтожения традиционных наиболее затратных сфер государственной деятельности, переключения ресурсных затрат на экономический рост. Это «человекоубойная промышленность» (военно-промышленный комплекс) и пенитенциарная система, прожорливый бюрократический аппарат, а также дорогостоящие области научного праксиса, свифтовские «лапуты» типа исследований и освоения космоса. Вполне революционным актом стало бы исключение расходов на государственное представительство, столь желанное властям издревле, – всевозможные резиденции, правительственные дачи и имения, самолеты и др. Стандарты азиатского отношения к власти, обычные для традиционного общества монархического типа слишком затратны для социалистических преобразований. В этом смысле перспективы социализма явно смыкаются с имеющим долгую историю концептом «слабого государства», хотя механизмы и цели «уменьшения» (или ослабления) государства в либеральной традиции принципиально иные. Во всяком случае, усиление социально-экономических компонентов государственного управления – единственно верный путь социалистических преобразований.

Это соображение следует и несколько конкретизировать. Конечно, радикальное улучшение «качества жизни» для большинства (в стране или мире) невозможно на спринтерских исторических дистанциях.

¹⁴⁰ Остается не рассмотренной проблема мирового разделения труда и невозможности «анклавной» и замкнутой экономики, необходимость торговли, постоянные угрозы войны и прочие глобализационные компоненты. Это нуждается в особом и специальном исследовании.

Между тем люди, имеющие ограниченное время индивидуального существования, во все времена желали улучшений именно в собственной жизни. Эгоизм индивидов немого ограничен межпоколенческой солидарностью (дети и старики), хотя о всеобщности таких ограничений говорить не приходится. Поэтому данная группа потребностей («базовые потребности») в революционных социалистических преобразованиях должна быть удовлетворена в первую очередь. При этом важно, чтобы: а) сохранялся и осуществлялся принцип всеобщности, чтобы не было исключений; и б) удовлетворение базовых потребностей шло системно, по всем основным параметрам. Все они прекрасно известны по частичному праксису социального государства и социалистическим инновациям в СССР и странах Восточной Европы. Весьма многообразный опыт социальных реформ накоплен в странах, разбогатевших на продаже природных ресурсов. Здесь, однако, важен принципиальный подход: не минимализировать «социальное зло» капиталистического мироустройства, а уничтожать его источники и предпосылки. Все существующие формы и варианты социальной поддержки принципиально минимализированы, поскольку их максимализация означает отмену фундаментальных капиталистических стандартов. *Полная социальная защищенность человека в течение всей индивидуальной жизни есть революционный и небывалый в истории шаг к ликвидации экономического принуждения к труду.* Такой социальный переворот должен быть исторически подготовлен рядом преобразований частичного порядка.

Вообще что-то, сделанное реально «для народа», но с негативными целями, сразу отнимает у всякого политического режима некий запас массовой лояльности. Например, возникновение городских протестов, бунтов и даже политических революций в истории зачастую непосредственно связано с хорошо организованной блокадой продовольственного обеспечения. Гнев городских жителей против властей, не умеющих обеспечить нормальный подвоз продуктов, мотивирует на протестные действия куда эффективнее, чем любая пропаганда. Власть в таких случаях теряет обычный уровень поддержки, что легко подтверждается событиями Великой Французской революции, перипетиями в Петрограде в 1917 г. или жалким финалом

горбачевской перестройки. Но в варианте социалистической революции об удовлетворении основных, фундаментальных потребностей всех без исключения нужно говорить безотносительно к проблемам власти, порядка или опасности контрреволюций. Я бы назвал такой подход императивом, не нуждающимся в обосновании.

Вполне понятно, почему. Так называемые «базовые потребности» людей вовсе не запрограммированы неким фатумом на горечь неудовлетворения, даже если речь идет о несчастных африканских народах. Уже на современном уровне развития материального и прочего производства все люди могут обрести возможность реализации этих потребностей, если смотреть на дело абстрактно. К сожалению, их неудовлетворение слишком значимо для экономического принуждения к труду и минимизации заработной платы в издержках производства капиталистического типа. Это легко доказать не только обращениями к Марксу, а простым сравнением оплаты труда и цены удовлетворения «базовых потребностей» (того, что А. В. Бузгалин называет «рациональными нормами потребления») в Европе и, например, в Китае или даже в России. Как показывает исторический опыт, нет необходимости в какой-либо корреляции оплаты труда и цены «базовых потребностей» и социалистически-революционным должен стать принцип: *удовлетворение этих потребностей без соотношения с трудом вообще.*

При господстве частной собственности рост материального богатства общества так или иначе исключает социальное равенство. Но уже при государственной форме собственности открываются возможности того, что стоило бы называть освобождением человечества от проклятия труда. Уже одно перераспределение ресурсов могло бы раз и навсегда лишить жилищную проблему, которую Энгельс считал неразрешимой для общества «труда и капитала». К обязательным проектам можно отнести обеспечение едой и одеждой, вошедшей в общее употребление техникой, полноценными услугами здравоохранения и системы образования. Остальное из того, что входит в круг людских потребностей («потребности высшего порядка»), может оставаться для всего переходного периода в качестве стимула традиционной трудовой деятельности (с оплатой труда), но, естественно, здесь

экономическая мотивация к труду уже теряет характер принудительности. Господствующее ныне «отчуждение труда» уходит в значительной степени в прошлое. (Не понимая, кстати, отчего именно «отчуждение труда», столь четко проанализированное Марксом еще в 1844 г., считается исключительно философской интерпретацией этой категории. «Левым» социологам, вполне бы было по силам, основываясь на марксовом анализе, замерять и четко фиксировать отчуждение в различных сферах трудовой деятельности наемных работников. То же самое относится и к эксплуатации труда, которая, конечно, вовсе не совпадает по смыслу с отчуждением, как часто это толкуют безответственные интерпретаторы).

В реальной истории, конечно, мы имеем право говорить исключительно о первых робких и противоречивых попытках социализации, о бузгалинском «мутантном социализме». Но без снятия «проклятия труда» не стоит и огород городить, это будет именно некий псевдосоциализм, не переход к новым социальным отношениям, а консервация старых. К сожалению, во многих попытках социалистического праксиса так и получилось.

Повторяем: само по себе удовлетворение базовых потребностей – акт намного более революционный и более сложный, что простое завоевание власти политической, поскольку в социалистическом варианте намечается исторически инновационный разрыв между почти всеобщим экономическим принуждением к труду и личной свободой индивида. И. Валлерстайн в диалоге с Э. Балибаром некогда утверждал, что каждый деятельный капиталист (бизнесмен!) целью или главным вождением имеет не простое обогащение, а достижение статуса рантье. Он стремится к накоплению средств достаточных, чтобы выйти из крысиных гонок за богатством и перейти к бездеятельному наслаждению оным. Мне кажется, здесь есть маленькая натяжка, утверждение И. Валлерстайна слабо согласуется с великим тезисом о накоплении капитала.¹⁴¹ Но определенный эмпирический смысл оно, бесспорно, имеет. Но не большим ли стимулом является вековая пролетарская мечта о том, чтобы страх за не-

обеспеченное существование себя и своего потомства не гнал на работу? К тому же работа в материальном производстве, сельском хозяйстве или даже в теплом офисе крайне редко дает достаточное творческое и моральное удовлетворение. Легенды о наслаждении экономически принудительным трудом убедительны, наверное, только для их авторов. Скорее всего, обладание хотя бы некоторым богатством в его современных видах блокирует желание работать в большинстве предлагаемых вариантов, если не во всех. Мне хотелось бы найти справочник объявлений типа «Работа для вас», предназначенный исключительно для людей, уже обеспечивших себя и своих ближайших потомков материально.

И хотя человек, у которого гарантированы только базовые жизненные потребности, и рантье в полном смысле этого слова еще очень далеки друг от друга, и для «пролетарского рантье» принуждение к труду значительно ослабнет, а что это как не существенное увеличение личностных возможностей, или рост индивидуальной свободы?

Великие философские размышления о свободе, столь знакомые по различным классическим и не слишком классическим текстам, все-таки отталкивались от «субъекта» как «человека вообще», отнюдь не занятого экономически принудительным трудом, «каторгой» в фабрично-заводской системе, на тейлоровских конвейерах или в сельском хозяйстве. Феминистки сказали бы, что этому «вообще человеку» никогда не приходилось готовить, стирать, воспитывать детей и угождать главе семейства. Бертран Рассел в своей истории философии высказал мнение, что вся философия Нового Времени была философией для «среднего класса», и лишь Маркс придумал философию «для бедных». И, действительно, только у Маркса проблема свободы, открепленная от моральных, политических и религиозных односторонностей, приобрела конкретный практический смысл – как проблема борьбы за свободу от принудительного труда, за свободное время. Этот смысл шире, чем просто «освобождение рабочего класса», он вполне приложим и к социальному положению женщин, которое также можно определить как эксплуатацию, что вызвало к жизни борьбу за «права женщин» как «права человека».

¹⁴¹ Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. М. 2003. С. 156-176.

В целом «свобода от труда» во многом определяет марксову философско-историческую концепцию (формационный прогресс), а популярные раскладки о классовой борьбе в истории остаются на заднем плане, на уровне социологической феноменологии классового общества и политической пропаганды.¹⁴² И это, кстати, не лишает их своей доли реального смысла. Но не на уровне общеисторических обобщений.

Однако вековая проблема труда, точнее, мотивации к оному, вовсе не так уж и противоречит марксовому пониманию свободного времени (ведь и Маркс признавал «необходимый труд», труд по жизнеобеспечению при любых исторических обстоятельствах). Многие скажут, что получение возможности выбора работать или не работать для современного человека преждевременно, и это породит массу «ленивой черни», занятой поиском разнообразных удовольствий, что так пугало Ханну Арендт. А вдруг без экономического принуждения люди и вовсе работать не захотят! Я же так не думаю. Конечно, люди – далеко не ангелы, но и условия их жизни далеки не только от ангельских, но и – слишком часто – от средне-нормальной человечности. Я бы даже сказал, что для обычных житейских обстоятельств, состоящих из труда, досуга, образования и небольшой общей культуры современный «средний человек» в мире еще куда как хорош. А мог бы быть, да часто и бывает, значительно хуже. И вряд ли принудительный труд «очеловечивает» этих людей хотя бы в той относительно небольшой степени, в которой мы это видим. А те варианты трудовой деятельности, занятие которыми не связано непосредственно ни с нищетой и угрозой голодной смерти, ни с богатством и «алчностью»? Пусть медленно, но они продолжают расти вместе с общим ростом материального богатства общества.¹⁴³ Сам по

¹⁴² В истории, несомненно, невелик процент желанной запрограммированности. К сожалению, и столь дорогой многим социальный прогресс мало чем обеспечен. Но это вовсе не означает, что история человечества подобна метанию перепуганных кошек от одного «события» к другому. И люди, пытавшиеся или вновь пытающиеся найти в этой истории какой-то смысл, достойны всяческого уважения, как бы ни были условны и недостаточны предлагаемые ими гипотезы. Иными словами, разум человеческий слаб, склонен к упрощениям и идеологизмам, но он есть и с этим ничего не поделаешь.

¹⁴³ Об этом я писал в работе о среднем классе в творчестве Маркса. Речь идет о непроизводительном труде и его судьбе в условиях роста общественного материального богатства.

себе труд без экономического принуждения с некоторым историческим автоматизмом постепенно становится иным – свободным трудом. Опять же об этом очень неплохо писали и А.В. Бузгалин с А.И. Калгановым и, в особенности, В.М. Межуев в своих работах последнего времени.¹⁴⁴

Проблема государства

В «переходном периоде» можно говорить только о продвижении от людоедских нравов предшествующего периода истории к более гуманным условиям жизни людей в «бесклассовом обществе», в чем и состоит суть этого перехода и смысл социалистической революции как революции социальной. Но нужно учитывать и реальные обстоятельства. Все же государство как таковое, даже в несколько более щадящей форме демократической республики («буржуазная», или «формальная» демократия, согласно исходным формулировкам марксистов, например, Энгельса) есть организация древняя, архаичная и «сама в себе» очень опасная для своих граждан.¹⁴⁵ Представляя себя в качестве исполнителя общей воли населения, буржуазная парламентская республика все же постоянно и верно служит «имущим классам» и слоям, причем чаще всего верховная власть в таких странах и непосредственно принадлежит им же. Меняется ли что-то с ликвидацией буржуазии как класса?

Закрепление государством самого себя в качестве верховного собственника, «абстрактного капиталиста», может иметь весьма различные последствия, некоторые из которых пугали престарелого Энгельса (его знаменитый опус о научном социализме заканчивается грозными инвективами в адрес выходящего на свет божий с помощью Бисмарка «государственного социализма» = «государственного капитализма»). Поначалу между двумя этими «измами»

¹⁴⁴ Межуев В.М. Идея всемирной истории в учении Карла Маркса // Логос. 2011. № 2. С. 3-37.

¹⁴⁵ Прямое привнесение в идею демократии эгалитарной составляющей сомнительно по многим параметрам, если учитывать исторический опыт. Другое дело, что формат демократической республики оставляет некоторый политический «зазор» для политических носителей эгалитарных тенденций, в немногих случаях достигающих статуса правящих партий или умеющих проводить свои эгалитаристские проекты даже находясь в оппозиции. Во всяком случае, антиэгалитарский праксис вряд ли противоречит понятию демократии, если выражаться по Гегелю. Если, конечно, не считать демократическую риторику сутью данного понятия.

разница невелика, даже если судить с точки зрения простого «пролетария». Еще недавно можно было услышать в родимом отечестве: «А мне все равно, что государство, что хозяин, лишь бы зарплата была нормальной!» При всей наивности и благоглупости данной позиции, она как нельзя лучше иллюстрирует тезис о близости «измов», об исторических качелях в процессе вышеуказанного перехода. Наемный труд на государство как и на какую-либо форму частной собственности не исключает классической экономической принудительности, как бы далеко по своей конкретной форме он не отходил от тривиального образа фабрично-заводского труда пролетариев XIX в. А это и означает, что начальные шаги социалистической революции в виде национализации производства еще очень недалеко уводят от стандартов обычного капитализма.

Поэтому социалистическая революция предполагает и свою вторую сторону, без которой немислимо осуществление первой, т.е. разрыва связи между трудом и удовлетворением базовых потребностей людей. А именно, недостаточно лишь радикально переориентировать производство и бюджетные расходы в сторону социальной сферы. Необходимо произвести фундаментальное преобразование государственной власти как таковой. *Нужно убрать из государственной машины всю ее историческую архаику.* В какой-то степени были правы и анархисты в своем понимании государства, и В.И. Ленин, когда призывал к слому старой государственной машины. И если радикальных изменений не последовало, это вовсе не означает, что само стремление было бессмысленным. Основной задачей государства должна стать не защита-оборона, тем паче, агрессии и завоевания, не традиционные силовые праксисы управления и подавления, слегка прикрытые правовым и идеологическим камуфляжем, а созидательная социально ориентированная деятельность. Это означает, что основное дело государства – общественное производство или хозяйственная сфера, образование и культура, здравоохранение, экология, и все это ради достижения экономического процветания и удовлетворения многообразных потребностей людей. Последнее предполагает существенную переориентацию существующего разделения труда в общественном организме и избавление от социально-излишних, не связанных со сферой базовых

потребностей людей областей и видов трудовой деятельности. Преобладание сферы услуг, уменьшение занятых непосредственным производством материальных благ стоит только приветствовать как знак увеличения общественного «богатства», или некоторого повышения качества жизни значительных слоев и прослоек еще в пределах капиталистической формации. Конечно, это качество почти не касается самих работников сферы услуг, там идет обычная эксплуатация труда, но круг их потребителей расширяется не только за счет «элитной» клиентуры.

Уже сейчас в реальном праксисе различных правительств выделились относительно самостоятельные «блоки» министерств – экономический, социальный, военный, культуры. Это пока выглядит, да и на самом деле является довольно простым разделением труда на уровне государственности буржуазно-капиталистического типа, несущей в себе все проклятия классового общества. В этом смысле понятны наивные проклятия П. Бадью в адрес Министерств и Аппарата. Но все же вполне очевидно, насколько системно расширилось по своим жизненным компонентам человеческое общество, или, как сказал бы Гегель, как создали свои особые сферы праксиса множасьщиеся человеческие потребности.

Да, государство как таковое постоянно следует за развитием общества, вводя управленческие структуры по мере поступления новых, ранее отсутствовавших областей для управления, это общеисторический факт. Но мы имеем в виду иное, а именно – полную переориентацию, или переквалификацию государственных структур на развитие экономики и так называемой «социалки», культуры, образования и науки. В идеале социалистическое общество должно быть лишено всяких националистических, религиозных и территориальных претензий, понуждающих государственные структуры сохранять свои архаичные компоненты. Нужно дать им «отмереть», как бы наглядно ни манифестировала нам о преждевременности таких мечтаний мировая торговля оружием и постоянные конфликты между странами и внутри оных. Кстати сказать, вся история «реального социализма» в XX веке вполне подтверждает тезис о губительности чрезмерных милитаристских наклонностей для относительно эгалитарных режимов. Они, как мне представляется, просто

нищают. Д. Арриги пишет о банкротстве СССР в итоге неумеренной гонки вооружений, и в этом он полностью прав.¹⁴⁶ В принципе, постепенное устранение этой части государственной деятельности и преобразование государства в мирную экономическую «машину», целевое назначение которой суть развитие социокультурной сферы, не бог весть какая новация в истории, бывало и так, хотя бы частично (опыт нейтральных государств). Но для социалистического государства иначе просто нельзя – табу.¹⁴⁷

Миллионы воинственных суперменов могут и спросить: а как же защита родины? Все войны, даже самые агрессивные, оправдываются идеями защиты отечества, бедные американцы ведут постоянно две-три войны и содержат прорву военных баз от полюса до полюса – и все для защиты своего государства, на которое никто и никогда не нападал! И все прочие также! Юные африканские государства, при всей своей исторической нищете, непрерывно вступают в военные конфликты либо с соседями, либо по племенному или религиозному принципу внутри собственных стран, причем конфликты иногда чрезвычайно brutальные. А войны воспитательные, по установлению демократии? А «гуманитарные» бомбардировки? Все это и есть показатель нынешнего цивилизационного уровня человечества, который куда как ближе к племенной вражде и нашествиям любимых гумилевских пассионариев, трудам гегелевских «метел господ», чем к искомому социализму. И, опять же, дело не в морали, дело в неравномерности исторического развития, в ресурсах. Я бы сказал, что для социалистической революции нормальное устройство школ и университетов, яслей и детских садов (базовые потребности!) важнее, чем все ядерные бомбы прошлого и будущего. И если условием такого положения дел станет создание некоего государственного планетарного единения (федерация континентов!), то мне глубоко плевать на все националистические привязанности

и иллюзии всех рас и народов. Ясно, что этот путь чреват большими потрясениями, но если мировое устройство исключит войну как «бытовое явление», то игра всяко разнo стоит свеч, а пассионариев и тех, кто их натравливает, следует отселить на Луну или подвергнуть бетризации по Станиславу Лему. Или найти для них какое-либо безопасное занятие, типа компьютерных игр или футбола.

Добавим, что экономическая специфика государства как верховного собственника, «абстрактного капиталиста», состоит еще и в том, что оно само по себе превращается в новый, социалистический тип торопиться никогда не станет. Его собственные интересы не являются непосредственно общественными, государство – еще тот эгоист, как сказали бы в Одессе. Получаемую в национальном производстве прибыль, «бюджетные накопления» государство вполне может не вкладывать повышение качества жизни «простых людей», а потратить на проекты, не имеющие к этому никакого отношения. Помимо милитаризации как экономического механизма проедания национального продукта остается множество иных вариантов «траты ресурсов», столь занимавшей когда-то Мальтуса. Сразу вспоминаются египетские пирамиды (бог с ним, с азиатским способом производства!), циклопические проекты современных спортивных сооружений, часто «одноразовых» по использованию. Или планетарные шалости с «освоением космоса», быстро вырождающиеся в обыкновенную «гонку вооружений» в околоземном пространстве, да и вообще частично так называемая «большая наука»? Как ни суди, а накопление запасов дорогостоящего и смертоубийственного вооружения не просто грозит всеобщей гибелью, но и служит отводным каналом увода ресурсов из социокультурной сферы, что остается важной задачей для современных государств. Планета завалена запасами творческого союза науки химии и соответствующего военного производства, хотя химического оружия не применяли со времен первой мировой, слава богу! Но какие ресурсы все эти страны-государства затратили на все это, а ведь еще надо как-то от этих запасов избавиться? А высшее достижение научного гения XX века, наше родное атомное оружие, включая самовзрывающиеся атомные электростанции? А дорогие сердцу

¹⁴⁶ Арриги Д. Указ. соч. С. 303-304.

¹⁴⁷ Показательно, что при ликвидации «мутантного социализма» ликвидаторы не только быстро разобрали все «лакомые куски» в великом экономическом наследии советского государства, но и молниеносно уничтожили социальную «мелочевку» в виде государственных яслей и детских садов. А, кажется, во времена заката русского социализма в оных учреждениях потребность населения была удовлетворена полностью, чего уже не будет никогда, скорее всего.

всякого физика неустранимые ядерные отходы? Интересно узнать, сколько будет стоить человечеству столь ожидаемая специалистами по геополитике ядерная война, с кандидатами на азиатском континенте? Это мы говорим только о ресурсах применительно к госрасходам и, предполагая деяния социалистической революции, а что же можно было бы сказать о бесконечной прожорливости «праздных классов» при обыкновенном капитализме? А вечная при всех типах общества самокормящаяся бюрократия?

Поэтому о сопротивлении традиционного государства социалистическим революционным преобразованиям, даже при государственной форме собственности, забывать не резон. Ну, а капиталистическое государство продолжает без стеснения обслуживать «финансово-промышленную элиту», что последний раз было наглядно всем продемонстрировано практикой спасения проворовавшейся банковской системы в ходе очередного банального экономического кризиса.

О материальном производстве

Относительно полное удовлетворение потребностей людей должно стать главной отличительной чертой социалистических обществ, а для этого предполагаются глубинные изменения в структурах и деятельности государств, мы об этом сказали. Революционный потенциал проектов, совпадающих с указанным направлением праксиса, бесконечно «сильнее» политических революционных «карнавалов» с оркестрами, знаменами и неотъемлемыми от оных провокациями, о чем тоже уже сказано. Но как подобный проект предъявить истории?

Мне кажется, что к проблеме можно подойти и с другой стороны. Каким следует видеть основу всех основ, материальное производство и людей, в нем занятых? Отчего-то не верится, что на нынешнем уровне развития производства и стандартов человеческой трудовой деятельности возможен переход к бесклассовому обществу с прочными коммунистическими характеристиками. Все-таки пролетарий, даже на обобществленном производстве, остается пролетарием еще и по типу трудовой деятельности, а не только в экономическом смысле, «по зарплате». Это не значит, что речь идет о тяжелом физическом труде, как

в XIX в., хотя и такого труда в мире еще предостаточно. Но то, что экономически принудительный труд во все времена соотнесен и родственен с непривилегированными, анти-творческими (репродуктивными!) видами трудовой деятельности, это – факт. Труд не-творческий, репродуктивный в принципе коррелятивен труду экономически принудительному. Напомним, что даже люди «непроизводительного труда», от так называемого высшего среднего класса до низкооплачиваемых тружеников образования и культуры, в экономическом смысле суть те же пролетарии, чтобы там ни писали наши коллеги-продажные идеологи о человеческом капитале и ренте с интеллекта и т.п. И в их труде значительная доля или часть экономически принудительного труда имеет содержательно смысл далеко не творческий, репродуктивный. Достаточно вспомнить замученных преподавательской «нагрузкой» тружеников «фабрик образования», как назвал это Маркс. Да и в принципе образовательные учреждения, до университетов включительно, не суть ли образцовые капиталистические комбинаты, с массой качеств, роднящих их с обычными конвейерными цехами или любимыми Фуко местами, где легко безнаказанно «надзирать и наказывать»?

Отмена «рабочего-пролетария» не только в экономическом, но и прямом материальном смысле возможна лишь как ликвидация современного промышленного и сельскохозяйственного производства (как минимум) и замена их менее «тяжкими», менее отупляющими видами труда. Здесь следует заметить, что развитие всяческого производства во все времена было подчинено целям наивысшей эффективности (понимаемой по-разному в различные эпохи), а о «рабочей силе» заботились в той степени, в какой это требовалось ради той же эффективности. Об облегчении «тяжести труда» вспоминали в последнюю очередь, такой цели в производстве никогда и не ставилось. Кстати добавить, что вечно искомая и желанная растущая производительность труда отнюдь не напрямую связана с его облегчением, хотя бывает и так. Великие тейлоровские конвейеры прекрасно иллюстрируют отсутствие здесь прямой связи – производительность выросла многократно, а труд на конвейере остается одним из наиболее тяжелых и антигуманных в истории. Вовсе не забавно при таких

обстоятельствах выглядят рассуждения о самоуправлении рабочими=пролетариями подобным производством как продвижением к социалистически-коммунистическому самоуправлению, как шансом свободы. Если труд столь антигуманно организован, даже античеловечен содержательно, то не слишком ли большое поощрение предпринимателям, если рабочие и организацию подобного производства возьмут на себя?

И далее. Продолжительность трудового дня, хочешь – не хочешь, нуждается в резком сокращении, это на первых порах, первые шажочки социалистической революции, кои должно бы делать уже сейчас. *В принципе рабочий день как норма должен быть отменен, стать частным делом трудящегося человека.* В терминах современного буржуазного сознания можно сказать, что право на свободное определение своего трудового дня по продолжительности должно стать одним из основополагающих социальных прав человека, аналогично древним буржуазным правам типа свободы совести или права на частную собственность. Правда, признание социальных прав человека еще не имеет столь же полной всеобщности, как у политических прав человека, но это дело времени, признают, никуда не денутся. И тут мы опять стоим перед весьма революционным «скачком» в жалком человеческом общежитии. Что же, неужели «простые труженики» будут определять, когда и сколько им работать?

Для современных условий, с «трудовой дисциплиной», с необходимостью «мотивации к труду», армиями рьяных управленцев и надсмотрщиков, да и с самой фабрично-заводской системой как таковой наше утверждение звучит как минимум экзотично. Тут многое можно было бы сказать, но достаточно вспомнить о трудовой свободе в так называемых «свободных профессиях». Пожалуйста, попробуйте принудить к восьмичасовому и контролируемому рабочему дню поэта или композитора, что они вам напишут? Ограниченное восьмью часами «экономическое рабство» принадлежит к победам и заслугам пролетариев XIX века, когда его сравнивали с вдвое большей продолжительностью рабочего дня (или почти вдвое!) в общепринятой людоедской практике тогдашнего капиталистического хозяйствования. Какая была борьба, стоит еще раз посмотреть соответствующие главы в «Капитале»! Напомним, что именно в связи

с этими двумя факторами (тяжесть труда и его продолжительность) Маркс писал в свое время о непосредственной угрозе физического существования рабочих, а также о необходимости общего законодательного закрепления более гуманных условий труда, что делает необходимым политическое действие организованных пролетариев, (тред-юнионистское движение и соответствующие политические партии). Он считал, что без придания нормальным условиям труда статуса закона капитал никогда на такие жертвы не пойдет, а наемный работник в экономическом смысле всегда слабее своего работодателя и обречен на поражение. Также напомним, что государство, исторически впервые заявившее претензию сделаться социалистическим, среди своих первых декретов имеет декрет о введении восьмичасового рабочего дня, об отпусках и т.д. Но к XXI в. эта норма устарела по многим параметрам, прежде всего – по гуманитарным, людям необходимо свободное время для индивидуального развития.

К тому же в реальности приравнивание продолжительности нормального трудового дня к восьми часам служит для формальной идентификации любого труда с фабрично-заводским. Это нужно для подгонки любых форм наемного труда к пролетарскому труду, а организаций и учреждений – к форме фабрики или чего-то вроде нее. При этом, конечно, вполне разумны и действуют традиции, зафиксированные Фуко, состоящие в росте и увеличении всяческих механизмов управления, подавлении, контроля и тому подобное. Иррациональность данной практики особенно сильно проявляется в так называемых творческих коллективах и профессиях, где свободное творческое проявление личности всячески «контролируют», административно нормируют и ранжируют, усиливая и так присутствующий компонент зависимости наемного работника от менеджмента и работодателя. В свое время даже дисциплинированного «совка» удивлял конвейерный порядок работы сценаристов в Голливуде – рабочее место, машинка пишущая, нормы страниц в день, две или три недели на сценарий или что-то похожее. Конечно, количество итоговой продукции этого киноконцерна и требовало чего-то подобного, но ведь в подобных условиях работал (правда, недолго) великий Фолкнер, и не один он из тех, кем эта несчастная страна могла бы гордиться.

Дело социалистов и их возможной революции – преобразование этой трудовой и организационной архаики в интересах тех, кто трудится не ради куска хлеба, для них фабричные порядки всегда были тягостны. Но кому они были в радость?

Пути к этому различны, упомянем один самый известный, а именно – всемерную механизацию труда, замену человека-работника «машиной», вывод человека из большинства рутинных производственных процессов. Вспомним о «мукомолках», любимый пример Маркса из стихотворения Антипатра. Они могут отдохнуть, поскольку изобретена водяная мельница для размалывания зерна. Маркс упоминает об античном отношении к облегчению труда неоднократно, ибо там еще нет культа максимальной наживы на максимальном по времени чужом труде, раб – тоже имущество, его нужно как-то и беречь. Античный поэт видит в техническом оснащении возможность освобождения человека: «Дайте рукам отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите, хоть бы про близкий рассвет громко петух голосил».¹⁴⁸ Современным «мукомолкам», хоть физического, хоть умственного труда, нет необходимости переводить возникающее свободное время исключительно в отдых, у них есть возможности самых разнообразных занятий, даже бузгалинская «креатосфера». Но бесконечную во времени историческую социальную подлость, когда труд занимает время одних, а досуг – других, социалистическая революция должна устранить в первую очередь, причем, не за счет распространения современных трудовых повинностей на всех без исключения, как хотелось бы по стандартам пролетарской справедливости или по мнению крестьянского заступника графа Толстого. Иными словами, человек должен быть волен трудиться или нет, и выбирать, как ему трудиться и сколько. И уж точно не следует людям работать ради того, чтобы корыстолюбивые «обогатившиеся меньшинства» проедали значительные доли мирового продукта, не давая человечеству ничего взамен. Хотелось бы добавить, что у А.Бадью, кроме всего прочего, (вроде рассуждений о «Двоице», матеме и «веке поэтов»), есть и вполне разумное эмпирическое наблюдение, с которым нельзя не солидаризироваться. Бадью считает, что хва-

лы и порицания современной технике как таковой излишни, ибо техника слаба и мало развита, ее людям не хватает, ее влияние на жизнь людей недостаточно именно в позитивном смысле, а ее связь с наукой мало проявляется и реализуется. Как же не вспомнить марксово наблюдение о техническом прогрессе как производной от потребностей войны и «человекоубойной промышленности», что, конечно, перекрывает направления технического развития в сторону гуманно-гуманитарную, что включает в себя и облегчение труда и жизни бедным «мукомолкам», коих пока большинство в человечестве.

Проект Просвещения

Материальная сторона социалистической революции, некоторые стороны которой мы рассмотрели, наиболее важна. Но, возможно, не менее существенно все то, что относится к областям образования, культуры, к Просвещению в целом. Я бы сказал, что все это можно, хотя и с натяжкой, назвать проектом Просвещения и считать областью, требующей революционных позитивных преобразований. Причем, прежде всего в практическом смысле. Если речь идет о значительном сокращении времени принудительного труда и увеличении свободного времени вместе с полным удовлетворением по крайней мере базовых потребностей людей, то должны же как-то модифицироваться и все эти три компонента, и их взаимоотношения? Маркс не раз замечал, что в «новом обществе» должно принципиально измениться не только соотношение рабочего дня и досуга, но и сам характер оных как таковой. Уже сейчас интеграция науки с материальным производством, новые технологии и прочее, позволяющее казенному энтузиазму говорить о «постиндустриализме», меняет в некоторой степени саму фигуру, персонаж работника, его социальную роль. Об этом процессе и его социалистических перспективах много и разумно написано А. Бузгалиным и А. Колгановым, включительно до анализа инновационных типов эксплуатации этого самого персонажа, работника нового типа, труженика несколько комичной «креативной сферы».¹⁴⁹

¹⁴⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М. 1955. Т. 23. С. 419.

¹⁴⁹ Бузгалин А.В., Колганов А.И. Эксплуатация XXI века // Свободная мысль. 2012. № 7-8, 9-10.

Возможность в просвещении «стать с веком наравне» становится вполне реальной и практической, когда у людей отсутствует принудительный труд, сейчас еще съедающий большую часть жизни, и присутствует полная обеспеченность реализации их «базовых потребностей», *элиминирующая стимулы к обогащению*, повторим это еще раз. (При этом мы не стараемся уточнять само понятие «просвещения» со всеми сопутствующими оному дискуссиями, слишком неблагоприятное это дело).

Отметим, что в негативных формах некое движение к Просвещению уже имеется в мире, что мы видим в неуклонном росте системы высшего образования, охвате оным большинства в подрастающих популяциях. Непосредственные причины такого роста не имеют прямого отношения ни к идеологии Просвещения, ни к гуманистическим традициям, но это неважно. Можно назвать данный процесс профанным, нищенским Просвещением, это не обидно. Важно, что степень образованности, пусть частичной и ограниченной, все же зримо растет, и, по-видимому, этот рост будет продолжаться и впредь. Повторяем, если же людям не нужно будет мучиться над удовлетворением своих «базовых потребностей» посредством принудительного труда, да еще при наличии значительного свободного времени, не есть ли это достаточные условия для начала практической реализации проекта Просвещения? Исторически это уже просится на свет, но кому-то, видимо, страшно, как же обойтись властью имущим без «молчаливого большинства»? Как управляться с образованным и относительно независимым населением? Могут пропасть все усилия по возвращению «одномерных поколений», внушавших такое отвращение Герберту Маркузе, и не только ему.

Конечно, исторически первичный вариант Просвещения был весьма уязвим для последовавшей в XX в. злобной ангажированной критики, которой все еще не видно конца. И это понятно, поскольку не только Маркс, но и теоретики масштаба Хоркхаймера и Адорно прекрасно понимали, что «взросление» людей в кантовском смысле подразумевает не какое-то абстрактное, а чисто буржуазное просвещение, где принцип полезности означает эгоистически-прагматическое отношение к людям и природе. Просвещенный, «повзрослевший»

индивид Канта в практике не только отрицает нравы и порядки предшествующей эпохи (феодализм, предмодерн, религиозный фанатизм и т.п.), но и на современные и последующие поколения смотрит как на внешние ограничители своей эгоистической активности. Он и сейчас ничуть не изменился, ибо царство его не кончилось, к сожалению. Но с предположением социалистических преобразований, о Просвещении можно будет говорить уже в других, некантовских координатах.

Как бы ни старались люди определенного типа справлять «поминки по Просвещению», в реальной жизни человечество страдает не от избытка, а от недостатка просвещенности в прямом смысле этого слова. Причем не только в интеллектуальном или моральном плане, но и в смысле практических «институтов просвещения», которые при количественном росте пока еще часто не имеют полного морального права считать себя таковыми. Но, с другой стороны, кто же сумеет доказать, что самые страшные заведения с дисциплинарным террором-контролем, вроде столь любимых Фуко психиатрических лечебниц, тюрем и школ: а) обществу не нужны; и б) не способны к должным преобразованиям? Все-таки перевод большей части государственных ресурсов в социальную сферу даст прямой импульс к развитию учреждений образования, здравоохранения и культуры, ныне в мире прозябающих, невзирая на все рейтинги и добродетельную благотворительность. Я уж не упоминаю о множестве всевозможных «детищ свободного времени», новые организационные формы которых появляются чуть ли не ежедневно, и которые хотя бы частично (вроде спортивных видов самодеятельности людей или различных забав в Интернете), связаны с основными смыслами просвещенческого праксиса? Однобокость, ущербность развития индивидов в условиях прогресса тоже частичной, пусть и относительно свободной досуговой деятельности пока неизбежна. Особенно это очевидно применительно к области так называемой «молодежной культуры», подверженной всем соблазнам того, что Адорно и Хоркхаймер называли «культуриндустрией». Однако тенденция к некоторой универсализации человеческого развития тоже уже в мире присутствует.

Мне думается, что потенциал практического, доступного большинству Просвещения, собственно, еще не начал сознательно реализовываться, процесс пока стихийный и не защищенный от экономических и социальных коллизий Современности. Нет достаточных условий, масса искусственных и злонамеренных препятствий. Более того, в условиях буржуазного типа общественного устройства просвещенческий праксис личностно не осуществим, либо осуществим ограниченно, так как недоступен трудящемуся восемь часов человеку, труд коего сурово определен предметно и функционально в системе социального разделения труда. Это касается во многом и тружеников «умственного труда», так называемых интеллектуалов, которым также доступны большей частью варианты «хобби» или «культурного досуга», часто предельно примитивного, вроде футбольного «фанатизма». Дело тут не в издержках разделения труда, а в общей придавленности принуждением к труду, отнимающего у индивида возможность разумного личностного развития. Об этом вполне объективно писал Маркс еще в «Немецкой идеологии», когда рассматривал типовой образ жизни «берлинского идеолога» со всеми его экзистенциальными ограничениями.¹⁵⁰

Если задуматься о будущей практической реализации проекта Просвещения, что является необходимой частью революционных преобразований социалистического типа, то очевидно, что огромный и плохо заметный в настоящее время ее потенциал наличествует в возможностях культурного, интеллектуального и творческого развития людей, ныне этих возможностей лишенных. Существующая при капитализме система образования настроена на сохранение господствующего социального неравенства и в интеллектуальной сфере, а «массовая культура» оттого и массовая, чтобы блокировать этим массам выход в сферу культуры подлинной, «высокой», требующей подготовки и обучения даже для простого зрительского восприятия. Прилагаются усилия, чтобы тяга к «высокой культуре» и вовсе не возникала у социальных «низов». Все-таки орать на футбольном матче могут «массы», далекие даже от массовой культуры. А молча сидеть и слушать оперу или instrumen-

тальную музыку без подготовки хотя бы в объеме музыкальной школы затруднительно. Не говорим уже о живописи, литературе, даже киноискусстве, давно разделившемся на коммерческое (для «масс») и более элитарный артхауз – для образованных и подготовленных. Но это все разговоры о восприятии, о культуре потребления, а творческий потенциал предполагает участие, реализацию собственных индивидуальных или коллективных проектов. Включение в современный бытовой обиход интернета наглядно показало, насколько творческое начало присуще людям, и, одновременно, насколько всякому творчеству необходимо всемерное развитие в виде серьезной подготовки и поддержки. В этой области социалистическое, «для всех» отношение к Просвещению должно стать составной частью той революции, о которой идет речь.

Не следует впадать в юношеское самодовольство, считать свое время (и себя родного) вершиной общественного прогресса. И не нужно экономических кризисов, чтобы этого самодовольства избежать. Вполне достаточно небольшой дозы разумного скептицизма и, одновременно, некоей веры в будущее.

Итоги

Социалистическая революция как понятие имеет смысл при соответствующих преобразованиях не столько в политическом антураже и его идеологическом оформлении, сколько в глубинных, «несущих» конструкциях социума. Речь должна идти об изменениях в: а) в материальном производстве и системе распределения; б) структуре и практике государства; в) направленности к Просвещению. При реализации указанных подходов можно говорить о процессе революционного роста индивидуальной свободы, обеспеченного минимализацией либо ликвидацией экономически-принудительного труда, значительным облегчением труда в материальном и всяком ином производстве, увеличением внеуродового времени жизни индивидов и приближением человека к «царству культуры», о котором столь выразительно пишут наши теоретики.

Достаточно ли высказанного, чтобы очертить поле социальных преобразований,

¹⁵⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 253-254.

удовлетворяющих представлениям о начале «перехода» от стандартного капитализма (во всех его разновидностях) к бесклассовому обществу? Мне кажется, что удалось слегка «отщипнуть» небольшой кусочек от этого поля. Но с чего-то надо начинать, если опыт русского социализма в XX в. не считать закрытием темы. Конечно, перспективы социализма именно на нашей милой Родине кажутся мне более чем сомнительными. Но мир велик, а время идет, и надежды на очеловечивание бесчеловечных нравов, принятых как норма в Современности (с большой либеральной буквы!) не следует оставлять.

И последнее. Нередко неудачи первых социалистических экспериментов пробовали объяснять тем, что главным «строителем социализма» выступало государство, тяж-

кой лапой придавливавшее всяческую общественную инициативу внутри страны и недостаточно защищавшее от внешнего капиталистического давления. Действительно, государство, сохраняющее почти всю свою тысячелетнюю архаику, плохой исполнитель для столь инновационных исторических задач. Перенастройка государственного механизма «под» движение к бесклассовому обществу необходима, а это означает и потребность в определенном времени, что сопряжено и с политическими усилиями, которые еще трудно представить точнее. Во всяком случае, в одной стране или нескольких, или в некоем регионе планеты, но условия, соответствующие задачам социалистической революции могут, да и должны как-то складываться. Что же, можно и подождать.

Глава IV. Реквием по революции

С. Г. Ильинская

*Есть у революции начало,
Нет у революции конца...
(Ю.С. Каменецкий)*

Революция — коренное, смыслообразующее понятие для многих современных государств на всех континентах. Апологетика революции была свойственна и нашей стране (Великий Октябрь!), получила новый импульс в связи с освободительными антиколониальными движениями после Второй мировой войны. Эта апологетика, в полном соответствии с эпиграфом, была искусно подхвачена и использована для легитимации «бархатных революций» 1989–1991 гг., затем трансформировалась в концепт «цветных революций». Много вопросов возникает, если всерьез задуматься, были ли революциями «театральные»¹⁵¹ бунты «померанцев», «роз» и «тюльпанов», немало сомнений у меня вызывает использование этого концепта в ходе недавней «арабской весны», в отношении праворадикальных переворотов в Европе между мировыми войнами¹⁵² или в сегодняшней Украине...

Что же такое революция? Насильственное изменение существующего общественно-политического строя? Коренная ломка политических институтов, радикальный переворот, смена общественно-экономической формации? Может ли революция быть консервативной, или это контрреволюция? Возможна ли революция «сверху»? И так далее.

Чтобы не увязнуть в деталях, нюансах и тонкостях различных определений, я буду отталкиваться от общепринятого современного понимания революции как «*„легитимного“ ниспровержения существующей власти народом-сувереном*».¹⁵³ Данное определение взято из статьи Бориса Капустина,

поскольку я (как и он) сомневаюсь в возможности сформулировать единую теорию революции, несмотря на огромный пласт работ, классифицирующих те революции, что известны нам из истории, и выделяющих в них некие общие этапы. Цитируемая статья была написана как полемический отклик на коллективную монографию, целиком посвященную избранной тематике,¹⁵⁴ на нее последовал критический ответ.¹⁵⁵ Желая более подробно вникнуть в суть дискуссий по поводу содержания понятия всегда могут обратиться к этим или другим работам, в том числе включающим качественные аналитические обзоры различных теорий революции,¹⁵⁶ предлагающим критическое переосмысление термина¹⁵⁷ и т. д. Сам Капустин в качестве отправной точки своих теоретических рассуждений дефинирует революцию как «современное событие, определяемое возникновением и (последующим) исчезновением политической субъектности»,¹⁵⁸ признавая бедность и абстрактность такого понятия, дополняя его дальнейшими размышлениями о природе и сущности революции.

Мне бы хотелось поговорить о революциях именно в таком ключе (как о легитимных ниспровержениях власти суверенным народом), поскольку, на мой взгляд, начиная с исламской революции в Иране, становится затруднительно классифицировать революции только на буржуазные и социалистические, начиная с 1991 года — рассуждать о них в русле теории смены общественных формаций. Избранный мною подход сразу отсекает из рассуждений весь пласт «культурных революций» (в СССР, Китае, Иране), государственных переворотов, вроде «Славной революции» в Велико-

¹⁵¹ Куренной В. Перманентная буржуазная революция // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 258.

¹⁵² Так, в частности, Марк Неоклеус в цитируемом в работе источнике использует термин «революция», анализируя трансформации, происходившие в Гемании первой трети 20 века: революция, революция I (революция против революции), революция II (революция против революции I).

¹⁵³ Капустин Б.Г. О предмете и употреблении понятия «революция» // Критика политической философии: Избранные эссе. М. 2010. С. 151.

¹⁵⁴ Бляхер Л.Е., Межуев Б.В., Павлов А.В. (ред.) Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. СПб. 2008.

¹⁵⁵ Бляхер Л.Е. Заклинание революции, или внезапные модуляции революционной метафоры // Полития. 2010. № 2 (57).

¹⁵⁶ Как, напр., Фисун А. Политическая экономия «цветных революций»: неопатримониальная интерпретация // Прогнозис. 2006. № 3 (7).

¹⁵⁷ Напр.: В. Куренной в цитируемом источнике или Магун А. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб. 2008.

¹⁵⁸ Капустин Б.Г. Указ. соч. С. 121.

британии, а также «революций сверху», в особенности таких спорных случаев, когда в качестве революции последовательно трактуются реформы каждого советского лидера, как у Натальи Елисеевой.¹⁵⁹ Отдельные сомнения у меня остаются в отношении национально-освободительных революций и войн. Полагаю, что начиная с Нидерландской революции, они таковыми, без сомнения, являлись. Начиная с «бархатных», видимо, уже нет (об этом ниже).

Итак, в настоящей работе я попытаюсь понять, вследствие чего ниспровержение власти во время революции становится легитимным, а также объяснить, почему, с моей точки зрения, концепт революции «умер», и я расцениваю данную статью как «реквием» по нему. Каждый исследователь, рассуждая о понятии, тем не менее, держит в голове некие классические примеры, и я не исключение. Наиболее «подлинными» революциями, исходя из выбранного определения, мне представляются Великая Французская и Русская революция 1917 года. Этими примерами оперируют многие фундаментальные труды по теории революции. Релевантными случаями, кроме вышеупомянутых, считаются также Английская и Американская.¹⁶⁰ Для того чтобы доказать несоответствие современных революций классическому определению, я буду привлекать примеры совсем недавней истории: «арабской весны», «цветных революций» на постсоветском пространстве. Наибольшее внимание в данном контексте будет уделено случаю Киргизии, поскольку он концентрирует в себе «восточную» (трайбализм, клановость, исламский фактор) и постсоветскую специфику, т.е. особенности двух регионов основной локализации «цветных» революций.

Легитимность ниспровержения

Революции легитимируют «задним числом», и главное, что позволяет это сделать: общественный консенсус по поводу того, что положение дел накануне революции было нестерпимым, а восстание против

существующих порядков – справедливым. Ключевым моментом в данном вопросе является невыполнение элитой своих функций. Любое общество иерархично, социальные блага всегда распределяются неравномерно. Однако порядки, которые возникают, обычно бывают чем-то обусловлены, привилегии – оправданы.

Даже появление такого, казалось бы, вопиюще несправедливого института, как феодальная зависимость крестьян, бывшего причиной множества народных восстаний, вытекало из исторических условий и обстоятельств. Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере такой классической феодальной страны, как Франция.

На той территории, где впоследствии сложилось государство франков, галло-римские посессоры владели своими поместьями на основе римского (рабовладельческого) права. Франки – первоначально – на основе германского (родоплеменного) права коллективной собственности, от которого в очень короткое время перешли к частной собственности на землю, которую сами называли аллодом. Первые немногочисленные аллоды в виде пожалований королевским дружинникам появляются при Хлодвиге (481-511), но уже Хильперик I (561-584) издал эдикт, согласно которому все пахотные земельные наделы франкских общинников приобрели статус аллода.¹⁶¹

Формирование феодально-зависимого крестьянства во Франкском государстве происходило в два этапа. Первый этап длился около 150 лет, до начала VIII в., и затронул в первую очередь несвободные категории меровингского крестьянства. В зависимых держателей земли превращались главным образом низы галло-римского населения: рабы, вольноотпущенники и колоны. Второй этап пришелся на VIII-IX вв. и привел к феодализации свободного населения, составлявшего костяк населения галло-римских деревень и франкских сел. О том, как это происходило, дают представление широко распространенные в каролингский период престарные грамоты – документы, посредством которых земля передавалась испрашивающему ее лицу. Сама передаваемая земля называлась прекарием.

¹⁵⁹ Елисеева Н.В. Революция как реформаторская стратегия Перестройки СССР: 1985-1991 гг. // Марченко П.П., Разин С.Ю. (ред.) Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории: Сборник научных статей (к 95-летию Февраля – Октября 1917 г.). М. 2012. С. 132.

¹⁶⁰ Brinton C. The Anatomy of Revolution. N. Y. 1965.

¹⁶¹ Колесник В.И. Курс лекций по истории Западноевропейского Средневековья (V-XV вв.): учебное пособие для вузов. Элиста. 2009. С. 93.

Для значительной части свободного населения сохранение земельных владений на правах аллодиальной собственности превратилось в сложную задачу или обременительную обязанность. Наряду с прекарием данным (простой передачей земли собственнику крестьянину) стали появляться прекарий возвращенный и вознагражденный, когда один собственник дарил свой надел другому собственнику и тут же получал его обратно в качестве прекария (во втором случае с добавлением другого земельного участка). Происходил внешне добровольный отказ аллодистов от права собственности на достаточную для самостоятельного хозяйствования землю.

Условия прекарных сделок были различными. Они колебались от обязательств прекариста уплачивать незначительный чинш в несколько денариев до уплаты большого оброка и несения барщины от 3 дней до 2-3 недель в году. Прекарии передавались пожизненно или с правом передачи по наследству, обычно до третьего поколения. При этом происходило понижение социального статуса. Мотивация согласия аллодистов на превращение в прекарисов: освобождение от военной службы и уклонение от публичных обязанностей при сохранении права пользования прежними наделами. Владимир Колесник подчеркивает, что именно нежелание основной массы франков исполнять гражданские обязанности, непосредственно не связанные с их личным благосостоянием, и стремление переложить заботу о поддержании порядка и безопасности на кого угодно, чтобы освободиться для решения насущных собственных проблем, приводили к социальной деградации свободных (превращению их в феодально-зависимых) крестьян и умножению тех проблем, для решения которых они недалеко-видно уклонялись от выполнения долга свободного человека. Чему, кстати, способствовала возможность для собственника земли ухудшать условия прекария путем увеличения чинша. Неуплата же чинша в срок приводила к окончательному превращению земли прекариста в тягловый надел.¹⁶²

Грабительские набеги венгров и норманнов в X веке привели к тому, что Западную Европу охватил процесс строительства замков, приведший к становлению банальной (от германского «бан», право приказыв-

вать) сеньории. Она представляла собой округ, в пределах которого сеньор обладал целым комплексом военно-политических и судебно-административных прав. Население округа, даже если оно не находилось в поземельной зависимости от сеньора, было обязано в его пользу различными повинностями и платежами. Произошло выделение новой военно-служилой прослойки – рыцарства, оформление фьефно-вассальной иерархии, а также унификация социального статуса крестьян разного происхождения вследствие их общей зависимости от обладателей бана. В западной средневековой историографии этот процесс трактуется как кардинальный общественный перелом под названием «феодалная революция».¹⁶³

В различных государствах Европы (а тем более, в России) процесс утраты личной свободы крестьянства имел свои особенности, но в целом был обусловлен «разделением труда» (когда одно сословие профессионально воюет, а другое – его кормит), а также неспособностью государств эпохи феодальной раздробленности защитить своих подданных. Этот порядок утрачивает легитимность с развитием торговли и ремесел, в целом товарно-денежных отношений. Оброк и обязательные службы имели естественные пределы эксплуатации, поскольку натуральные продукты быстро портились. Сеньор и его дружинники в таких условиях отличаются от простолюдина, главным образом, количеством потребляемых продуктов питания. Изменение качества жизни элитных слоев общества ведет к коммутации ренты – замене натурального оброка и отработочных повинностей денежными платежами, вследствие чего на плечи крестьян ложится не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее реализация. Главным достоинством еды для элиты становится не обилие, а изысканность, одежда и предметы домашнего обихода становятся все более роскошными. Окончательная делегитимация феодальной зависимости происходит по мере того, как ширится уклонение дворянства от военной службы. Это касается как европейских государств, так и Российской империи. Манифест о вольности дворянской Петра III породил смутные ожидания российского крестьянства, также надеявшегося на волю. Обманутые надежды вылились в массовые крестьянские выступления.

¹⁶² Там же. С. 96-98.

¹⁶³ Там же. С. 114-115.

Такие выступления лихорадили и Европу, несмотря на то, что процесс личного освобождения крестьян там постепенно происходил. В XVI веке основная масса французского крестьянства уже была представлена цензитариями – лично свободными, обладавшими цензивой (земельным наделом на наследственном, близком к собственническому праву), которые выплачивали своим сеньорам фиксированную ренту (ценз). Им благоприятствовала рыночная конъюнктура роста спроса и цен на сельскохозяйственную продукцию, но постоянно возраставшие (в отличие от фиксированных феодальных рент) государственные налоги, нивелировали эту тенденцию.¹⁶⁴ В России зависимость формально несвободных крестьян фактически свелась к денежной ренте только при Николае I.

Рост денежной ренты, огораживания общинных земель со стороны землевладельцев, увеличение налогового гнета постепенно централизующегося государства, войны, неурожаи и эпидемии, – в истории причин для крестьянских восстаний всегда хватало. Значимой из них было также личное освобождение крестьян при сохранении права собственности на землю за дворянством (копигольдеры в Англии¹⁶⁵, освобожденные в 1861 году крепостные в России¹⁶⁶). Такое раскрепощение вкупе с юридическим закреплением земли (на которой крестьяне много поколений трудились) за бывшим господином, позволяло собственнику освободить землю от крестьян, если представится возможность ее более выгодного использования, что воспринималось крестьянами как чудовищная несправедливость.

Аналогичная ситуация обстоит и с третьим сословием. Постепенная утрата буржуазией черт прогрессивного производственного класса и приобретение черт класса паразитирующего (финансовая буржуазия) неотвратимо ведет к легитимации антибуржуазных революций. Такая революция не случайно впервые произошла в России, сра-

зу же вслед за буржуазной, несмотря на неразвитость капиталистических отношений, малочисленность пролетариата и т.д. Русский капиталист был паразитом вдвойне из-за сращивания с государством, потому что богател не в «честной» конкурентной борьбе, а благодаря доступу к государственным деньгам, «жирел» на фронтовых поставках и т.д. Октябрь 1917 года состоялся вслед за Февралем по разным причинам: это и наличие реальных практически неразрешимых проблем, и беспомощность Временного правительства. Власть в этот момент действительно «валялась под ногами». Однако удержать эту власть, не получив поддержку со стороны крестьянства – основной массы населения огромной страны – было невозможно.

По мнению Владимира Бабашкина в течение 40 лет после отмены крепостного права российские помещики окончательно утратили в глазах крестьян моральное право владеть землей. Это произошло из-за их самоустранения из системы «моральной экономики», развития товарно-денежных отношений и вторжения рынка в земельные отношения (что вступало в резкое противоречие с крестьянским здравым смыслом: земля – божья и тех, кто ее обрабатывает).¹⁶⁷

Вот как описывает структуру «моральной экономики» в патримониальном российском государстве Дмитрий Люкшин. Крестьянские «беспорядки» и мелкие незаконные акты (порубки, потравы и т.п.) он трактует как систему сигналов о нарушении прав общинников и «приглашение к диалогу». «Начальство» в ответ прибегало к аргументам военно-полицейского характера, однако применение подобных мер носило чаще всего демонстрационный характер, а в запасе имелся и набор уступок.¹⁶⁸

Главные чаяния российских крестьян были четко сформулированы еще в 1905 году делегатами Всероссийского крестьянского союза, а затем неоднократно повторялись в виде наказов депутатам I и II Государственной Думы: «вся земля должна принадлежать крестьянам на началах уравнительного общинного владения; чиновничество

¹⁶⁴ Там же. С. 182.

¹⁶⁵ Фригольдеры – значительная, но гораздо меньшая по численности, чем копигольдеры, категория английского крестьянства – были подобны французским цензитариям.

¹⁶⁶ В российском случае крестьяне формально освобождались с землей, стоимость которой должны были выплатить землевладельцам. Несмотря на ссуды, субсидии, а также то, что выплату значительной части стоимости брала на себя казна, многие крестьяне в результате этой реформы превратились в безнадежных должников, а большая часть земли была сконцентрирована у дворян.

¹⁶⁷ Бабашкин В.В. Два большевизма, или место Октября в Русской революции // Марченко П.П., Разин С.Ю. (ред.) Россия и революция... С. 53.

¹⁶⁸ Люкшин Д.И. Деревня Семнадцатого года: сотворение периферии // Марченко П.П., Разин С.Ю. (ред.) Россия и революция... С. 183.

всех уровней должно быть выборным на основе всеобщего избирательного права; органы местной власти должны на основе центрального финансирования и самофинансирования располагать широкими полномочиями в земельном вопросе, сфере образования и здравоохранения».¹⁶⁹

После Февральской революции Временное правительство ликвидировало корпус жандармов, департамент полиции и институты полицейского сыска. Незаконные акты (в том числе черный передел земли, который шел по всей стране полным ходом) стали оставаться без последствий, благодаря чему считались как бы санкционированными властью. Крестьяне не спеша поделили землю, в том числе с помощью органов местного самоуправления, а большевики только узаконили этот процесс декретом «О земле».

В заключение данного параграфа хочу поставить вопрос о легитимации в общественном сознании той трансформации нашего государства 1991 года, что нередко называется «либерально-демократической» революцией.¹⁷⁰ Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что с принятием и оправданием этого процесса в общественном сознании существуют большие проблемы. Либерализация экономики проходила на фоне разоблачения неэффективности плановой. Другим катализатором недовольства были преференции советской элиты. Сегодня эти аргументы уже не кажутся основательными на фоне сращивания бизнеса с государством, которое, начавшись с раздачи государственной собственности за государственные деньги (залоговые аукционы), продолжается до сих пор в виде различных мер господдержки (средства, потраченные на «спасение банков» на волне финансового кризиса 2008-2009 года, большей частью так и не дошли до реального сектора и т.п.), массового вывоза предпринимателями капитала за рубеж или его траты на предметы роскоши вместо инвестиций в обновление производства и т.д. Однако в тот момент (1989-1991 гг.) смешные по нынешним временам привилегии советской элиты действительно до крайности возмущали народ. Ибо преференции партийных работников были справедливы

лишь до тех пор, пока они действительно «сгорали на работе» и могли в любую минуту поплатиться за недолжное исполнение своих обязанностей жизнью или тюремным сроком.

Итак, главное, что делает ниспровержение существующей власти легитимным, – это то, что привилегированный класс перестает выполнять свои функции в обществе. Иногда последующие события показывают, что на самом деле предреволюционная ситуация была отнюдь не критической, при этом ключевым является не действительное положение дел, а общая убежденность в «незаслуженной» элитарности тех, кто обладает привилегиями.

Причем по мере удаления во времени от первых современных революционных «образцов» этот тренд усиливается, а «внешнее» участие и раскачивание ситуации становится все более очевидным. Последнее подтверждают и теоретики революции, именую такое влияние «международным давлением».¹⁷¹

Революция как ценность

Замечание Бориса Капустина о том, что невозможно анализировать понятие революции в отрыве от категории свободы, мне представляется совершенно справедливым.¹⁷² Однако, свобода – ключевая ценность западного общества, и отнюдь не является таковой в иных, нелиберальных культурах. Особенно выпукло трагедия ценностного разрыва видна на примере «арабской весны», хотя просматривается и в иных ситуациях (в том числе в многострадальном российском обществе). Кроме того, причиной современных революций, нередко, становится не отсутствие, а обилие свободы и определенный уровень сытости.

Накануне «арабской весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке не было экономической стагнации, экономики большинства арабских стран развивались динамичными темпами (особенно в сопоставлении со странами Запада). Доля населения, живущего в крайней бедности, была чрезвычайно мала и вполне сопоставима с соответствующей долей таких стран как Эстония или Словения. Даже в беднейшем государстве региона – Йемене – уровень крайней

¹⁶⁹ Бабашкин В.В. Указ. соч. С. 45-46.

¹⁷⁰ Виталий Куренной в цитируемом источнике называет ее «контрреволюцией».

¹⁷¹ Фисун А. Указ. соч. С. 220.

¹⁷² Капустин Б.Г. Указ. соч. С. 147-148.

нищеты накануне «арабской весны» был сопоставим с таковым в КНР и почти в три раза ниже, чем в Индии. Не было и голода: по нормам потребления практически все арабские страны (за исключением Йемена) уже давно вышли на уровень переизбытка. Социально-экономическое неравенство по меркам третьего мира также не было вопиющим. Нельзя винить в случившемся и высокий уровень коррупции. Первой жертвой «арабской весны» стал Тунис, который накануне революции был даже несколько менее коррумпирован, чем Италия. Уровень безработицы также был не слишком высок и имел тенденцию к снижению. В Египте он был даже несколько ниже, чем в США и ЕС. Однако умеренный уровень общей безработицы сочетался с катастрофически высоким уровнем безработицы в молодежной среде.

Падение детской смертности в арабском мире в 1970-1990-е годы вкупе с запоздалым снижением рождаемости привело к резкому росту в составе взрослого населения доли молодежи, которая, как известно, является главной движущей силой революционных движений. Немаловажную роль сыграли также высокий уровень образования арабской молодежи, ее концентрация в столицах, активное общение в социальных Интернет-сетях, стремление жить по западным стандартам и вера в западные ценности. Это причудливое сочетание, с одной стороны, усвоения западных ценностей: свобода, демократия, права человека, а с другой стороны – подчеркнуто арабская и исламская идентичность, – породило такие же причудливые последствия. Хотя, разумеется, успех антиправительственных выступлений в Тунисе, Египте и Ливии, а также отставка Али Абдаллы Салеха в Йемене не были бы возможны без явного конфликта внутри правящих элит; разрушение цветущего ливийского государства и провокация гражданской войны в Сирии – без явной или слегка закамуфлированной внешней военной поддержки повстанцев.

Итоги «арабской весны» таковы, что она скорее усугубила ситуацию в регионе, нежели решила задачи, стоящие на повестке дня. Главным результатом стала исламизация социально-политической жизни региона вполне демократическим путем, возврат к традиционному племенному укладу (особенно это касается Ливии), угроза территориальной целостности ряда арабских государств (кроме Ливии, это Сирия и Йемен),

экономическая стагнация, усугубление ситуации с безработицей, вооруженные конфликты. Выяснилось, что такой локомотив арабских экономик, как туризм, мог процветать только при определенной «жесткости» и светскости египетского и тунисского режимов. Главное завоевание – отстранение от власти наиболее коррумпированных кланов – на общем фоне социально-экономических проблем, местами доходящих до уровня гуманитарной катастрофы, выглядит не очень значительным. Все это неминуемо должно привести к радикализации политической жизни арабских государств, которых коснулась «весна». Перед умеренными исламистами в новых правительствах стоят поистине неподъемные задачи, решить которые в краткосрочном периоде им вряд ли удастся. Это приведет к поляризации населения: часть общества будет требовать более последовательной исламизации, часть – захочет возврата к светским государственным проектам. Скорее всего, альтернативой радикальным исламистам являются в сложившейся ситуации лишь военные диктатуры и авторитарные режимы. О демократизации региона в ближайшем будущем говорить вряд ли придется, а вот завоевания последних десятилетий уже потеряны.¹⁷³

Причем, как показали последующие события, постреволюционная радикализация политической жизни имеет отношение не только к Востоку. Очередная революция на Украине привела к установлению там фашистского режима и гражданской войне и заставила вспомнить очевидное, хорошо известное нам из истории.

Первое. Революция – это кровь.

Практически всегда. И неисчислимые бедствия. Поскольку в ходе нее разрушаются существующие государственно-политические институты с тем, чтобы создать новый порядок. Однако прежде чем начнут работать новые структуры власти, наступает хаос. Устанавливать новый порядок приходится путем террора, репрессий, ценой гражданской войны... Более того, не факт, что он вообще установится. Как справедливо замечает Владлен Логинов «великая историческая заслуга» большевиков заключается в том, что им удалось

¹⁷³ Эксперт. Специальный выпуск журнала: Смогут ли исламисты провести модернизацию Ближнего Востока? 2012. № 30-31 (813). 30 июля – 12 августа.

«собрать уже развалившуюся по частям страну».¹⁷⁴ Я бы еще добавила, что это большая историческая случайность, для реализации которой понадобилось немало далеко не гуманных средств. На самом деле «бархатных» революций, как правило, не бывает! Якобы «мирный развод» советских республик вылился в гражданскую войну в Таджикистане, грузино-абхазскую и грузино-юго-осетинскую войны, Нагорный Карабах, Приднестровье, Чечню, теперь вот – Украину. Югославия трансформировалась в национальные европейские государства ценой кровопролитной войны при активных внешних бомбардировках.

Ливия накануне «арабской весны» была одним из самых удачных арабских проектов. Ливийцы получали серьезные пособия от государства, могли идти работать, учиться, строить жизнь. Желание обрести политические свободы (а возможны ли они в стране, раздираемой шейхами?!) привело к тому, что сегодня они получили развалившееся государство, исчезновение всяких пособий и субсидий, отсутствие законов и порядка. Центральное правительство не имеет реальной власти, в стране идет война городов, племенные ополчения ведут между собой бои за еще не разрушенные активы.¹⁷⁵

Второе. Революция пожирает своих детей (Дантон).

Трагедия революционно настроенной русской интеллигенции, которой пришлось погибнуть или покинуть родину, первых большевиков, многие из которых были репрессированы, к сожалению, не была усвоена российскими протестными группами на Болотной площади. По сути дела – сытыми бездельниками, которые не знают, что такое в действительности работать. Просиживающими штаны и юбки в офисах, треплющимися в Интернете. Теми, кто за совершенно никчемную деятельность, вроде пиара и прочего «креатива», получает сумасшедшие зарплаты, не представляет того, как на самом деле живет остальная страна, и не понимает, что в случае падения режима они будут первыми, кому придется испытать чашу народного гнева, как прислужникам режима. Не считая того, что всякая революция выносит на поверхность много

человеческого мусора, а то и откровенно криминальных элементов. Рано или поздно новому правительству приходится наводить порядок отнюдь не либерально-правовыми методами. Страдают нередко и невинные люди, которые искренне стремились к свободе, не понимая, что если свершится подлинная революция – им, скорее всего, придется погибнуть, эмигрировать, в лучшем случае – одеть ватник и отправиться на лесоповал.

Третье. Чужие ценности + родная почва = ?

В незападном мире есть реальные проблемы (и немало!), есть и недовольство масс, есть и борьба кланов, которые эти массы рекрутируют. Но решающую роль играет уже не незаслуженная элитарность элиты, а внешнее давление, даже если оно проявляется только в насаждении западных ценностей в незападном обществе.

Восточные политики, идущие на поводу у Запада, в таком случае становятся заложниками ситуации, как это было с иранским шахом Мохаммедом Реза Пехлеви во время Исламской революции 1979 года. Одной из главных причин народного недовольства шахом была его прозападная политика. Но западные ценности (главная из которых – свобода) не позволили развитым демократиям (прежде всего, США) прийти на помощь своему союзнику, когда его смела волна народного гнева.

Опасность возвеличивания революции заключается в том, что свобода, которая, безусловно, ценность, все-таки ценность не безусловная. Свержение даже довольно мягких и социально-ориентированных восточных авторитаризмов происходит под лозунгом нарушения прав человека. Но когда некоторая политическая несвобода при относительно социально-экономическом благополучии (а в Ливии – так довольно высоко) сменяется анархией, произволом командиров бандформирований, прочими бедами и жестокостями гражданской войны... Или не только гражданской, а с добавлением внешних бомбардировок, как это было в Афганистане, Югославии, Ираке, Ливии, Сирии... В этой ситуации на первый план выходят такие ценности как жизнь, государство. В российской истории не случайно ценность государства всегда была крайне высока – это был единственный способ сохранения жизни. На фоне таких

¹⁷⁴ Логинов В.Т. Анатомия революции // Прогнозы и стратегии. 2008–2009. № 1. С. 225.

¹⁷⁵ Эксперт.

размышлений возрастает роль «неудавшихся» революций, подобных «Весне народов» 1848-1849 годов (когда институты не разрушены, а те реформы, которые назрели в обществе, в дальнейшем проведены правящим классом).¹⁷⁶

Четвертое. Архаизация постреволюционного общества.

Ранние революции, как правило, были связаны с реформацией религиозного сознания (Нидерланды, Великобритания). Церковь в этих случаях разрушалась как институт государства и возникала как институт гражданского общества. Последующие революции практиковали секуляризацию общественной жизни (Франция, Россия). И вакуум, образовавшийся после «ухода» церкви, заполнял мистицизм.

Как отмечает Владислав Аксенов, в условиях ликвидации цензурных ограничений между революциями 1917 года, произошла мистификация общественного сознания, которая вылилась в распространение демонизма, мистических сюжетов и сатанинской тематики. Русская революция и связанный с ней религиозный кризис объективно способствовали росту оккультных обществ. В печати появилось огромное количество рекламы и адресов хиромантов, гадалок, целителей и проч.¹⁷⁷ Аналогичный процесс российское общество пережило в 1990-е годы, после отмены коммунистической идеологии, выполнявшей некоторое время роль светской религии в нашей стране. Преодолеть огульную хиромантию, поставить хоть какой-то заслон западным и восточным тоталитарным сектам удалось только с помощью укрепления позиций традиционных конфессий.

Поражение в Первой мировой войне, разочарование в итогах революции 1918-1919 года привело к появлению в интеллектуальной сфере Германии такого идейно-политического движения, как «консервативная революция» (А. Меллер ванн ден Брук, Э. Юнг, Х. Фрейер, К. Шмитт, Э. Юнгер, О. Шпенглер и другие авторы). Идеи

консервативной революции, радикализованные и примененные на практике, внесли немалую лепту в подготовку установления нацистского режима. И хотя Марк Неоклеус называет фашизм «реакционным модернизмом»,¹⁷⁸ в гуманитарном плане в нем налицо отказ от христианских ценностей и откат к варварству.

Попытка модернизации во время революции уже в обозримом будущем может обернуться архаизацией, в лучшем случае – традиционализацией общества. Не удивительно, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке после «арабской весны» идет активная исламизация, в том числе с укреплением позиций радикальных сект, вроде ваххабизма. Вот почему присущий термину ореол возвышенной и прогрессивной семантики, способствующий легитимации итогов революции, по меньшей мере, не всегда бывает оправданным.

Итак, на мой взгляд, революция и свобода не могут сегодня рассматриваться в качестве абсолютных ценностей. Даже сама по себе революционная апологетика – вещь довольно опасная. В частности, в работе Натальи Елисеевой подробно разбирается, как революционная риторика М.С. Горбачева постепенно привела к тому, что в стране действительно свершилась смена общественно-политического строя. Автор подчеркивает, что большую роль в этом сыграло возвеличивание героических образов Октябрьской и Великой Французской революции. Хотя советские обществоведы, понимая, что приравнивание перестройки к революции происходит явно не по Марксу, пытались обосновать реформы как «революцию сверху», т.е. глубокие преобразования, проводимые руководством страны (подобно реформам Петра I, Александра II, О. Бисмарка и т.д.).¹⁷⁹ Однако сформулировать убедительной мировоззренческой концепции им не удалось, как и противопоставить ее «линии партии». Итог «заклинания революции» в СССР в конце 1980-х годов известен: расчленение и разграбление страны, утрата имеющегося военного, научного и хозяйственного потенциала, социальная деградация, обнищание населения, вооруженные конфликты...

¹⁷⁶ Хобсбаум Э. «Весна народов» // Век капитала. 1848 – 1875. Ростов н/Д. 1999. С. 15-40.

¹⁷⁷ Аксенов В.Б. Политическая семиосфера и психологическая динамика российского общества в 1914-1917 гг.: от мистификации общественного сознания к революционному психозу // Марченя П.П., Разин С.Ю. (ред.) Россия и революция... С. 32-33.

¹⁷⁸ Neocleous M. Fascism. Bristol. 1997. P. 57.

¹⁷⁹ Елисеева Н.В. Указ. соч. С. 129-130.

*Жашасын биздин
коммунисттик партиясы!*

Теперь поговорим о суверенном народе. Эпиграф на киргизском языке, означающий в переводе на русский: «Да здравствует наша коммунистическая партия», – избран для этого параграфа не случайно. Полагаю, что именно киргизы до сих пор могут с полным основанием произносить эту фразу, воздавая коммунистической партии хвалу за создание и укрепление своей государственности. Приведу ряд исторических аргументов.

Туркестанские походы были предприняты Российской империей вынужденно, ради прекращения грабительских набегов на сопредельные российские территории, главной целью которых был захват пленных, обращаемых в рабов. Казахские племена к моменту активной колонизации Средней Азии формально уже перешли под покровительство России. Фактически, пока не были во второй половине 19 века покорены воинственные среднеазиатские государства, протекторат этот носил условный характер, а реальной границей империи оставались укрепленные линии по рекам Яик (Урал) и Орь.

Отдельные северные киргизские племена, сопротивляясь власти кокандских ханов, стремились к вхождению в состав русского государства и отправляли своих послов к русским властям еще в 18-м веке. Начиная с 1850-х годов, они добровольно принимали российское подданство и становились проводниками экспансии империи в Средней Азии, южные же племена вошли в ее состав лишь после того, как территория современной Киргизии была отвоевана у Кокандского ханства, позднее некоторые из них поднимали восстания против имперской власти.

Не очень понятно, как и по каким основаниям были разделены племена киргизов (кара-киргизы) и казахов (киргиз-кайсаки), какие были найдены между ними отличия. Не случайно поначалу Киргизской АССР (1920-1925) называлась будущая Казахская, затем (с 1936 года) Казахская ССР. Вторая Киргизская АССР (1926-1936 гг.) в 1924-1925 гг. была Кара-Киргизской АО, в 1925-1926 гг. Киргизской АО, затем (с 1936

года) становится Киргизской ССР. Понятия киргизский язык и киргизская письменность на момент вхождения кочевых племен в состав Российской империи просто не существовало. Как и другие народы Туркестана, будущие киргизы жили в смешанном языковом пространстве, в рамках которого была хорошая взаимная понимаемость между ними и будущими казахами, узбеками и каракалпаками. В 1910 году была создана киргизская письменность на основе арабского алфавита, в 1911-1914 гг. – изданы первые достоверно киргизские книги (о полумифической Орхоно-Енисейской письменности – древнеруническом тюркском письме в данном контексте даже и говорить не стоит). В 1924 году, когда из Советского Туркестана выделяется Кара-Киргизская автономная область с центром в г. Пишпек, арабская графика реформируется с целью более точной передачи именно киргизских слов. В 1928 году арабский алфавит был заменен латинской графикой, как не отражающий фонетических особенностей киргизского языка и неудобный для типографского набора, одной из целей реформы также было стремление уменьшить влияние ислама на умы масс. Именно на латинице была проведена кампания по ликвидации безграмотности, издано большое количество книг и газет. В 1940 году в основу киргизской письменности положен используемый по сей день русский алфавит. Кириллица поспособствовала созданию языковой однородности на пространстве СССР и нарушила таковую между советской Средней Азией и Турцией. Письменный язык стал базой для этнического киргизского самосознания, несмотря на противоречия между кланами, южными и северными киргизами, которые продолжали и продолжают существовать.

В случае Киргизии мы не можем говорить о предшествующей государственности (Кокандском, Хивинском (Хорезмском) ханствах, Бухарском эмирате), о некоей преемственности с древней, в том числе высокой культурой. Киргизия – это сад, созданный русскими поселенцами досоветского времени, а главным образом – в советское время в чистом поле с нуля. Здесь были построены города, добывающие и перерабатывающие предприятия, возникла легкая, пищевая и даже наукоемкая промышленность, открыты вузы, созданы научные школы, учреждена собственная Академия

наук, возвращена высокая культура. Писателя Чингиза Айтматова знает, наверное, каждый культурный человек. Но ведь были еще оперный певец Булат Минжилкиев, балерина Бюбюсара Бейшеналиева, композитор, дирижер и музыкальный педагог Калый Молдобасанов (все – народные артисты СССР). Только в Советском Союзе сын чабана Иса Ахунбаев мог стать выдающимся хирургом (с 1959 года во Фрунзе он делал операции на открытом сердце, создал свою школу кардиохирургии). То, что Иса Коноевич был хирургом от Бога, не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и то, что останься он в Китае, а не откочуй обратно в СССР, так и пас бы овец, в лучшем случае стал бы народным целителем.

На киргизском примере очень хорошо видно, что народ, в том числе и в этническом смысле этого термина, нередко создается произвольно с помощью государственной политики. Киргизский народ в СССР получил максимально благоприятные условия и возможности для своего становления и развития, кстати, на референдуме 1991 года проголосовал за сохранение Советского Союза. Впрочем, голосовали, естественно, представители всех населяющих Киргизию этнических групп.

После «обретения независимости» обострились межклановые противоречия, актуализировались племенные идентичности. Тем более что в школах и вузах в курсе «Истории родного края» стали подробно изучать названия и характеристики киргизских племен, что создавало новую реальность. Конфликты, которые до конца 1980-х годов сглаживались внешним образом, актуализировались. Сегодня в стране происходит борьба, обусловленная как традиционными, так и вновь обретенными противоречиями, разделом и переделом власти и собственности между региональными группировками южных и северных киргизов, включающих в себя множество объединений родо-племенного типа. Регионально-племенная солидарность побуждает не только глав, но и рядовых членов бороться за победу своего клана, поскольку это сулит и им лично экономические дивиденды. Злободневным для Кыргызстана является и земельный вопрос – ключевой для многих революций. Самозахваты земель здесь случаются все чаще.

История борьбы различных киргизских племен за власть над всей территорией со-

временной Киргизии имеет исторические корни. Не располагая достаточной вооруженной силой в местах киргизских кочевий, кокандские ханы стремились управлять этими районами при помощи местной знати. Для этой цели ханское правительство возвышало наиболее видных баев и манаров, награждало их чинами и различными подарками и постепенно превращало в своих послушных слуг, оказывавших важную помощь кокандцам при сборе налогов с кочевого населения. Когда Кокандское ханство в 1830-1840 гг. формально подчинило себе всю территорию Киргизии, это породило у приближенных к кокандцам южно-киргизских представителей родовой знати претензии на господство над всеми киргизскими племенами. Среди северных киргизов в это время выдвинулось племя сары-багыш. В 1850 году уже верховный манар сары-багышей Ормон провозгласил себя ханом всех киргизов. После победы в 1856 году сары-багышей над другим могущественным северо-киргизским племенем – бугу, когда лишь вмешательство России спасло последних от полного разгрома, установилось их лидерство во всей Киргизии. (К племени сары-багыш принадлежали, кстати, первый секретарь ЦК республиканской компартии в 1961-1985 гг. Т. Усубалиев и первый президент независимого Кыргызстана А. Акаев.)¹⁸⁰

После 1917 года традиционная родовая знать была оттеснена от власти, что позволило выдвинуться на руководящие роли в Киргизии (и Казахстане) представителям второстепенных племен. После чисток Большого террора традиционные властные структуры вернули себе руководящее положение под видом коммунистических лидеров.

Этнический и племенной паритет, практиковавшийся в советское время, не позволял сконцентрировать власть в руках одного субэтнического клана, однако региональное противостояние наблюдалось и тогда. Промышленно развитый север республики был поделен на 4 области, а на юге, специализировавшемся на выращивании хлопка в Ферганской долине, была учреждена единая большая Ошская область. «Северные» областные элиты часто объединялись, чтобы противостоять членам

¹⁸⁰ Ситнянский Г.Ю. Отношения севера и юга Киргизии: история и современность. М. 2007.

партии из Ошского областного бюро, поскольку только в этом случае силы противоборствующих группировок были примерно равны. Постепенно на бытовом уровне эти группы сформировали устойчивые эссенциалистские представления друг о друге: «северные» киргизы считали, что «южные» («оштук») киргизы «обузбекились», а «южные» киргизы полагали, что «северные» («аркалык») киргизы – «обрусели». В настоящее время обе группы расценивают самих себя как «чистых» киргизов и приписывают другой группе предубежденные отрицательные характеристики, которые влияют на повседневные отношения.

Деление киргизов на «север» и «юг» часто объясняется исследователями и самими киргизами как следствие субкультурных различий (похоронные и свадебные традиции, встреча гостей и родственников, распределение мяса и т.п.). Разумеется, такие различия можно найти не только среди «северных» или «южных» областей, но и среди районов внутри каждой отдельной области, только они не становятся фактором противопоставления между, скажем, «чуйскими» и «иссык-кульскими» киргизами и не рассматриваются как субкультурные. В то же время нельзя совершенно отрицать узбекское этнокультурное влияние на юге республики. Его жители действительно более исламизированы и менее европеизированы. Региональная идентификация киргизов активизируется в периоды острой борьбы за власть. Поскольку только такая политическая мобилизация позволяет «оппозиции» создать конкурентоспособные группы своих «сторонников» в условиях фактического отсутствия партийной системы в Киргизии. Южане, в частности, слажено выступали в 1994 году против двухпалатного парламента, опасаясь уменьшения числа своих представителей в нем, поскольку юг республики делился в этот момент только на две области: Ошскую и Джалал-Абадскую (в 2000 году появилась третья – Баткенская).

Итак, в ходе политической борьбы элит в Киргизской Республике рекрутируются уже готовые добровольно организованные группы этнических киргизов: когда президент «с севера» – «оппозиция» мобилизует «южных» киргизов, когда президент «с юга» – «оппозиция» мобилизует «северных» киргизов. Доверие распределяется по региональному принципу и в отношении

сил правопорядка. В критические моменты надеются только на «своих». Так, в частности, в апреле 2007 года для подавления массовых митингов оппозиции с юга Киргизии были переброшены крупные подразделения МВД, разместившиеся на пограничной базе в Новопокровке Чуйской области, хотя и на севере республики вполне хватало сил правопорядка.¹⁸¹

Такое положение дел не ново. Молодые государства не раз в истории дробились по этническому (племенному), религиозному, идеологическому и др. принципам. Гражданская нация, как правило, выковывается государственной волей, целенаправленной политикой, иногда с применением довольно жестких мер по укреплению общегосударственной идентичности в ущерб местной, региональной, этнической. Революции в истории нередко были так же и национально-освободительными войнами. Теперь такое понимание во многом дискредитировано. Поскольку «суверенные народы» после освобождения, как правило, скатываются в братоубийственные войны, раскалываются по племенному признаку. Так произошло и на постсоветском пространстве. Отделившиеся республики, «взяв в руки свою судьбу», не слишком преуспели в построении эффективной государственности, а их представители наводнили Россию и др. страны мира в поисках куска хлеба.

Помимо региональной и племенной конкуренции сильна в Киргизии и межэтническая напряженность. Еще накануне обретения республикой независимости в ней вспыхнул конфликт, вылившийся в вооруженные столкновения и резню. В 1990-м году, несмотря на рост, в том числе, и антирусских настроений, погромы в Ошской области были направлены на узбеков – третью крупную этническую группу в населении республики. Молодым киргизам не хватало земель для индивидуального строительства, и они вынудили власти отдать им поля совхоза им. Ленина, прилегающего к городу Ош. Узбеки, составляющие около 50% населения области, были возмущены передачей под жилищную застройку орошаемой пахотной земли, на которой они работали. Недовольство киргизов подогревалось обилием этнических узбеков на руководящих постах области, а также в сфере торговли и услуг. Узбеки же требовали

¹⁸¹ Там же.

автономии и предоставления своему языку статуса государственного. Этот конфликт вызвал в начале 1990-х годов массовый исход русского и русскоязычного населения из республики.

Примерно с 2000 года начался отток южных киргизов из Ферганской долины на север. Узбеки стали единственной крупной нетитульной этнической группой, доля которой в населении страны стабильно росла за счет естественного прироста и эмиграции из соседнего Узбекистана. Ферганские узбеки массово переселялись на юг Киргизии ввиду недостаточной экономической свободы у себя на родине, где они не имели возможности продавать сельскохозяйственную продукцию на рынке, а были вынуждены сдавать ее государству по фиксированным ценам. Это усиливало демографическое давление в перенаселенной киргизской части Ферганской долины. Другими причинами, спровоцировавшими отток киргизов на север, являлись страх перед исламским экстремизмом и укрепление после 2005 года позиций южан во власти.

Все эти факторы сыграли немаловажную роль в «революциях», произошедших в «суверенном» «демократическом» Кыргызстане в 2005 и 2010 году.

Цветные революции как примета времени

В целом я вполне солидарна с Александром Фисуном в том, что на постсоветском пространстве мы имеем дело с патримониальной бюрократией, и даже писала об этом,¹⁸² но никак не могу согласиться с его утверждением, что феномен цветных революций можно считать «специфической прелюдией построения рационального современного государства и, как следствие, перехода к равным правилам игры для всех экономических и политических субъектов».¹⁸³

Общим для многих цветных революций не только на постсоветском пространстве является то, что путем массовых протестов можно изменить результаты голосования, радикально настроенное агрессивное меньшинство может позволить себе не считаться с волей большинства избирателей. У

такого развития событий есть, по крайней мере, одна положительная сторона: благодаря угрозе «цветной» революции власть должна понимать, что есть предел избирательным фальсификациям! Главным деструктивным следствием таких переворотов является угроза перманентной нестабильности, ибо всегда существует сторона, недовольная итогами выборов, а у нее – соблазн объявить их сфальсифицированными.

«Тюльпановая» революция в Киргизии 2005 года – во многом инспирированная акция, показательное наказание Аскара Акаева за попытку лавировать между США, Россией и Китаем. Будучи президентом, Акаев позволил Пентагону открыть базу американских ВВС под Бишкеком для проведения операций в Афганистане. Позже он предоставил России возможность открыть свою авиабазу в 30 км от дислокации вооруженных сил США. После своего свержения Акаев открыто в печати обвинял США в организации переворота в Киргизии. По его словам, подготовкой восстания занимались неправительственные организации (в том числе Freedom House и National Republican Institute), а их усилия координировало американское посольство.¹⁸⁴

Это не значит, что не было народного недовольства. Да, клан Акаева коррумпировал страну, захватил все ключевые посты в государстве, распределил между своими родственниками собственность, созданную еще в советский период, и тот бизнес, что появился позднее, выводил капиталы за рубеж. Но почему нужно называть революцией показательную акцию наказания непослушного президента «барановой республики» со стороны заокеанского гегемона? Почему дворцовый переворот надо называть революцией, даже если он произошел при поддержке народных масс? Они были и будут на Востоке. Следующим президентом страны стал «лидер оппозиции» южанин Курманбек Бакиев, отправленный Акаевым в отставку с поста премьер-министра после волнений на юге республики весной 2002 года.¹⁸⁵ Снять накал противостояния между

¹⁸⁴ Akayev Blames U.S. for Kyrgyz Uprising // Moscow Times. 01.07.2005.

¹⁸⁵ Поводом для столкновений в Джалал-Абадской области тогда послужил арест депутата Жогорку Кенеш (киргизский парламент) А.Бекназарова, выразившего возмущение передачей Китаю спорной земли, составляющей почти 5% территории республики. В его защиту выступило 60 000 человек, в основном, из Аксыйского района области, уроженцем которого был депутат. Многотысячные митинги

¹⁸² Ильинская С.Г. Гражданское общество и современное российское государство // Вестник РУДН. Серия политология. 2009. № 4. С. 73-74.

¹⁸³ Фисун А. Указ. соч. С. 241.

севером и югом ему удалось, освободив из заключения тоже бывшего премьера северянина Феликса Кулова, который воздержался от борьбы за президентский пост в обмен на кресло премьер-министра. Впоследствии Бакиев избавился от Кулова.

Итак, киргизская оппозиция 2005 года не имела единой политической платформы, а представляла собой группу бывших партийных и государственных деятелей, по той или иной причине оказавшихся неугодными Аскару Акаеву, а потому лишенных власти и привилегий, которые несут с собой государственные посты. Ей удалось возглавить народные толпы, недовольные своим уровнем жизни. Кроме того, киргизская революция, как и многие другие, привлекла немало деструктивных, а то и уголовных элементов. Приход к власти нового клана после «революции тюльпанов» не изменил в лучшую сторону жизнь простых кыргызов. Экономическая ситуация находилась в перманентном кризисе, страна по-прежнему очень сильно зависела от России, Китая и США. Безработица все время была на высоком уровне, не опускаясь ниже 11%. Около миллиона людей были вынуждены работать в других странах (в основном, в России), и жизнь многих рядовых жителей республики зависела от пересылаемых из-за границы средств. Правление Курманбека Бакиева не принесло никаких улучшений киргизскому народу, под конец снова обострились противоречия между северными и южными регионами, и в апреле 2010 года начался новый бунт. Восстание было еще яростней, чем за пять лет до этого. Народ штурмовал Дом Правительства и другие административные здания, несмотря на прицельную стрельбу снайперов с крыш. Восставшие захватывали оружие, избивали правоохранителей, мародерствовали (кто-то расценивал это как стихийную экспроприацию собственности пролетариатом). Произошел очередной переход власти между регионально-племенными кланами, северным и южным, использовавшими восставших в качестве пушечного мяса для достижения своих целей. Если оставаться последовательными конспирологами, то нужно предположить, что свою роль сыграло позиционирование Бакиева как политика, склонного к тесному сотрудничеству с Россией и другими государствами СНГ, и его

обещание закрыть американскую авиабазу в обмен на российский кредит. В дни революции по стране прокатилась волна погромов, поджогов, мародерств, нападений на дома русских и турок-месхетинцев – на севере, узбеков – на юге. В городе Ош – месте компактного проживания узбеков – было разрушено 70% домов. Новым президентом (после переходного периода) стал уроженец северной Чуйской области Алмазбек Атанбаев, тоже бывший премьер-министр. Договор аренды аэропорта Манас с американцами был продлен на новый срок...

Внешний фактор не всегда играл в революциях значимую роль. Что касается Английской и Нидерландской революций – они были сугубо внутренним делом, хотя, безусловно, повлияли на умы во всем мире. Как только свершилась Великая Французская и Американская революции – они сразу же стали вдохновляющим примером для борьбы за освобождение угнетенных во всем мире. Во время «Весны народов» 1848-1849 гг. революция распространялась по Европе, по выражению Эрика Хобсбаума, «подобно лесному пожару»,¹⁸⁶ и даже сказала в Латинской Америке.

Что касается Русской революции... Можно сказать, она была первой – при активном участии внешних сил. В 1917 году возникла реальная угроза существенного усиления геополитических позиций России. Вычеркнуть империю из числа победителей можно было только путем ее разрушения. Помогая прийти к власти новым силам, как противник (Германия), так и союзники (Англия и Франция) получали возможность манипуляции ими.

Разумеется, готовые к дворцовому перевороту силы существовали (высший генералитет, руководство октябристов и кадетов, часть высшей буржуазии и даже члены царской семьи), их нужно было только поддержать и направить. Однако участие в Февральской революции 1917 года в России английских, французских и германских агентов влияния – несомненно.

В эпоху «холодной войны» внешнюю поддержку революционных движений никто уже почти и не скрывал. СССР поддерживал национально-освободительные восстания с «социалистическим» уклоном, США – с «либерально-демократическим». Внешнее участие последних в «бархатных»

протеста проходили в Оше, Джалал-Абаде и Кербене.

¹⁸⁶ Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 16.

революциях и распаде Советского Союза – очевидно, причем в случае с СССР и Югославией ставка была сделана именно на этнический фактор. А трансформация оказалась отнюдь не бескровной. Итог других, действительно бархатных, революций: долгосрочное падение производства, ухудшение инвестиционного климата, постоянная ротация элит, сопровождаемая многократным перераспределением и разграблением ресурсов и активов, утрата доверия масс к демократическим процедурам, десоверенизация страны, попадание ее в полную зависимость от западных грантов и кредитов, установление режима управляемой демократии. В Чехии и Польше, где население протестовало против установки на территории стран элементов американской ПРО, правительства, тем не менее, исправно выполняли указания заокеанских патронов.

Итак, нынешние «цветные» революции – это уже почти сплошь инспирированные акции, в которых используется народный гнев (и народная кровь). Хотя масштаб события не позволяет гарантировать точное достижение запланированного результата. Однако, *если революция – акция по установлению внешнего управления через приведение к власти марионеточного правительства – она априори направлена против интересов народа. В этом случае мы имеем дело с прямой подменой понятия, поскольку суверенность народу обеспечивает национальное государство и национальное правительство.* Значимую роль для успеха подобных проектов играет угроза наказания со стороны международного сообщества: страх перед расправой у себя на родине или перед международным уголовным судом в Гааге отбивает у президентов «барановых республик» решимость идти на применение «чрезмерной силы» для подавления беспорядков. Я полагаю, что Аскар Акаев в 2005 году, Курманбек Бакиев в 2010-м или Виктор Янукович в 2014-м не стали жестко подавлять бунтовщиков, помня о судьбе Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, Муаммара Каддафи. Не случайно Акаев и Янукович после своего свержения укрылись в России, а Бакиев – в Беларуси. Полагаю, на карте мира нет других государств, где они могли бы чувствовать себя в относительной безопасности.

Как ни странно, небольшая, но политически грамотная и активная часть киргиз-

ского народа это внешнее участие осознает. После Ошской резни 11-14 июня 2010 года постоянный совет ОБСЕ принял решение о направлении в Киргизию полицейской консультативной группы «для снижения межэтнической напряженности». Эти планы были встречены частью населения с недоверием и даже вызвали немногочисленные акции протеста в Оше и Бишкеке. Аббревиатура ОБСЕ, постоянно мелькавшая в СМИ во время Балканского кризиса, приобрела устойчивые негативные коннотации, а в киргизском обществе всколыхнула опасения по реализации в республике косовского сценария по отделению юга республики. Тем более что власть над югом в тот момент была фактически утрачена, и заправляли там полевые командиры. У Косово и Южной Киргизии довольно много общих черт. И тот и другой регион занимают крайне выгодное стратегическое положение, в обоих – значимую роль играет наркомафия. Южная Киргизия, расположенная в восточной части Ферганской долины, находится в непосредственной близости от Китая, Ирана и Афганистана, которые входят в сферу интересов или находятся под пристальным вниманием США.¹⁸⁷

Итак, под видом революции нам преподносят любые попытки смены власти, вплоть до борьбы субэтнических кланов (как в Киргизии) или олигархических групп (как в Украине), банальных дворцовых переворотов. Хотя подлинной революцией сегодня могла бы считаться, наверное, только попытка сломать мировой порядок во главе с США и уничтожить господство интернациональной буржуазии.

И хотя для молодых филологов употребление термина «революция» в отношении «цветных революций» кажется вполне оправданным (так, например, Мария Будина пытается решить проблему, выделяя «классический» и «современный» подходы к определению понятия),¹⁸⁸ я полагаю, что с точки зрения политологии никак нельзя называть революцией внешне спланированную акцию! Исключая, может быть, случай, когда ход этой акции вышел из-под контроля ее организаторов-проектировщиков.

¹⁸⁷ Косовский сценарий для Киргизии? // Фонд стратегической культуры. 27.07.2010. Режим доступа: www.fondsk.ru

¹⁸⁸ Будина М.Э. Понятие «революция» в контексте именования «цветные революции» // Вестник ТвГУ. Серия филология. Выпуск 5. 2013. № 24. С. 26.

Итак, на мой взгляд, существуют как минимум две причины истощенности понятия революция. Первая – многозначность (по Капустину – поливалентность), которая не смущает теоретиков, однако на уровне политических практик приводит к тому, что революцией начинают называть даже переход власти от одних олигархов другим, как это было во время украинской «оранжевой революции».

Вторая причина – шлейф возвышенной семантики, тянущийся за понятием, позволяющий легитимизировать любое незаконное свержение власти, в том числе и отнюдь не в интересах «суверенного народа».

Что же касается перспектив... Концепт революции в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать – внутри национального государства, как борьба национальной буржуазии или пролетариата (интернационального? национального? субэтнического?) против существующих институтов господства и подчинения, истощил себя. По мнению Виталия Куренного, это случилось потому, что современная капиталистическая система «вобрала революционность как момент своего существования». ¹⁸⁹ С моей точки зрения, дело все-таки в том, что в современном мире радикально изменились структуры подавления и угнетения, и сегодня мы имеем дело с иным господством, глобального свойства, вследствие чего понятие революции (как легитимное ниспровержение власти народом – сувереном) истощило себя, поскольку состоит из сплошных фикций.

И когда мы начинаем разбирать конкретные случаи, то обнаруживаем, что, во-первых, народ – не народ, ни в гражданском, ни в этническом смысле, и даже самоопределившись последним образом, он продолжает и дальше дробиться на племенные группы. Во-вторых, он – не суверен, ибо его соблазняют, подталкивают, им манипулируют. В-третьих, вроде бы вполне легитимное ниспровержение власти (ибо элита плохо выполняла свои функции в обществе) задним числом может оказаться нелегитимным, прежний «репрессивный» порядок может показаться вполне справедливым, а запросы бунтовщиков – неоправданно завышенными. В-четвертых, может

статься, что бунт направлен не на того, кого следует, поскольку правительство реальной властью не обладает, а подконтрольно международному капиталу и т.д... Вот и получается, что революция хороша только как угроза для того, чтобы сподвигнуть власть на реформы и удержать от слишком масштабных избирательных фальсификаций. Казалось бы, в таком случае предпочтительнее всего – «неудавшиеся» революции, вроде «Весны народов» 1848-1849 гг. Но зачастую правительство сегодня боится не народного гнева, а недовольства мирового гегемона, для которого «революция» – лишь способ замены «национальной» элиты на более подконтрольную. Вот почему, на мой взгляд, понятие революции превратилось в симулякр. Используя его в настоящее время, особенно в отношении переворотов, организованных или спровоцированных в том или ином государстве внешними силами, мы участвуем в производстве заимствованной фиктивной смысловой реальности. Западный человек, живя в мире своих фикций, чувствует себя вполне комфортно, незападный – импортируя чуждые ему клише, нередко разрушает собственную идентичность (как это произошло с «тоталитаризмом» в нашей стране).

Применительно к революции мне близко оригинальное переосмысление мир-системного подхода Иммануила Валлерстайна, предложенное молодым автором Ильей Купряшкиным, включая некоторые романтические утверждения, вроде «грядущая социалистическая революция – единственно возможная». ¹⁹⁰ Поскольку понятие революции сопряжено в истории не только с понятием свободы (как справедливо отмечает Б.Капустин), а прежде всего – с понятием справедливости. Революции понимались против вопиюще несправедливого порядка вещей с тем, чтобы навсегда изменить его. Как метко заметил Андрей Баллаев в заключение своей книги «Маркс размышляющий»: «Великая моральная заслуга Маркса и состоит в том, что он мыслил и писал от лица и для «униженных и оскорбленных», а правительства такого масштаба мир не знал, скорее всего, со времен жизни Иисуса Христа». ¹⁹¹

¹⁹⁰ Купряшкин И.В. Мир-системный подход к всемирной истории: от мини-миров к мир-социуму // Философия и общество. 2012. Выпуск №3 (67). С. 132.

¹⁹¹ Баллаев А.Б. Маркс размышляющий. М. 2014. С. 358.

¹⁸⁹ Куренной В. Указ. соч. С. 246, 254.

В современном нам мире довольно многое изменилось в социальной реальности. Интернационализировалась буржуазия; благодаря роботизации и автоматизации тяжелого машиностроения и др. видов промышленности, прежде требующих скопления большого числа людей, исчез пролетариат как класс. Видоизменилась бедность. Однако, сытая бедность, обрекающая людей на фастфуд и пальмовый жир, по-прежнему не оставляет бедным альтернативы. Просто их дети от невыносимых условий жизни болеют теперь не чахоткой, а диабетом и ожирением. Более того, согласно идеологии неолиберализма бедные отныне сами виноваты в своей бедности: поскольку они бедны от того, что недостаточно креативны, целеустремленны, эффективны, образованы и т.д. Технология промывания мозгов достигла такого совершенства, что не позволяет массам осознать ужас своего положения и сформулировать программу политической борьбы. А если даже это и происходит, то в силу вступает координирование их поведения путем навязанных потребностей. К тому же сообщества идентичности настолько множественны, произвольны и текучи, что не дают возможности объединиться, осознать общие интересы и ценности и организовать системное сопротивление.

Но есть в существующем порядке вещей одно очевидное, буквально лежащее на поверхности явление, которое рано или поздно должно погубить его. Это сложный процент. Вопиющая несправедливость, от которой страдает буквально каждый, если не имеет воли воздержаться от навязанных стандартов потребления. Прежнее ростовщичество – цветочки по сравнению с нынешним «кредитованием», исходной предпосылкой которого является установка на временную стоимость денег. Деньги должны работать! На выданные в кредит средства исчисляется сложный процент, исходя из чего определяется сумма погашения, платя которую, заемщик сегодня выплачивает в том числе проценты, многократно начисленные на проценты за распоряжение теми деньгами, которыми он предположительно будет пользоваться некоторое время, как будто это уже произошло...

Если существующий ныне глобальный финансовый капитализм с его виртуальными капиталами и спекулятивными операциями, позволяющими обрушивать экономики целых стран и регионов, прекратит свое

существование, это будет самая великая революция из тех, которые знал мир. Как любой серьезный политический актор, даже отживший свое, то государство, которое максимизирует прибыли от существующего порядка вещей, активно сопротивляется своему грядущему крушению вследствие внутренних проблем и противоречий, в том числе путем экспорта «революций», развязывания гражданских войн, дестабилизации мировой периферии...

А время «подлинных» революций, с которыми мы привыкли иметь дело, видимо, все-таки ушло в небытие (что не исключает массовых народных выступлений). Произошло это в том числе и вследствие захвата средств массовой информации глобальными медийными магнатами и превращению их в средства массовой дезинформации. Вот почему революция и связанные с ней освобождение, а также слом сложившихся структур угнетения глобального порядка, будут, по-видимому, иметь совсем иные формы и проявления, нежели мы привыкли себе представлять. Вполне вероятно, что его движущей силой будут сами национальные государства, сохранившие определенную степень суверенитета, и в этом мнении я не одинока, к подобной революции (впрочем, не называя ее так) призывает, например, Сергей Глазьев. Ему этот процесс представляется осуществимым через создание антивоенной коалиции стран с позитивной программой устройства мировой финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета.¹⁹² Возможно, национальные государства будут действовать в союзе с трансграничными структурами гражданского общества, неподконтрольными аффилированным с глобальным гегемоном финансовым структурам. Глазьев видит перспективы борьбы за будущее мироустройство в сотрудничестве с религиозными, антифашистскими и гуманитарными организациями, мировым экспертным и научным сообществом. Как это будет происходить, покажет время... Осталось решить только один вопрос: как, избегнув революционных потрясений и разрушений внутри государства, вынудить правительства быть национальными?

¹⁹² Глазьев С.Ю. Как не проиграть в войне. Режим доступа: <http://worldcrisis.ru/crisis/1584472>

РАЗДЕЛ II. РЕВОЛЮЦИЯ И ЛОГИКА ИСТОРИИ

Глава I. Революция и История (Революция в контексте времени Истории и времени Политики)

М. М. Федорова

*Сегодня прошлое продолжается
в виде разрушения прошлого.
(М. Хоркхаймер, Т. Адорно
«Диалектика Просвещения»)*

Исследование истории понятий полезно не только тем, что оно вносит определенный вклад в общую историю идей, верований, учений и представлений, и не только тем, что оно является средством постижения духа эпохи, духа времени. Ведь функция общественно-исторических понятий не сводится только к обозначению и репрезентации событий и ситуаций (в этом случае их история действительно читалась бы как история языка или история социальных представлений). Помимо этого понятия обладают еще и конституирующей функцией, они – такой же действенный фактор, как и любая из социальных практик. И, следовательно, с историей идей дело обстоит совсем иначе. В этом случае понятия не только помогают нам понять общество или историю как особую, независимую реальность, но и позволяют схематизировать течение вещей, артикулировать политические или исторические ситуации, выделяя в них факты и события. И главное: понятия позволяют структурировать наш опыт и тем самым принимать участие в осуществлении общественно-политической практики, ведь с их помощью мы оказываемся вовлеченными в историческое действие и приобретаем идентичность агента этого действия. Поэтому история понятий ведет к открытиям, которые невозможны в рамках одного только эмпирического анализа.

Понятие революции является именно таким понятием – оно возникает в эпоху Модерна в качестве теоретического инструмента для осмысления радикальной инакости переживаемого периода от предшествующих исторических времен. «Так как новый мир, мир модерна отличается от старого тем, что открывает себя будущему, то в каждом моменте современности, порождающей новое из себя самой, повторя-

ется и приобретает характер непрерывности процесс зарождения новой эпохи заново, так происходит снова и снова. /.../ Современность, которая понимает себя из горизонта нового времени как актуализацию новейшего времени, должна реализовать, осуществить в виде непрерывного обновления разрыв нового времени с прошлым»,¹⁹³ – пишет Ю. Хабермас. Но, с другой стороны, понятие революции становится важнейшим элементом политической практики, предфигурируя политические стратегии целой эпохи. Оно выступает тем самым концептуальным орудием, с помощью которого субъект Модерна – не метафизический субъект, но, скорее, субъект действующий, практический – оказывается вписанным одновременно и в историю, и в практическое действие.

К понятию «революция» можно подходить по-разному. Можно видеть в нем цепь событий, будящих воображение, страстных, яростных, вписанных в историю кровавыми буквами, событий, превращенных в мифы и национальные символы, прочно укорененные в коллективном бессознательном. Можно выделять ее этическое или интеллектуальное измерение – это мир понятий и ценностей, вызванный к жизни книгами и памфлетами, речами и жаркими дискуссиями революционного времени. Семидесятичетырехлетний И. Кант в своей работе «Спор факультетов» (1798 г., 2-я часть, ст. 6), не довольствуясь одной только реконструкцией фактов в их временной последовательности, увидел в революции «факт разума».

Мы же попытаемся подойти к понятию «революция» как к понятию «пограничному» – сформированному на стыке двух типов опыта, двух типов рефлексии, исторической и политической. Мы проследим связь этого понятия с изменениями темпорального опыта, сформировавшегося в рамках эпохи Модерна и в наши дни, и показать на этом

¹⁹³ Хабермас Ю. Философский дискурс о Модерне. М.: Весь мир, 2003. С. 12.

примере взаимосвязь политических практик с историческим мироощущением. Существование связи такого рода совершенно не означает детерминации политики историческими концептами (хотя такие попытки хорошо известны), поскольку редукция политики к вещам неполитическим означала бы смерть последней и невозможность свободы как творческого начала человеческой жизни. Политическое и историческое – это два способа общественного бытия человека, что, однако, не исключает возможности существования точек соприкосновения, пересечения.

Отправная точка в наших исследованиях – работы Рейнхарда Козеллека по семантике исторических времен. Следуя в русле герменевтики, Козеллек тесно связывает историческую темпорализацию с ее антропологической структурой и ее праксеологическим измерением в качестве фундаментального опосредования конституирования смысла события. В отличие от семантики аналитической традиции, рассматривающей событие просто как имевшие место обстоятельства, значение которых сводится к определению их условий, Козеллек полагает, что общественная наука имеет дело со смыслом события, далеко выходящим за рамки простых обстоятельств. Смысл определяется не только формальной структурой языка, но антропологическими структурами темпорального опыта и исторически институционализированными символическими формами. Козеллек интересуется не только репрезентативная функция понятия, но и функция праксеологическая, оперативная: каким образом понятие становится действенным элементом истории, которая оказывается рефлексивной и практической. Именно этот практический элемент здесь обуславливает, по нашему мнению, связь с политикой. Мы полагаем, что эти положения очень значимы для анализа категорий политического знания, поскольку политическое знание, как никакое иное, теснейшим образом связано с практикой. Между тем семантическое поле политических категорий зачастую рассматривается вне его связи с темпоральным измерением человеческого опыта, что ведет к превращению политических категорий в некие застывшие сущности. Как представляется, совершенно не случайно критика *политического* марксизма и его реальных воплощений в практике восточноевропейских социалистиче-

ских государств начинается именно с критики детерминистских исторических схем.

Между языком и событием герменевтическая семантика вводит целый ряд опосредований: опосредования антропологического порядка (структурирование темпорального опыта посредством натяжения между полем опыта и горизонтом ожидания), а также порядка символического (процесс историзации времени и темпорализации истории, выраженный в концептуальных схемах, организующих временной опыт). Язык не просто помогает понять действие – он на самом деле открывает поле, в котором человеческие практики разворачиваются, обретая собственную идентичность. И в этом смысле язык конституирует практики, причем еще до их описания. Но это, однако, не означает редукции практик к дискурсу: они обладают собственной субстанциальностью и состоятельностью, отличной от дискурсивных порядков. Между исторической ситуацией, историческим событием и дискурсом всегда существует напряженность: событие обладает избыточностью или недостаточностью по отношению к языку, который это событие фиксирует и формирует. Так, прошлый опыт не может быть полностью артикулирован в дискурсе, заключен в понятия, тогда как будущее всегда несоизмеримо с ожиданиями или предвосхищениями. Соответственно семантическая наполненность понятий исторически изменчива, совокупность значений концепта организована в соответствии с неким переплетением темпоральных перспектив, исторических вариаций смысла. Это означает, что, в зависимости от конкретной ситуации, могут быть актуализированы те или иные семантические компоненты, позволяющие сделать понятие более богатым, а значит, артикулировать опыт и выстраивать в зависимости от этого различные стратегии.

С этой точки зрения и событие приобретает свою идентичность, т.е. становится именно *этим* событием лишь в зависимости от своей принадлежности к лингвистически конституируемому контексту описания. Например, обрушение надгробий на кладбище способно предстать самыми различными событиями (ремонтные работы, акт вандализма, политическая провокация и т.п.) в зависимости от того контекста, в который оно вписано и соответственно тех базовых семантических структур, которые и

сообщают ему его специфику, открывая intersubъективное значение. Козеллек обращается именно к преднарративному и преддискурсивному уровню событий, действий, исторических ситуаций с целью изучения исторической вариативности этой семантической структуры и движению темпорализации, которая придает событиям их динамичную идентичность.

В истории западного общества он выделяет три основные темпоральные конфигурации. Во-первых, темпоральность античности (и большинства традиционных обществ). Здесь на представления о временных процессах накладывают отпечаток циклические ритмы природы и сельскохозяйственных работ. Время для человека традиционного общества – это не столько то, что проходит, сколько то, что возвращается. Горизонт ожидания здесь выступает как горизонт повторения времени предков. Во-вторых, средневековое восприятие времени, отмеченное влиянием христианства и представляющее собой двойственную конфигурацию. Речь идет, с одной стороны, о линейном видении истории, что высвобождает невиданный ранее горизонт ожидания, вписанный в эсхатологическую картину конца времен. Но, с другой стороны, этот горизонт ожидания проецируется на потусторонний мир и ассоциируется с заботами о своей судьбе именно в этом, внеземном мире, тогда как в обычной жизни поле опыта остается во власти логики традиционного общества. Наконец, в XVIII веке происходит разрыв между полем опыта и горизонтом ожидания, что приводит к появлению новых форм темпоральностей и нового восприятия времени, находящего отражение в чисто модерновских понятиях истории, прогресса, революции и т.п. И здесь открывается стремление к обретению будущего, совершенно нового, не вписывающегося в предшествующий опыт. В рамках этого нового понимания время необратимо, но его течение человек может подчинить себе и контролировать благодаря предвидению развития человеческого мира по восходящей линии прогресса.

Возникновение исторического сознания в этот период действительно следует считать исключительным событием антропологического характера, которому, однако, не следует придавать универсальное значение. Ведь историческое сознание – лишь

один из возможных способов мыслить себя во времени, но это способ различения прошлого, настоящего и будущего, возникший у людей Модерна. Историчность человека Модерна заключалась в ощущении и осознании того, что он живет в истории, а не в природе или плане Творения. Г.-Г. Гадамер видел в возникновении исторического сознания «наиболее важную революцию, произошедшую с начала эпохи Модерна» («Проблема исторического сознания»).¹⁹⁴ Историческое сознание – одновременно преимущество и проклятие человека эпохи Модерна. Преимущество заключается в том, что мы способны осознать историчность всякого настоящего и относительность любого из наших мнений. Но это одновременно и проклятие, говорит Гадамер, которого не знало ни одно из предшествующих поколений, поскольку нет ничего труднее, чем жить, не имея никаких абсолютных представлений о благе и справедливости. Осознание нашей историчности сразу же погружает нас в мир, лишенный прочных точек опоры и уверенности. Ведь традиционное общество тщательно оберегает себя от истории, замыкаясь в мифологическом сознании, старательно вписывая любое событие в рамки мифологического повествования. Это «общество вечного возвращения» именно из-за его поразительной способности оградить себя от всего нового, особенного, экстраординарного, необычного и неожиданного, что несет в себе историческое событие в его понимании историческим сознанием эпохи Модерна. В традиционном обществе не может произойти ничего нового из того, что уже не было бы рассказано в мифе, что закрывает горизонт будущего, горизонт ожидания. Поле опыта в таком обществе формируется мифом, который и обуславливает в данном случае специфический вариант ожидания будущего. Разумеется, христианство (как, впрочем, и любая разновидность монотеизма) вводит линейную перспективу, символизирующую восхождение человечества от грехопадения до искупления. Но еще очень долго – до тех пор, пока христианская эсхатология и христианский финализм сохраняли свое первостепенное значение в сознании европейца, – человек не мог преодолеть горизонт ожидания, а будущее в его сознании оказывалось

¹⁹⁴ Gadamer H.-G. Le probleme de la conscience historique. P.: Seuil, 1996. P. 23.

ретроспективно связано с прошлым. Вплоть до середины XVII века мыслимое будущее простиралось лишь до Страшного суда, который – уже за рамками истории – должен был устранить несправедливость сего мира. Конечно, и в тот период люди так или иначе размышляли о будущем, чтобы исходя из него строить свою деятельность. Особенно развитым было, уже в XVI веке, искусство политического предвидения, входившее в обязанности каждого государственного деятеля. Однако подобная практика в принципе не покидала горизонта христианского ожидания конца света. Именно потому, что до конца света ничего принципиально нового случиться не могло, были допустимы умозаключения о будущем на основании прошлого. Заключение от прежнего опыта к ожидаемому будущему опиралось на представление о неизменной структуре мира.

«Новое время осмысливает себя в качестве нового времени, – полагает Козеллек, – лишь через разрыв между опытом и ожиданием, в результате чего ожидания все более и более отдаляются от любого полученного до сих пор опыта».¹⁹⁵ Здесь, в отличие от традиционного общества, наше ожидание открыто к чему-то, что не принадлежит полю нашего опыта. Мы живем уже не просто тем, что имело место, произошло, но тем, что должно произойти, но пока еще не произошло. Наше ожидание открывается к чему-то, что еще не принадлежит полю нашего опыта. Историческое сознание, таким образом, предстает как постоянное вопрошание, относящееся к опыту прошлого, но лишь для того, чтобы ориентироваться в бесконечном и неопределенном будущем. Это самосознание общества, которое освобождается от религиозного мировоззрения и делает решительный шаг в мир инноваций, мир нового и неизведанного. Мы используем нашу историю, чтобы творить Историю; мы вопрошаем о прошлом, так как считаем, что овладеть становлением можно только с помощью исторического знания. Таким образом, трансформация исторического сознания коррелирует с развитием автономии личности. Ведь мы творим историю именно потому, что осознаем себя в качестве ее субъекта. «На людское усмот-

рение оказалось вынесено будущее как категория всемирной истории – ни больше ни меньше».¹⁹⁶ Собственно, революция – это и есть то время, когда история изменяет свой смысл. Революция, пишет Ж. Гусдорф, в понимании человека конца XVIII – начала XIX столетия, это «разрыв в ткани истории, ставящий под вопрос общий характер человеческого существования благодаря переходу от одного политического устройства к другому, совершенно отличному от прежнего и расцениваемому его сторонниками как высшее по сравнению с предыдущим».¹⁹⁷ В сознании человека той эпохи революция – не просто случайное стечение обстоятельств; через внешнюю событийность читается проект и прогресс разума, сражающегося за лучшее будущее для всего человечества. Общество Модерна получает опыт исторического становления в форме *проекта*, как «возникновение радикальной инакости и абсолютно нового.

Понятие революции в этом контексте принадлежит к числу сильно темпорализированных понятий Модерна, ориентированных на будущее и радикальное изменение. Оно теснейшим образом связано с понятием Истории, ибо в политическом плане имеет одной из своих функций легитимизацию произошедших исторических изменений. «Соотносимость» Истории и праксиса, Истории и революции возникает именно благодаря процессу историзации интерсубъективного времени, без чего человеческий мир не мог бы обрести черты динамической реальности, ориентированной в будущее. И, пожалуй, можно сказать, что именно понятие революции является той точкой, в которой происходит соприкосновение двух порядков – исторического и политического.

Мы считаем целесообразным рассматривать революцию как понятие, логика формирования которого располагается в двух плоскостях – в порядке исторического и порядке политического, при их перекрещивании, наложении друг на друга. Мы попытаемся обосновать предположение о том, что понятие революции формируется не только с помощью собственно политических

¹⁹⁵ Koselleck R. Le futur du passé. Contribution à l'analyse des temps historiques / Trad. Hoock J., Hoock M.-C. P.: EHESS, 1990. P. 316.

¹⁹⁶ Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественные записки. 2004. № 3.

¹⁹⁷ Gusdorf G. Les sciences humaines et la pensée occidentale. T. VIII. Lacon science revolutionnaire. Les Ideologies. P. 1978. P. 59.

смыслов (например, с помощью смысла политического действия, политической цели или политического режима), но и с помощью семантики исторического поля. Здесь план Истории (т.е. понимание того, что такое историческое, исторический процесс, характер его протекания, структурирующие его темпоральности и проч.) существенным образом влияет на формирование семантического поля идеи революции (через формирование новой идеи пространства политического, хотя нельзя сказать, что историческое детерминирует политическое, это две автономные логики, но хилиастически перекрещенные). Ведь в рамках философии Модерна История совмещает в своем понимании ментальный и деятельностный аспекты, а революция в самом общем смысле означает участие в истине времени, утверждение Истории, ее освобождение от ложных смыслов и образов. Кроме того революционный опыт предполагает определенное (теологическое, идеалистическое, материалистическое и т.п.) понимание мира исторического, самой Истории в качестве символического горизонта – универсального и трансцендентального¹⁹⁸ – человеческих действий. Видимо, можно утверждать, что оба понятия принадлежат движению эмансипации и имеют общую генеалогию: нет революционного движения без исторического субъекта. Ведь концепция Истории Модерна была основана на отказе от вне-исторической инстанции: чтобы воспринимать и познавать историю, уже не нужно было обращаться к Богу или природе. Это была уже история, которая совершается через человека и при его участии. Как говорил Шеллинг, у человека есть история, потому что он не просто участвует в ней – он ее создает.

Но как идея революции работает и перерабатывает понятие исторического времени, чтобы обрести, наконец, это значение? И в какой мере это значение понятия революции зависит от понятия Истории как изобретения Модерна? И если оба понятия – революции и Истории – были изобретением Модерна, то какие изменения они претерпели в сегодняшних дискурсивных практиках?

¹⁹⁸ Понятие истории, полагает Р. Козеллек, «можно назвать также трансцендентальной категорией: условия возможности исторического опыта и условия возможности исторического познания были суммированы в одном понятии». См. Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественные записки. 2005. № 4.

Итак, революция есть понятие на пересечении двух горизонтов – исторического и политического. Понять, что такое революция сегодня – значит понять, как артикулируются два этих порядка (исторический и политический), как они воспринимаются, и где в восприятии и в дискурсивных практиках точка их пересечения. Ведь понятие революции возникает как понятие политическое, но в рамках дискурса об Истории и тесно связано с ним («революции – локомотивы истории», «революция – конец предыстории и начало Истории» и т.п.). Более того, изменению содержания Истории всегда сопутствовало и изменение содержания понятия революции («конец истории» закрывает и эпоху революций). Мы попытаемся проследить этот путь и показать взаимную корреляцию двух понятий с тем, чтобы выявить изменение их семантического содержания, посмотреть, каким образом оба этих понятия работают в современных дискурсивных практиках.

Понимание Истории в Модерне предполагает семантические трансформации, позволяющие идентифицировать горизонт Истории и секуляризированный горизонт праксиса. Собственно, соотносимостью понятий Истории и праксиса мы обязаны именно процессу историзации intersubъективного времени, без которой человеческий мир не смог бы обрести черты динамической реальности, ориентированной (в Модерне) однозначно и прогрессивно. Среди такого рода трансформаций можно выделить следующие. Во-первых, история в Модерне мыслится не как простое течение времени от прошлого к будущему; она представляет собой своего рода интерпретативную схему, которая позволяет обозначать порядок реальности в соответствии с определенной модальностью и прочитывать движение «дел человеческих» в двойном движении идеализации и унификации. Во-вторых, само понимание Истории в Модерне как линейного прогрессирующего процесса вводит новое осознание исторической длительности. Понятие Истории здесь задает иную темпоральность, нежели это было в Средние века, оно основано на ином, нежели прежде, понимании исторической длительности, так как отвергает традицию, предрасудки и проч., т.е. гетерономию разума. Это новая форма осознания времени, свободная от нормативных связей с традицией. И тем самым в понятие темпоральности вводится

идея разрыва, качественно иного исторического времени, начало которому и кладет революция. Модерн мыслит себя как эпоху, радикально отличную от предшествующего течения времени. На символическом уровне это выражается и в знаменитом кантовском вопросе «что такое Просвещение?»¹⁹⁹ и в известном споре между Древними и Новыми и идейном торжестве последних. В-третьих, западноевропейское историческое сознание было сознанием постоянного участия в общей судьбе, призванной придать человеческому существованию рациональную форму и создать основы единой универсальной культуры. Осознание одной своей причастности к этой временной форме гарантировало участие субъекта во всемирной истории, превращало *telos* истории в «практическую цель воли». Благодаря историческому сознанию эмпирический субъект превращался в субъекта исторического.

Поскольку история здесь выступает как сама истина мира и человеческого времени, то совершенно очевидно ее родство с революционными преобразованиями, их способностью к легитимации произошедших политических изменений и понятием исторического процесса. Во-первых, в самом общем смысле революция означает утверждение истории, ее освобождение от своего «симулякра», приведение истории к ее собственно человеческому измерению. Во-вторых, революционный опыт не только предполагает определенное (теологическое, материалистическое, идеалистическое и т.п.) понимание исторического мира, но и более радикально – «мифа об Истории» (Фуко) в качестве символического горизонта, универсального и трансцендентального, динамики человеческих действий. Р. Козеллек отмечает, что темпоральный опыт Мо-

дерна характеризуется увеличением дистанции между полем человеческого опыта и горизонтом ожидания, что создает напряженность между двумя этими компонентами темпорального опыта, при этом горизонт ожидания все меньше детерминируется полем опыта.

Как известно, конец XVIII столетия очень часто обозначают как тот рубеж, за которым «век права» сменяется «веком истории». Уже в XVI веке был разорван горизонт круговой бесконечности, в который была замкнута античная мысль: трансцендентная цель кругового порядка утрачивает свое обоснование, постепенно уступая место действующей причине при объяснении социальных процессов. Господствующий в естествознании Нового времени детерминизм вызывает к жизни идею бесконечной и открытой серии феноменов, каждый из которых предстает как следствие предшествующего в соответствии с законом, который может быть постигнут рациональным путем. Знаменитый спор Древних и Новых, завораживавший мыслителей века XVII, в XVIII был разрешен в пользу Новых. История постепенно становится предметом философских размышлений и одним из главных компонентов философского дискурса. Вольтер открывает новый пласт философских исследований – он говорит о философии истории, хотя сам еще в значительной степени остается в плену старых циклических историософских схем, а в коллективном сознании середины XVIII в. еще господствуют старые космологические схемы, пусть уже и лишенные всякого основания и сведенные к положению символического мифа. История как общее понятие, как условие, делающее возможным опыт прошлого и ожидание будущего, – понятийное достижение философии Просвещения, оно появляется в рамках просвещенческого универсализма подобно понятиям Свободы (в отличие от многочисленных свобод как вольностей века предшествующего), Равенства и т.д. Кант пишет свою знаменитую работу «Понятие всеобщей истории» и разрабатывает в ней модель истории как дела рук человеческих. Все историко-философские размышления Канта направлены на то, чтобы превратить скрытый замысел природы, который, как ему представлялось, ведет человечество по пути неограниченного прогресса, в осознанный план наделенного разумом человека. «Каким образом возможна

¹⁹⁹ В своей работе, полностью воспроизводящей знаменитый кантовский вопрос, М.Фуко отмечает, что у Канта речь в данном случае не идет о какой-то мировой эпохе или «заре конечного свершения», он ставит вопрос именно о радикальной новизне переживаемой эпохи, о том, «какое различие вводит сегодня по отношению ко вчера?». Продолжая кантовские размышления, французский философ также видит в современности не некий исторический период, но «установку», т.е. «свободный выбор, который принимается некоторыми из нас», «некий способ мыслить и чувствовать, а также способ действовать и вести себя, который разом отмечает нашу сопричастность текущему моменту и представляется как некое задание». Современность – это «активное осуществление, в котором крайнее внимание к реальному сталкивается с практикой свободы, которая и уважает это реальное, и нарушает его». См. Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2002. С. 337, 344, 346.

история *a priori*?» – Спрашивал Кант, и отвечал: это возможно, «если предсказатель сам творит и вызывает события, которые он предрекает».²⁰⁰

Как утверждает Р. Козеллек, «если рассказывание разных историй, их изучение и запись на протяжении более чем двух тысячелетий составляли неотъемлемую часть западной средиземноморской культуры, то мысль о способности человека творить историю возникла лишь около 1780 года. Эта формула отражает опыт современного человека, точнее, ожидание, что со временем он все более уверенно сможет планировать будущее и разворачивать историю согласно своему плану».²⁰¹

Людам стало казаться, что история им подвластна и что они сами могут ее создавать, лишь после того, как слово «история» обрело форму единственного числа и стало независимым понятием. Новое теоретическое понятие открывает перед человеком поле деятельности, где он встает перед необходимостью предвидеть историю, планировать ее, «творить». С этого момента история уже не сводится только к повествованию о совокупности прошедших событий. Ее повествовательное значение отодвигается на второй план, и с конца XVIII века с понятием истории начинают связывать горизонт социального и политического планирования, устремленность в будущее. В десятилетие, предшествующее Французской революции, и позднее, во время революционных потрясений, оно содержит в основном (хотя и не исключительно) действенное начало. Историческое сознание в самом широком смысле можно было бы определить как артикуляцию практик, опирающуюся на определенное соотношение между индивидуальным временем и временем коллективных событий. Это опыт времени, отражающий институционализирование форм частной и публичной жизни.

Однако к концу XVIII столетия выход исторических сочинений Р. Тюрго и Ж.-А. Кондорсе знаменует совсем иное положение дел, когда парадигмой исторического развития является прямая линия, а переход

от одной исторической эпохи к другой знаменует рост познания, могущества человека, материальных и духовных ценностей. К концу XVIII века – не раньше – так называемое Новое время стало осознавать себя именно как новое. Прогресс, который тогда практически отождествлялся с историей, был понят как историческое время, постоянно опережающее само себя. Объединившись, оба эти понятия по-новому очертили горизонт ожидания будущего.

Математик Кондорсе в своем «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» усматривает смысл линейного прогресса в бесконечном возрастании ценностей, богатств цивилизации, но самое главное прогресс истории, синонимичный прогрессу человеческого разума, означал и расширение поля человеческой свободы, более того – он вел к освобождению человека, к тому самому моменту, когда «солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, кроме своего разума».²⁰² В метафизическом концепте истории как телеологической идее слышны отголоски секуляризированной христианской идеи Провидения.

В рамках этой концепции и возникает идея революции, модифицируя свое семантическое содержание в зависимости от артикуляции и структурирования идеи Истории вплоть до полной противоположности изначальной этимологии. Это первоначальное изменение смысла революции достаточно подробно проанализировано в литературе, сошлемся здесь на хорошо известную работу Ханны Арендт «О революции» (1963).²⁰³ И действительно, от идеи возврата к первоначальному порядку вещей (а именно таков смысл термина «революция» в астрономии: возврат небесного тела на свою первоначальную орбиту, от которой оно по тем или иным причинам отклонилось) понятие революции в рамках прогрессистских концепций XVIII века уходит и приобретает новую смысловую наполненность: внезапное изменение, разрыв в порядке временной длительности, когда история изменяет свой смысл. Модерн мыслил себя как эпоху, радикально отличную от предшествующих эпох, ему было присуще

²⁰⁰ Кант И. Спор факультетов. II. § 2 // Собр. соч. в 8-ми тт. М. 1994. Т. 7. С. 96.

²⁰¹ Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественные записки. 2004. № 3.

²⁰² Кондорсе Ж.-А. Эскиз картины прогресса человеческого разума. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1936. С. 228.

²⁰³ См.: Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. Гл. I.

острое переживание этой новизны и революционности (собственно, именно к этому переживанию и сводилась суть спора Древних и Новых), которая сама по себе воспринималась как благо, как канун еще более радикального – и на этот раз уже окончательного – освобождения человечества от всех зол. «Только там, где присутствует пафос новизны и где новизна сочетается с идеей свободы, мы имеем право говорить о революции», «стремление освободиться и построить новый дом, в котором могла бы поселиться свобода»,²⁰⁴ – замечает Х. Арендт. И добавляет: «только в процессе революций XVIII века стало очевидным, что новое начало способно быть политическим феноменом, и более того, что оно может явиться результатом сознательно произведенных человеческих действий».²⁰⁵

Арендт показывает, как понятие революции изменяет свою смысловую наполненность от «возвращения к старому» («Славная революция») в раннем Модерне к «радикальной новизне» в Модерне зрелом (с конца XVIII в., американской и французской революций). Если брать исторический план, то здесь ведущую роль играют как раз прогрессистские концепции Тюрго-Кондорсе. Происхождение идеи революции в Модерне двойственно: с одной стороны, буржуазная идея прогресса, в рамках которой революция означает ускорение предустановленного движения; с другой – революция представляет собой как бы скачок вне прогрессивной линии развития, следствие желания быть свободным. В историческом плане это совпадает с высвобождением времени свободы (освобожденное время духа) от времени необходимости (здесь в смысле Адорно: подавление природы, которое заставляет историю начать свой ход).²⁰⁶

Понятие революции возникает первоначально для обозначения коренного перелома в социально-политическом развитии, и лишь затем к этому смыслу присоединяется другое, более значимое смысловое ядро, связанное с освобождением. Почему? Потому что на политической арене возникает новый субъект исторического и политического действия – пролетариат, народ, массы и т.д.

Таким образом, понятие революции являет нам тесное переплетение двух планов – плана исторического и плана политического, в их взаимообусловленности и взаимодействии. Идея Истории во всем богатстве ее смысловых нюансов эпохи Модерна модифицирует семантическое поле понятия революции, а то, в свою очередь, привносит новые смыслы в «собирательное сингулярное имя» (по Козеллеку) Истории.

Мы возьмем в качестве отправной точки два указанных Арендт смысловых ядра понятия революции – привносимая в ткань истории радикальная новизна и открывающееся поле свободы – и схематически попытаемся проследить их изменение в наши дни по сравнению с Модерном, чтобы понять ту двойственную ситуацию, в которой оказалось понятие революции сегодня. С одной стороны, оно утрачивает свою магическую притягательную силу, которой обладало в XIX – начале XX столетия, не играет более роль концепта, структурирующего поле политического. С другой – революционные события рубежа тысячелетий, приведшие к краху Советского Союза и всего социалистического лагеря, череда «цветных революций» и событий «арабской весны» открыли новое проблемное поле в этом отношении; однако зачастую дискуссии по поводу революционного характера этих событий укладываются в обсуждение проблемы «конца истории».

Итак, мы констатировали, что событие революции несет в себе разрыв ткани истории, знаменует начало нового («новый порядок» *versus* и взамен «старого порядка»), вырабатывая новые средства для легитимации этого «нового порядка». Но откуда берется это новое – новые темпоральности, новые структуры поля человеческой практики, новый исторический субъект? И что собственно происходит в период революции с пространствами истории и политики? Французские просветители, особенно последнее их поколение, явившееся непосредственным участником революционных баталий, одолеваемое жаждой эмансипаторских новаций, было уверено: революция творит «новый порядок» *ex nihilo*, с помощью разума, предварительно расчищая почву, на которой впоследствии будет возведено здание нового справедливого общества, от «пережитков прошлого» и остатков старого порядка. И именно в силу своей

²⁰⁴ Там же. С. 39–40.

²⁰⁵ Там же. С. 57.

²⁰⁶ Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 287.

разумности новое общество будет во всем лучше старого – в нем не будет всего того, что противоречит Разуму: насилия, жестокости, неравенства, нищеты, голода. Для «идеологов» этого последнего поколения французского Просвещения революция – не просто событие в череде других событий – за чисто внешней стороной исторических обстоятельств читается прогресс разумного начала, борющегося за создание нового общественного устройства, во всем превосходящего предшествующее. Расхождение между порядком природы, где все пребывает в равновесии и гармонии, и социальным хаосом, с точки зрения этих мыслителей – случайное обстоятельство, следствие неверного употребления людьми их свободы и разума. Бог не несет ответственности за такое положение вещей, ибо свобода – конституирующая черта человеческой природы. Поэтому человек, полагают просветители, должен выйти из периода детства человечества и взять на себя ответственность за все происходящее вокруг него и с ним. Революция должна придать этому требованию силу закона. Общество должно подчиниться телеологии сознательных требований человека, которые трансформируют естественное право в позитивное. Свободный человек должен подчиниться не другому человеку и его произволу, а безличному закону. Как писал Фредерик Джеймисон: французская революция стала «событием совершенно новой исторической структуры, которая отныне будет определять наше понимание событийности и самой истории. Революция стала теперь новым типом коллективного события, а историческая хронология оказалась внезапно в значительной степени ориентирована на радикально новую историчность, которая в процессе своего развертывания меняет условия философской деятельности как таковой».²⁰⁷

Сейчас дискурс о революции разворачивается в совершенно ином политическом и теоретическом контексте. Изменение смыслов понятия «революция» в современном мире, утрата коренной связи этого понятия с понятием «освобождение» связано с нашей нынешней неспособностью идентифицировать на символическом уровне человеческое время с *ordo historiae* метафизической традиции Модерна и, следовательно,

видеть в этой идентичности универсальные рамки, определяющие эффективность и артикулированность дискурса действия и политики. В самом общем смысле речь идет о разрыве идеи революции с идеей освобождения и сохранении такой связи между идеей революции и идеей Истории при радикальном пересмотре последней (отказ от телеологизма и линейных детерминистских и прогрессистских схем). Налицо разрыв идеи революции с идеей освобождения – и в этом причина «охлаждения» к ней. Это говорит только о том, что свобода понимается «потребительски», как «иметь». Остается только одно измерение этой идеи – переход к альтернативному (иному) развитию как следствие отказа от линейной идеи Истории.

Одно из наиболее ярких проявлений кризиса современной идеи Истории (отчетливо прочитывающееся уже в «Несвоевременных размышлениях» Ницше и гуссерлевском «Кризисе европейских наук») – это постепенное исчезновение смысла истории, которое приводит к разрыву между человеческой историей и великими трансцендентальными принципами. История утратила свой *telos*, она перестала ставить перед людьми универсальную задачу всеобщего освобождения, оставив их лицом к лицу перед чистым становлением, сводящимся к хронологической последовательности моментов, лишенной единой направленности. Существование перестало быть управляемым временем, непосредственно направленным на преодоление распыленных индивидуальных интересов, дабы возвысить индивидуальную жизнь до уровня обязанностей рационального человечества. Была разрушена телеология европейской истории, призванная свести различные исторические формы западной жизни к некоему единому принципу. Как утверждает Франсуа Фюре, «если капитализм стал будущим социализма, если буржуазный миропорядок следует за порядком, установленным «пролетарской революцией», то чего стоят эти гарантии? Инверсия канонических приоритетов разрушила сцепление эпох на пути прогресса. История снова стала темным туннелем, куда человек углубляется, не зная, к чему приведут его действия, не уверенный в своем будущем и в научной обоснованности того, что он делает. Лишившийся Бога, демократический индивид увидел с тоской, как в конце века зашаталось

²⁰⁷ Jameson F. Introduction // Kouvelakis E. Philosophie et revolution. P.: PUF, 2003.

на своем пьедестале божество истории: эту тоску ему еще предстоит зажать».²⁰⁸

Характерная для политического и исторического сознания связка трех понятий – Истории, Революции и Эмансипации – была разорвана уже в первой половине XX века. Главное, что было поставлено под сомнение, – это вера в бесконечный прогресс, прогресс Разума (олицетворением которого выступало бурное развитие науки и техники), которому сопутствовал прогресс в сфере культуры и в политике, историцистский провиденциализм с его «объективными тенденциями истории», неминуемо ведущими к всеобщей эмансипации и процветанию.

Тема критики оптимистической прогрессистской концепции Истории отчетливо звучит уже в ранних работах представителей Франкфуртской школы, отказывающихся мыслить политическое становление современного общества на основе апологии Разума в Истории. Адорно и Хоркхаймер используют метафору двуликого Януса, символизирующего парадоксальный характер исторической эволюции. История человеческой цивилизации, история побед Разума над природой, утверждает «Диалектика Просвещения», есть не только история прогресса в освобождении человечества – это всего лишь один из ликов Януса. У истории есть и другая сторона – прогресс оплачивается утратой собственно человеческого в человеке, и Разум, чтобы утвердиться, идентифицируется с автономным Я, которое всякий раз принимая обет освобождения, изменяет ему. Вначале разрыв анимистического слияния с природой позволил субъективности исходить из самоидентификации и воздействовать на мир как на объект, лежащий перед его взором. Установление этого инструментального отношения позволило человечеству самоконституироваться посредством труда, но в то же время свобода по отношению к внешним силам, предполагающая конституирование Я, противостоящего не-Я, реализуется только в рамках искажений и отторжений, заключенных в инструментальном отношении, отражающем субъективность в природе.²⁰⁹ Подавление

внутренней природы, столь необходимой для сохранения индивида как социального и политического существа, обеспечиваемое не производством и экономикой, но моралью и функционированием институтов, искажает и обедняет субъективность человека. Победа над природой – только видимость освобождения, так как в социальном плане она опирается на победу над самим человеком, чья мораль начинает рассматриваться по модели технического разума. У всех этих процессов единая логика – логика инструментального разума, которая объемлет и реификацию субъективности, и этатизацию политического мира, и тотальное планирование, и уничтожение особенного во имя универсального и всеобщего. Сформулированная Модерном идея Истории, несущей освобождение человечеству, оборачивается своей противоположностью «В философии истории повторяется то, что произошло в христианстве: добро, которое на самом деле так и продолжает претерпевать страдания, маскируется под силу, определяющую ход истории и, в конце концов, одерживающую победу. Оно обоготворяется в качестве мирового духа или же имманентного закона. Но таким образом не только история непосредственно превращается в свою собственную противоположность, но и извращается сама идея, призванная сломить необходимость, логический ход происходящего. /.../ Таким образом, христианство, идеализм, материализм, содержащие истину, наряду с тем все же несут ответственность за те мошенничества, которые во имя их совершаются. В качестве провозвестников силы – будь то даже сила добра – они сами превратились в способствующие укреплению организации исторические силы и в качестве таковых сыграли свою кровавую роль в действительной истории человеческого рода: роль инструментальной организации».²¹⁰ В «Теории авторитарного государства» Адорно скажет: до тех пор, пока история следует логическим путем, она не выполняет своего человеческого предназначения.

ная, подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и предназначены все действия самосохранения – собственно как раз тем, что должно быть сохранено». См. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.-СПб. 1997. С. 75.

²¹⁰ Хоркхаймер М., Адорно Т. Зарисовки и наброски. К критике философии истории // Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. С. 274-275.

²⁰⁸ Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998. С. 557-558.

²⁰⁹ «Господство человека над самим собой, утверждающее его самость – читаем мы в «Диалектике Просвещения» – виртуально есть во всех случаях уничтожение того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обуздан-

Возможна ли эмансипация человека в этих условиях, и каким должен быть в таком случае революционный процесс – вот вопросы, к которым обращаются представители Франкфуртской школы на раннем этапе своего творчества. Их ответ заключался в требовании обновления революционного проекта, который, по их мнению, следует связывать не с революционным классом, но с индивидом, и не с его разумом, но с волей. Это была попытка помыслить социальную альтернативу существующему порядку вещей, создать концептуальный инструмент практики социальных изменений. И в «Критической теории вчера и сегодня» Хоркхаймер выдвинет лозунг такой теории: оптимизм воли и пессимизм разума. И, следовательно, то новое, что способна принести история, связано вовсе не с разумом, как предполагала социально-политическая мысль XVIII-XIX века, а с волей. А в «Тоталитарном государстве» он скажет, что критическое сознание не может быть больше осмыслением законов истории, ибо смысл истории превратился в свою противоположность. Поэтому и критическое сознание должно стать «опытом страдания». Причем в тоталитарном обществе страдание претерпевает не какой-то отдельный класс, но все общество в целом, поэтому и точкой сопротивления должен стать индивид вне какой бы то ни было классовой или партийной принадлежности. Хоркхаймер здесь рассуждает не в терминах уверенности в действии исторической необходимости, но в терминах возможности: эмансипация не может быть непрямым результатом исторических законов, она зависит от желания, воли к освобождению, которая сама по себе крайне непостоянна. Опыт действительно свободного действия масс в истории всегда был явлением кратковременным, чаще всего он оказывался оборванным, что способствовало распространению политической апатии и постепенному вытеснению идеи конца господства. После разоблачения метафизической и исторической иллюзии Гегеля и Маркса бессмысленно задаваться вопросом о том, «созрел» ли мир для революции, этот теоретический вопрос должен быть заменен скорее вопросом этическим и практическим. Отказавшись от веры в прогресс, теория всякий раз должна сопоставлять историю с заложенными в ней возможностями, руководствуясь не *теоретической* уверен-

ностью в победе революции, а уверенностью *практической*, извлеченной из опыта страдания индивидов. Тем самым разводятся практико-политическая и технико-экономическая стороны проблемы эмансипации. В поздний период творчества и Адорно, и Хоркхаймер откажутся и от этой практической уверенности в результатах революционной практики, показывая, что развитие общества неумолимо ведет к управляемому миру, поэтому следует отказаться от революционных притязаний и сохранить имеющиеся ценности, в первую очередь, автономию индивида. Они настойчиво искали альтернативу капиталистическому развитию, иную возможность для человека быть вписанным в историю; они попытались обосновать идею социального изменения, которое было бы произведено не динамикой социальных и политических битв, но рефлексией человека над самим собой, инструментом которой станет новая социальная теория. Они вводят различие между идеей буржуазной революции, которая была главным образом высвобождением уже наличествующей реальности (в частности, в рыночной экономике), и революцией, которую еще предстоит совершить и которая должна принести действительно радикально новое.

Итак, представители Франкфуртской школы сделали решающий для XX столетия шаг, продемонстрировав, что сегодня бессмысленно вкладывать в понятие политического действия типично модерновское стремление практического овладения судьбой, что, как это ни прискорбно, невозможно «вписать свой проект в историю». Однако значение этого шага было скорее «негативным» – он означал отказ мыслить становление современного общества на основе апологии Разума в Истории. Но при этом франкфуртцы оставались еще в пределах старой гегелевской онтологии: для них «смысл истории» превращался в своего рода нонсенс, а Разум в Истории открывался как становление неразумия. Видение истории в таком контексте подчинено, так же, как и у Гегеля, эссенциалистской категории процесса – только в случае Хоркхаймера и Адорно речь идет о процессе саморазрушения разума. Для них история – это постоянный кризис, открытый преступлением Разума против самого себя. И в этом случае на дискурсивном уровне сложно говорить о «возникновении» неразумия в истории,

ведь это скорее рациональный процесс: «разум *становится* неразумным», но не «неразумие *возникает*», т.е. опять-таки процесс, а не событие. В этом отношении, видимо, следует признать правым Корнелиуса Касториадиса, которого пронизательная критика марксовской философии истории подвела к парадоксальному выводу о том, что сегодня нельзя быть одновременно революционером и марксистом.²¹¹ Для Касториадиса революция – это «событие-разрыв», означающее «выход “основного состава” сообщества на фазу *политической*, т.е. *устанавливающей* деятельности», «иной тип работы общества над самим собой, ...каковому свойственны собственные ритмы и собственная темпоральность».²¹²

Однако было бы несправедливым утверждать, что в борьбе двух традиций в понимании революции – традиции, берущей начало в Модерне и рассматривающей революцию в контексте созданной исторической и политической рефлексией Модерна детерминистской и телеологической схемы Истории, и, с другой стороны, порожденной XX веком идеи революции как события, возникновения которого необъяснимо в логике исторического процесса, – представители Франкфуртской школы скорее на стороне первой. Ведь вопрос об Истории был поставлен Хоркхаймером и Адорно как *практический* вопрос, но в контексте проблематики революции как эмансипации. Хоркхаймер осознает это противоречие, но он продолжает считать себя материалистом, и дух этого материализма, противопоставляющего исторический материализм «Капиталу» Маркса, восходит непосредственно к Вальтеру Беньямину, который хотел превратить «истмат» в философию истории, заменив «буржуазную» категорию прогресса категорией актуализации.

Беньямин одним из первых выступил с критикой прогрессистской и детерминистской концепции истории. Он размышлял о двойственности исторического становления Модерна с его мифом о прогрессе. С одной стороны, этот миф открывает темпоральное измерение, открытое к миру, в нем речь идет о человеческом времени, затронутом

различием, внутренне присущем мировому порядку. С другой – эта открытость обеспечена тем, что каждое из мгновений есть мгновение становления и, следовательно, определяет необратимо ориентированную последовательность. Следовательно, нет ни одного мгновения, действительно отличного от других, ведь все они организованы в соответствии с одной логикой, ориентированной на создание будущего как восходящая, прогрессивная линия. Это – конфигурация времени в качестве континуума; это – «понимание настоящего, которое не было бы переходом, в котором время остановилось и замерло».²¹³ Его логика гомогенизирует временные последовательности и лишает его всякого радикально революционного содержания (стирает различие между тем, что предшествует и тем, что последует), так как никакое мгновение нельзя считать наступающим в качестве цели некоего процесса, которому оно принадлежит. Так формируется история как спекулятивное понятие, вбирающее в себя все изменения и тем самым отрицающее возможность радикального изменения, разрыва. Беньяминовское понимание материальной культуры XIX века высвечивает ту же двойственную структуру исторического времени в типичной для эпохи Модерна проблеме превращения материальных благ в товар. Беньямин подмечает парадоксальный феномен: новизна вещей является препятствием для какой бы то ни было субстанциональной модификации мира. И с этой точки зрения фантасмагорическое превращение в товар – символ бессилия времени буржуазного мира, той эпохи, которая отождествила ход времени с Историей, прикрывая свою логику идеологической натурализацией собственных ей социальных отношений и институтов.²¹⁴ Это бессилие и выражено в вере в чудо прогресса с возведением утопии в горизонт, изъятый отныне из ткани живой

²¹³ Беньямин В. О понимании истории // Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 235.

²¹⁴ «Учение о вечном возвращении как мечта о предстоящих невероятных изобретениях в области техники репродукции». См. Беньямин В. Центральный парк // Беньямин В. Озарения. С. 222. Или: «Диалектика товарного производства: новизна продукта получает (как стимул спроса) доселе неизвестное значение; постоянно повторяющееся вполне очевидно появляется в массовой продукции в первый раз» (там же. С. 223). «Какой смысл миру, погрузившемуся в мертвую неподвижность, говорить о прогрессе?» (С. 224). «Понятие прогресса можно вынести из идеи катастрофы. То, что это «так и продолжается», и есть катастрофа. Это не то, что предстоит в каждом случае, а то, что в каждом случае есть» (С. 224).

²¹¹ См.: Касториадис К. Воображаемое установление общества. М.: Логос-Гнозис, 2003. Ч.1. Марксизм и революционная теория.

²¹² Касториадис К. Дрейфующее общество. М.: Гнозис-Логос, 2012. С. 182-183.

истории. В этой фантазмагории совершенно исчезает момент личностный, момент индивидуальной воли и индивидуального действия, его затмевает вера в чудодейственную силу прогресса.

Иными словами, по Беньямину, темпоральный опыт Модерна – это опыт самодостаточного настоящего, замкнутого на самом себе. То, что приходит в этот мир и позиционирует себя как новация, на самом деле не производит никаких изменений в темпоральной ткани. Императивы актуальности, модернизации, обновления сменяют друг друга, но в действительности ничего *радикально нового* не происходит, это лишь вечное возвратное движение того, что актуально и того, что преодолено. Совершенно очевидно, что в рамках этого явления, очень тонко подмеченного Беньямином и получившего в наши дни названия презентизма,²¹⁵ революция как переход к иной, радикально новой социальной структуре невозможна (напомним еще раз парадокс, сформулированный К. Касториadisом: нельзя быть одновременно марксистом и революционером).

В некотором смысле мы живем «после» Современности в ее метафизическом смысле и «после» Истории, так как мы утратили уверенность в том, что История может идти вперед, мы утратили саму веру в Историю и ее смысл. Мы – «после» Бога, Человека, Истории, утверждают сегодня многие. Человек действительно был проблемой философской рефлексии, но она сегодня исчерпана. Мир сегодня не перешел в новую фазу своего развития. Это – конец Истории как большого нарратива Современности. Произошло нечто окончательное, но оно, вопреки твердому убеждению европейца XVIII-XIX вв., не открывает нам новых горизонтов Истории, порвавшей с тем, что было предысторией, у нас нет реальных альтернатив существующему образу жизни, мы «увязли» в «малой событийности» наших будней. Продолжается течение дел, вещей и явлений, но оказывается утраченной сама способность этих вещей порождать смысл и конституироваться в качестве событий, т.е. явлений, которые несут в себе определенный смысл – смысл историчности. Будущее казалось ориентированным на достижение целей

освобождения, эмансипации человечества, установления всеобщего мира, достижение счастья всеми, способными услышать голос своего разума. Но эти основания оказались подорванными, и западная цивилизация утратила горизонт смысла, что породило апокалипсические видения и ощущение всеобщего абсурда человеческой жизни. Выросшие из этих оснований и подпитываемые просвещенческим оптимизмом идеологии казались исчерпанными. Смысл «конца истории» в том, что вещи и дела утратили связность – связность смысла и порядка.

Однако «конец истории», на наш взгляд, следует понимать не как увековечивание существующего порядка вещей и принятие точки зрения отсутствия реальных альтернатив сложившемуся мировому порядку, а, скорее, как исчерпание интерпретативной схемы (схемы всеобщей истории), в рамках которой человек эпохи Модерна мыслил происходящие в его мире трансформации и, в частности, возникновение новых структур, означающих возникновение «нового мира» как нового опыта, новых социальных и политических практик. Иными словами, понятие конца истории очерчивает некий круг вопросов, касающихся нашей нынешней неспособности идентифицировать на символическом уровне человеческое время с историческим порядком метафизической традиции Модерна и, следовательно, признать в этой конфигурации универсальные рамки действительности и эффективности соответствующим образом выстроенных дискурсивных практик, коллективного действия и политики. Говорить о постметафизической историчности (и соответственно месте и значении в ее рамках революции) означает, прежде всего, выявить те изменения, которые произошли на уровне опыта, на уровне прагматики в последнее время.

Сегодня можно выделить два пути решения этой проблемы (и соответственно концептуализации идеи революции в их контексте). Это, во-первых, путь, выводящий на идею конца истории как растворения ее единства – распад форм ее темпоральности вплоть до придания плюральным рамкам событийности тройственного порядка телеологии, нормативности и значения. Во-вторых, это путь, ведущий к замене старой (метафизической) исторической

²¹⁵ См., например, Hartog F. Régimes d'historicité. Présent is meet expériences du temps. P.: Ed. du Seuil, 2003.

онтологии другими онтологиями, способными создать новую артикуляцию отношения к миру и опыта мира. Т.е. это, с одной стороны, проблема распада смысла Истории и ее трансцендентального значения, растворения этого смысла в множественности мотиваций и целей; решение этой проблемы зачастую выводит на признание темпоральности в ее краткосрочной непосредственной событийности и индивидуализм. С другой стороны – внешне противоположная проблема идентификации сил, которые противодействуют этому рассеянию центра посредством активации иного горизонта, нежели горизонт Истории старой метафизики, – дискурса и действия.

Как представляется, из новейшей критики принадлежащих Модерну понятий революции и истории можно извлечь два следствия, имеющих принципиальное значение для нашего сегодняшнего понимания политических смыслов истории и того, чем может быть революция в наши дни. Оба этих момента соотносимы с тем семантическим ядром, которое и формировало содержание понятия революции в Модерне – «освобождение» и «радикальная новизна и легитимация создаваемого социального порядка». Полагаю, что в отношении первого из этих моментов можно было бы принять выдвинутую в начале XX века идею разрыва между идеей революции и порядком эмансипации. Это очень важный момент. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня очень часто зло в истории мыслится как возврат или «прорыв» на относительно стабильную поверхность нашего сегодняшнего цивилизованного мира прошлых, казалось бы давно ушедших архаичных форм социального порядка, мироощущения, политических смыслов. Но рассуждения подобного рода представляют собой, на наш взгляд, типично модерновский диагноз, основанный на прочной уверенности, будто все то, что не принадлежит восходящей линии прогресса (связываемого с процессами модернизации в экономическом, социальном и политическом плане, не говоря уже о плане чисто культурном и научном), есть варварство и регресс. Нужно отказаться от аксиологических оценок в дихотомических терминах прогресс/регресс, варварство/цивилизация применительно к радикально новому, возникающему в социуме как альтернатива старому порядку, ибо мы не обладаем четкими критериями различия

того, что является, а что не является прогрессивным в истории человеческого общества, что весьма убедительно показано уже в «Диалектике Просвещения». Иными словами, сегодняшняя революция совершенно не обязательно должна привести нас в «хорошее общество».

Не в этом ли кроется причина того, что многие отечественные политологи отказываются видеть собственно «революционность» в катаклизмах, происходящих на постсоветском пространстве? Употребляя термин «цветные революции», они вместе с тем делают различные оговорки, будто бы эти революции «не вписываются в классическую парадигму», ибо «базируются на моральном очищении и ценностном изменении, а не на обновлении общества на основе структурных изменений», иными словами не привели ни к какому существенно улучшению в жизни общества.²¹⁶ Да, «классическая парадигма», разумеется, изменилась, но дело здесь не в «моральном очищении» или «структурном изменении», ведь хорошо известно, что никакая революция и не начиналась с требований «структурных изменений», речь всегда шла о чем-то совершенно конкретном и «мелком» с точки зрения, скажем, «закона роста основательности исторического процесса»²¹⁷ – о хлебе, о земле, об отмене несправедливого закона, о прекращении затянувшейся войны, обескровливающей общество... И здесь, отказавшись от исчерпавшей себя «классической парадигмы» детерминистской и прогрессистской Истории, очень важно понять, в чем же состоит то «новое», что может нести в себе революционное событие и откуда берется это «обновление общества на основе структурных изменений».²¹⁸ И это, собственно, и есть второй момент, о котором речь шла выше.

Нам хорошо известны ответы, которые давала эпоха Модерна на эти вопросы. Первый из этих ответов заключался в том, что революционный Разум творит новый

²¹⁶ См., например: Сурмин Ю.П. Постмодерн-революции: сущность и тенденции развития // Социология власти. 2005. № 6. С. 134-141; Эсенбаев А. Э. «Революция тюльпанов» в Кыргызстане и особенности трансформации политической системы: попытка осмысления // Власть. 2009. № 3. С. 144-147.

²¹⁷ См.: Мусаэлян Л.А. О законах истории, цветных революциях и возможности белой революции в России // Вестник Пермского университета. Сер. Философия. Психология. Социология. 2012. Вып. 3 (1). С. 5-15.

²¹⁸ Сурмин Ю.П. Указ. соч. С. 135.

порядок на предварительно расчищенной от предрассудков прошлого почве. В этом смысле революция – не просто разрыв в ткани истории, но и уничтожение этой истории во имя универсального человечества. «Когда встал вопрос установления свободы на руинах деспотизма, равенства – на развалинах аристократии, то мы мудро поступили, отказавшись искать наши права в капитуляциях Карла Великого или древних законах; мы положили в их основание вечные установления разума и природы... Древние законы народов – не более чем собрание примеров покусительства силы против справедливости, примеров нарушения прав всех в пользу интересов некоторых; политика всех правителей представляет собой лишь череду предательств и насилия...».²¹⁹ Взаимоотношение Истории и Революции здесь парадоксально, точнее, главный парадокс здесь в соотношении временных темпоральностей и модальностей исторического процесса. Возникнув в лоне прогрессистского понимания истории, понятие Революции как бы уничтожает прошлое, выстраивая линию истории как целиком устремленной в будущее. Прошлое уничтожается во имя будущего – счастливого, светлого, лишенного несправедливости и насилия. И главным орудием здесь выступает Разум. Революционная эпоха решительно порывает с прошлым, олицетворенным в предрассудках старого порядка, с которыми следует порвать. Вызов разума, брошенный установленным обычаям, открывает новую длительность: в понимании революционеров История не длится – в самом событии революции она находит новое начало, начинается вновь благодаря переходу из царства тьмы в царство света и свободы. Старый порядок характеризовался монотонным течением жизни, ритмичным следованием традиции и обычаю, революция же ускоряет и как бы уплотняет время. Каждый день приобретает неожиданное символическое значение, он исполнен неведомых ранее надежд и угроз, ставя под вопрос жизнь и смерть каждого участника событий. «Кризисные моменты, – писал Шатобриан, – порождают удвоение человеческой жизни. В распадающемся и рассыпающемся обществе борьба двух гениев, столкновение прошлого и будущего, сме-

шение старых нравов и нравов зарождающихся образуют переходное сочетание, не дающее никакой передышки. Страсти и характеры в состоянии свободы проявляются со всею своею силой, какой они не имели при обычном течении жизни».²²⁰

Этот момент очень тонко подмечен Вальтером Беньямином в его известном 15-м тезисе из «Тезисов об истории». Календари, говорит Беньямин, отсчитывают время иначе, чем часы; календари являются «монументами исторического сознания», вводя новую темпоральность в Историю. Они вводят дисконтинуальность, прерывистость в историческое время, в этом их символическое значение. Они превращают дату в событие, в точку разрыва, позволяющую обозначить качественное различие в течении времени, событие, которое не выводится из предшествующих по законам каузальных связей.

Так возникает понимание революционного времени как времени сакрального, переживаемое как великое время творения и обновления, как своеобразный космологический феномен. Э. Лерминье в своих «Философских письмах, адресованных жителю Берлина» определяет французскую революцию как «уничтожение времени и триумф силы». Революция, полагает он, есть «неизбежная иллюзия, сопутствующая порождающему и питающему революции святому энтузиазму, что можно вовсе обойтись без времени, перепрыгнуть через годы и даже через век, одним махом заложив прочные основания и даже возвести здание нового общества».²²¹

Таким образом, в этой версии соотношения революции и Истории революция, противопоставляя замкнутому на самом себе времени (времени старого порядка) время разрыва, открытое время, в котором человек способен к самосовершенствованию, утверждает свое космологическое значение. Революция – это творение нового: нового порядка, нового времени на предварительно расчищенном месте.

Ситуация меняется после Великой французской революции. В восприятии послереволюционных идеологов революция – по-прежнему великое историческое свершение, однако та новизна, которую она

²¹⁹ Condorcet J.-A. Sur le sens du mot "revolutionnaire" // *Euvres compl. de Condorcet*. V. 12. P. 1847. P. 618-619.

²²⁰ Chateaubriand R. *Memoires d'outre-tombe*. Livre V. Ch.11.

²²¹ Lerminier E. *Lettres philosophiques adressees á un Berliinois*. P. 1832. P. 157.

несет в себе, не возникает «из ничего», она вызревает постепенно в недрах «старого порядка», старого строя общественных и политических отношений. Революция лишь санкционирует и легитимизирует существование нового социального порядка, соответствующего порядку ментальному. Как говорил Алексис де Токвиль, революцию делают не рабы, но свободные люди. И эта свобода постепенно прорастает в предреволюционных структурах, в которых ей становится тесно. Так, французская революция *de jure* уничтожила феодальные права, но на деле они уже практически нигде не работали еще накануне революции; она торжественно провозгласила уничтожение рабства, но во Франции оно и не существовало. Именно в силу того, что новое общество уже существовало, что оно начало сознавать себя в качестве такового, оно и стало освобождаться от сдерживающих его оков. Оба общества – старое и новое – суть продукт истории, только первое – истории умирающей, нисходящей, тогда как второе – истории живой, восходящей; в предреволюционный период они сосуществуют, их структуры накладываются друг на друга.

Этот, второй вариант ответа на вопрос, откуда берется новый порядок, который знаменует революция, прочитывается и в творчестве Маркса, полагавшего, что революции рождаются конфликтом умирающих общественных отношений с новыми, зарождающимися и уверенно прокладывающими себе дорогу в ткани социального.²²² Но и этот вариант опять-таки целиком принадлежит детерминистской и прогрессивистской концепции истории, в рамках которой каждый последующий этап обусловлен предшествующим с помощью *nexus causal* и, с другой стороны, превосходит последний по уровню развития производительных сил и т.д. И самое главное – идея науки, которая способна не только осмыслить исторический процесс и дать о нем исчерпывающее знание (что является следствием утверждения о рациональности реальности), но также и определить цели человеческого действия. Не случайно поэтому критическое переосмысление теории и практики марксизма, особенно его воплощения в советской действительности и критика то-

талитаризма на западе начинается именно с критики гегелевской и марксовской концепции истории как теории, приводящей к поглощению политического наукой об истории, демонстрирующей свою каузальную зависимость от внешней по отношению к ней инстанции и фактически к уничтожению политического как такового.²²³

Эта критика историцизма объединяла всех – либералов и консерваторов, социалистов и некоммунистических левых: «...современный кризис западной цивилизации тождествен кризисному периоду в истории идеи прогресса в его подлинном смысле, – скажет Лео Штраус. – /.../ Непосредственная причина упадка веры в прогресс может быть выражена в том числе следующим образом: идея прогресса в современном смысле подразумевает, что поскольку человек достиг определенного интеллектуального, социального или этического-морального уровня, то существует некий надежный минимальный порог, ниже которого опуститься он не может. Это убеждение, однако, эмпирически опровергается той невероятной варваризацией, свидетелями которой мы имели несчастье быть в нашем веке».²²⁴ С другой стороны, Х.Арендт в работе с симптоматичным названием «Между прошлым и будущим» в присущей ей манере противопоставляет современному историцизму греческую концепцию историчности, радикально разводящую природу и историю. В плане развития политической мысли кульминацией современного исторического видения мира для Арендт является марксова теория, в которой мы имеем дело с законченным синтезом теоретического и телеологического течений, с синтезом, порождающим иллюзию умопостигаемой и одновременно манипулируемой истории, в которой человек не живет, но которую он *творит*. Раньше история состояла из действий живущих в ней людей, теперь она представляет собой процесс, создаваемый человеком, который творит природу и точно так же творит историю. При этом утрачивается подлинный смысл историчности, познание убивает действие (Ницше), т.е. саму субстанцию

²²³ Подробнее см. Федорова М.М. Понятие политического в контексте феноменологической критики концепции истории // Полис. 2007. № 4.

²²⁴ Штраус Л. Прогресс или возврат? Современный кризис западной цивилизации // Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000. С. 274, 277.

²²² См. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология, гл.1; Маркс К. Капитал. Предисловие.

историчности, которая порождается необычным, разрывами.²²⁵

Возвышенное созерцание чуда Бытия, чуда божественного творения, продолжает Арендт, заменил скальпель ученого. Идеологию не интересует чудо Бытия, чудо начала – истории, человеческого действия. Главная проблема подлинной историчности, в которой принцип каузальности лишен своих прав, – возникновение нового и непредсказуемого. Реальность не является *a priori* рациональной и, следовательно, полностью прозрачной и предвидимой, наоборот, «бесконечно невозможное как раз и составляет ткань того, что мы называем реальным», и все наше существование основано на «цепочке чудес». «Именно в силу того, что существует этот элемент «чудесного» в нашей реальности, события ... всегда заставляют нас поражаться тому, что они происходят. Воздействие события никогда не является полностью объяснимым; его фактуальность в принципе трансцендентна всякому предвидению».²²⁶ Итак, новизна –

сама ткань истории, убеждена Арендт. Но политический мыслитель, работающий исключительно в рамках каузальных концептуальных схем, рискует утратить сам предмет своей науки.

Итак, философия XX века постепенно прокладывает путь к новому пониманию историчности человеческого бытия не просто как процесса, движения, хода вещей, в котором что-то «происходит» или «случается». М. Хайдеггер, например, в своем курсе 1942 г., посвященном Гельдерлину, говорил о соотношении историчности и поэтического творчества, историчности и первоначальности: история как история первоначала. В первой же лекции Хайдеггер говорит о Гельдерлине, создавшем начало другой истории – истории, которая открывается на борьбу, в которой решится приход или бегство бога. Если что-то лишено своего источника или отношения к изначальности, то оно обречено на а-историчность. Такова, например, современная Америка...

²²⁵ «В современную эпоху, – пишет Арендт, – история вдруг стала чем-то, чем она никогда раньше не была. Она не составлена более из действий и страданий людей, она не повествует более о последовательности событий, затрагивающих различные стороны человеческой жизни; она превратилась в процесс, творимый человеком, единственным объемлющим все процессом, который обязан своим существованием исключительно роду человеческому. /.../ Мы знаем сегодня, что хотя мы и не способны «создавать» природу в смысле творения, нам вполне по силам дать начало новым естественным процессам и что, следовательно, мы в некотором смысле «творим природу» и в той же мере мы «творим историю». См. Arendt H. *La Crise de la culture* / Trad. Franc. *De Between Past and Future*. P.: Gallimard, 2009. P. 790.

²²⁶ Ibid. P. 220-221.

Глава II. Логика развития европейских революций в XVI – XIX вв.

А. Г. Глинчикова

Эволюция протестантизма. Почему Реформация в Германии не переросла в трансформацию политической системы. К XVI веку выход из нравственно-политического кризиса позднего Возрождения стал для общества возможен не на пути развития его рационально-языческих компонентов, как это было у Эразма, не на пути простого отрицания Возрождения и возвращения к прежнему типу религиозности, как это было у Савонаролы, не на пути построения утопических экономических моделей, как у Т. Мора, а на пути преодоления его безбожия и язычества с помощью нового типа веры, соответствующей новому индивидуализированному типу личности, рожденному Возрождением. Новое понимание Бога и новая индивидуализированная вера возникают у М. Лютера из оппозиции Возрождению и, одновременно, из стремления сохранить его высшие достижения. В ответ на модернизационный вызов протестантизма эволюционирует и католическая церковь. Иезуиты в лице Игнатия Лойолы, противопоставляют индивидуализирующему протестантизму испанское благочестие, основанное на верности церкви, самоотрицании и аскетизме. В ответ на это, в свою очередь, протестантизм становится более агрессивным, нетерпимым, ветхозаветным и ... боевым за счет того, что в нем нарастают элементы внутренней дисциплины – так рождается кальвинизм. Эволюция от протестантизма в направлении кальвинизма была важным мостиком к политической активизации общества на основе новой религиозности. Однако в самой Германии индивидуализация веры потонула в консервативном крестьянском протесте,²²⁷ в котором

был утрачен индивидуализирующий элемент. Таким образом, Реформация в Германии приняла форму национализации и бюрократизации церкви, но без значимой социально-политической интеграции общества и без его трансформации из патерналистского в гражданское. На первой волне, когда Реформация в XVI веке осуществлялась королями с целью освободиться от подчинения Риму, она еще не способствовала народной интеграции, а была использована правящими классами для секуляризации сверху и национализации при сохранении патерналистского типа систем. И только в Голландии и чуть позже в Англии идеи Реформации легли на более благоприятную социально-политическую почву и дали новые всходы в виде нового типа общественной интеграции – *общественно-религиозной*.

Нидерланды – национально-освободительный вариант гражданской трансформации. В рамках патерналистской системы Нидерланды не имели своего собственного суверенного государства и, в силу геополитических условий, специализировались на торговле. В итоге гражданское и национальное политическое самоопределение здесь *совпадали с Реформацией*. После победы Нидерландской революции и перехода кальвинистской Реформации на сторону реакции начинается поиск атеистических и рационалистических обоснований для гражданских свобод и нового типа нравственности. Так начинается развитие новых рациональных светских воззрений на мир как провозвестник будущего Просвещения. В концепциях Гуго Гроция²²⁸ и Бенедикта Спинозы²²⁹ на смену вере приходит право, а на смену религии, при обосновании морали, приходит философия. Право Голландии на свою государственность не могло быть ни божественным, ни наследственным, а только «естественным». Так для необходимости обосновать новый гражданский тип суверенной власти теория «естественного права», понимаемого как законы разумно и свободно принятого

²²⁷ Наложение нового лозунга Модерна на традиционное общество дало своеобразные социальные и политические плоды в виде социальных доктрин крестьянской войны. Эти доктрины, кстати, имели много общего с русским социализмом. Там же, где крестьяне были одни, идеи индивидуализации веры рождали прямо коммунистические проекты, например, проект Гейсмайра в Тироле. «Пусть не будет замков и городов, останутся одни деревни, уничтожить купечество, общинное равенство, уничтожить торговлю и ремесло как неудобные Богу. Все это – торговля, рудники, ремесло должно поступить в ведение государственной власти, которая возьмет на себя заботу о благоустройстве народа.» Тюрингия. Томас Мюнцер. Эта социальная реформация всегда носила религиозный характер, имела религиозную подоснову.

²²⁸ Гроций Г. О праве войны и мира. М. 1994.

²²⁹ Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Трактаты. М. 1998.

людьми общежителства, кладется в основу концепции «общественного договора». Из этого договора возникает государство, которое не является больше божественным установлением, а есть чисто человеческое установление. Так в ходе осмысления первой гражданской практики нидерландской революции в начале XVII века рождаются первые идеи о новом типе общественной интеграции, о новой форме легитимации власти и о новом качестве общества как субъекта общественного процесса – гражданском. Хотя в Голландии новый тип религиозности и реализуется впервые в новом политическом и социальном качестве общества, тем не менее, здесь он еще не выступил в своей качественной полноте, поскольку был поглощен процессом *национально-освободительным*. Социальная новизна события революции еще скрывается за традиционным восстанием против завоевателей, каковыми выступала испанская власть. Именно *эта* национально-освободительная составляющая новой религиозности вышла здесь на первый план, а не собственно *гражданская составляющая* как таковая. Однако под влиянием голландских событий все эти моменты в полной мере нашли свое осмысление и продолжение в Английской революции.

Английская революция и ее вклад в формирование европейского гражданского принципа. Англия «подхватывает» протестантизм, доводит индивидуализацию веры до формирования нового типа гражданской социальной интеграции и начинает гражданскую трансформацию социально-политической системы. Предпосылки успешного перехода от религиозной к политической модернизации в Англии были связаны как с рядом геополитических преимуществ, так и с наличием исторических традиций общественной консолидации.

Новый тип религиозности постепенно начинает влиять на изменение социального характера общества и запускает процесс гражданской политической трансформации общества. С сомнения пуритан в праве короля быть единственным субъектом политического и общественного процесса, а общества – его объектом, начинается Английская революция.²³⁰ Общество втягива-

²³⁰ Именно пуритане в парламенте 1621 года в ответ на требование короля воздержаться от обсуждения политики, которую он считает своей собственной исключительной прерогативой, ответили отказом, ссылаясь на национальную

ется в новый особый вид социально-политической практики, которая начинает влиять на его социальное качество и одновременно ведет к изменению общего качества социально-политической системы с патерналистского на гражданское.²³¹ Протестантский фактор создает возможность изначального размежевания социальных сил в парламенте при относительном равенстве их социального веса. Второй фактор усиления парламента – *общественно-религиозный союз* английских и шотландских протестантов. Парламентское войско формируется с открытой опорой на новый внутренний тип религиозности. Организация нового религиозного меньшинства оказывается *сильнее* дезинтегрированного в ходе распада традиционной власти патерналистского общества. Именно эта армия индепендентов-протестантов не допускает соглашения и ведет гражданскую трансформацию дальше вплоть до ее республиканского политического завершения.²³²

Протестантский фактор способствует легитимации власти в период отката революции. Общество в лице индепендентов создало новые формы социальной интеграции, свергло власть, но не установило новые формы социального контроля и управления. Конвент Кромвеля был моментом, когда религия передавала социальную эстафету политике. Здесь еще нет ни осознания народом своей *политической субъектности* (народ не рассматривает себя как источник власти), тем более нет институционализации народом своего политического суверенитета (связанного с правом контролировать и менять власть). Политическая практика реставрации показывает, что общество для удержания своего нового положения должно не просто привести к власти новую личность, а *изменить свое ежедневное поведение в политике и создать*

традицию и религиозные принципы протестантских общин. Все это происходило еще до написания известных работ Гоббса «Философское начало учения о гражданине», 1642; «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», 1651.

²³¹ Образуются первые партии. Джон Пим обращается к обществу, объезжает всю Англию, вербуя сторонников и развивая антиабсолютистские и антицерковные идеи. В самом собрании под его влиянием вырабатывается определенная процедура законотворчества.

²³² Они предъявляют королю свою республиканскую программу политической реформы под названием «Пункты предложений». Программа предусматривала: парламент, избираемый на 2 года, должен заседать непрерывно; все должности замещаются по назначению парламента; веротерпимость для всех, за исключением католиков.

стабильные инструменты для осуществления этого.

С момента реставрации пуританство отступает в глубину народной жизни, религия постепенно отделяется от политики, уходя в частную жизнь, в особый тип сообщества, составляющий основу последующей гражданской солидарности. Именно здесь, в квакерстве (как в религиозно-социальном движении) и развивается пока религиозная (будущая либеральная) идея о неограниченной свободе людей, причем как универсальный общечеловеческий принцип. Из этого достаточно конкретного несоответствия старого типа патерналистского государства, которое выступало как государство вообще, новому типу личности, который тоже, начиная с Гоббса, стал выступать как личность вообще, и рождается английский либерализм, рассматривающий индивидуализированную личность, как изначального противника государственной социальности, находящейся с ней в конфликте.

Реставрация не пошла дальше известной черты, новое содержание как бы наполняет изнутри старую форму. У общества открывается уникальная возможность формировать гражданские отношения, не меняя целиком свой сословный характер и сохраняя монархическую традицию.²³³ Перспектива перехода власти к католику Якову и водворение католицизма рассматривалось в Англии как угроза национальным интересам. «Славная революция» 1688-1689 годов приводит к власти Вильгельма Оранского уже на основании договора – Билля о правах. «Билль о правах» был предъявлен новому королю парламентом – конвентом в 1689 году и король его опубликовал в «Декларации прав». Так в 1689 году появляется первая компромиссная²³⁴ политическая инсти-

²³³ Положение короля после реставрации меняется. И главное отличие состояло в том, что у короля больше не было своих средств для осуществления политических действий. Доходы с феодальных повинностей были отменены революцией и короля пригласили именно на условиях подтверждения этой отмены, осуществленной Кромвелем. Земли были конфискованы и распроданы. Король фактически был нанят парламентом для осуществления определенных функций, но, прежде всего – для легитимации его деятельности. Парламент нуждался в короле, т.к. не хотел продолжения революции, сектантства, войны и хотел обеспечить внешнюю политику в своих интересах, которые в целом совпадали с национальными интересами.

²³⁴ Там не было выражено ясно, что король был свергнут народом, но сказано, что «трон освободился», т.к. прежний король отказался от власти (патерналистское обоснование) и одновременно было сказано, что король нарушил основные

туционализация гражданского принципа.

Из наложения рационального мировоззрения Возрождения на религиозную практику Реформации в ходе Английской революции в сознании Т.Гоббса рождается светская теория «общественного договора». После «Славной революции», появляется более завершенная версия гражданской политической концепции Дж. Локка, предусматривающая контроль общества над властью и рассматривающая власть как инструмент общества.²³⁵ Главным открытием этой концепции стало *открытие нового типа общества – интегрированного изнутри*. Именно у Локка появляется идея о том, что общественный договор есть, прежде всего, договор *между членами общества*, а затем уже между обществом и властью.²³⁶

С этого момента в наличии имеются уже все элементы для формирования конституционного учения, которые содержатся в Билле о правах 1688 года: свобода личности как основа государства, верховенство закона, участие народа в выработке закона, контроль народа за его применением. Для обеспечения конституции необходимо разделение властей между государем и собранием избранных представителей от народа. Оправданием, т.е. легитимацией этого типа власти является общественный договор – общественное согласие по поводу принятия подобного устройства. Так из осмысления политических итогов Английской революции, совершенной благодаря новому типу внутренней интеграции, развившейся из Реформации, рождается *идея конституции* как нового светского и гражданского обоснования власти. На этом Реформация выполнила свое основное политическое дело и дальше конституционные идеи могут служить уже *самостоятельным стимулом* для общественной трансформации. Но, хотя идея конституции рождается в итоге Английской революции, сама Английская революция не смогла воплотить эту идею в политической республиканской форме. В Англии этому помешали социально-политические обстоятельства, выразившиеся в наличии устоявшейся сословной политической традиции.

законы и этим разорвал договор, существующий между властью и народом (гражданское обоснование).

²³⁵ Локк Дж. О государственном правлении // Избранные философские произведения в двух томах. Т. II. С. 5-138.

²³⁶ Там же. С. 56-60.

Американская революция стала продолжением Английской, новый тип власти оформляется политически. Политическая реализация республиканского конституционного устройства была осуществлена впервые там, где отсутствие монархической традиции создавало необходимые условия для подобного политического новаторства и экспериментирования. Эстафета развития политического гражданского принципа из принципа Реформации переходит от Англии к США. Наследование новых религиозных ценностей становится важным фактором формирования гражданской политической системы в США. Английские колонии, унаследовавшие протестантские ценности, стали основой гражданской трансформации, в отличие от французских и испанских, унаследовавших ценности традиционной религиозности и социальности. И одновременно над ними не довлеет груз политических и религиозных традиций, как это было на континенте. Возникает идея равенства людей от природы и активного демократического участия как естественной формы зарождающейся новой государственности. Американцы доводят до логического конца рожденные в Английской революции принципы гражданского политического устройства. Именно в заявлениях пуританских колонистов появляется мысль о том, что их нерушимое право состоит в управлении при посредстве людей, избранных самим населением, и на основе самостоятельно выработанных законов. Этот тезис уже из Америки расходится по всему миру, в том числе и в Англию. На основе гражданского сопротивления против содержания дорогостоящих институтов, инициируемых и навязываемых метрополией, начатого пуританами Массачусетса и английскими квакерами, в 1776 году была принята Декларация независимости, в которой четко были сформулированы основные принципы нового гражданского типа власти. Принцип равенства, ставший затем основополагающим для Французской революции и перекочевавший в «Декларацию прав человека и гражданина», изначально был сформулирован пуританами в американской «Декларации независимости» со ссылкой на религиозное основание.²³⁷

²³⁷ «Мы считаем очевидной истиной, что все люди сотворены равными и получили от Творца известные неотчуждаемые права, в их числе право на жизнь, свободу и стремление к счастью; правительства установлены для того, чтобы обеспечить людям их права, и власть их может быть признана справедливой лишь при одобрении

Из геополитических соображений налаживается очень важный контакт французского Просвещения и американского гражданского движения.²³⁸ Две отвлеченные теории, рожденные во Франции под влиянием Английской революции также стали идейным подспорьем американской Конституции: учение Монтескье о разделении властей и гарантии свободы и учение Руссо о народном верховенстве. В силу отсутствия монархической традиции конституция, как единственная основа нового типа гражданской легитимации власти, родилась в США. Этот документ должен был носить характер рационального светского компромисса-договора, которому бы придавалось сакральное звучание. В самой Англии конституция рассматривалась не как новое основание легитимности власти, а как основание для ограничения прежнего типа власти, имеющей традиционный тип легитимности. Теперь ей предстоит вернуться на материк с тем, чтобы начать свое шествие по старому континенту.

Великая Французская революция и ее вклад в дальнейшее становление европейского политического Модерна. Нация как новый гражданский тип общности. Из частного случая, из особой «странности» английского и американского политического устройства конституционный гражданский тип правления, благодаря Французской революции, превращается в общеевропейскую тенденцию Современности. Особенности французской политической модернизации связаны с масштабами традиционных социальных слоев и отсутствием протестантского компонента, способного интегрировать общество изнутри до политической трансформации. Тем не менее, мы можем говорить о косвенном влиянии

управляемых; всякий раз, если какая-либо форма правительства начинает разрушать эти права, народ имеет право изменить или отменить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах, и устроить органы власти в той форме, которая ему покажется наиболее способной обеспечить его безопасность... Когда долгий ряд злоупотреблений ясно показывает намерение подчинить народ неограниченному деспотизму, он вправе – и даже это его долг – свергнуть иго подобного правления». См. Чаннинг Э. Приложение // История Северо-Американских Соединенных Штатов. М. 1897.

²³⁸ Квакер Томас Пейн отправляется в Америку и советует американцам в брошюре «Здравый смысл» отделиться от Англии, а позже становится участником разработки «Декларации прав человека и гражданина», уже в период Французской революции перенес на новую чисто политическую почву принципы, родившиеся под влиянием английского пуританства и американского опыта гражданского политического строительства.

протестантизма на модернизацию французской системы. Протестанты, иммигрировавшие в Англию, первыми стали пропагандировать новые английские принципы, свободы и социальные институты, выработанные в ходе революции.²³⁹ Французы наследовали политические принципы, уже выработанные английскими и американскими протестантами в ходе их политической практики, но наследовали их не в религиозной, а чисто политической, секуляризированной форме как принципы политические, продукт человеческого разума.²⁴⁰ В силу этого именно антирелигиозный рационализм выполняет во Франции ту функцию создания новой системы ценностей, которую в Англии, Германии и Голландии сыграл протестантизм.

Франция, заимствовав из Англии новые формы политики, сделала их основой нового типа общественной интеграции – рациональной и политической. Политическая модернизация у Монтескье выступает, прежде всего, как формирование новых политических институтов,²⁴¹ происходит активизация гражданского принципа. В соответствии с этой логикой у просветителей следующего поколения появляются уже республиканские принципы на смену монархическим. Вторым важным следствием косвенного восприятия ценностей протестантизма во Франции стала особая форма идеологии протеста, в рамках которой общественный суверенитет не был выражен. Речь идет о линии французского социализма, начинающегося с Руссо. Отсутствие идеи общественного суверенитета у Руссо связано с тем, что модернизация общества приобретает здесь политический характер, минуя фазу религиозной модернизации. Это создает иллюзию, что для изменения общественных отношений и ценностей необхо-

димо просто предпринять определенные политические и экономические внешние действия, изменить социальную среду, чтобы люди стали иными и начали иначе действовать по отношению друг к другу.²⁴² Однако уже Мелье отмечает отсутствие нравственных оснований для общности у народа, необходимых для осуществления совместного политического действия.²⁴³ Поиски новых оснований морали у Гельвеция принимают форму критики религиозности, как таковой во имя рационализма, нравственность должна быть построена не на богословии, а на опыте, а человек рассматривается не только как творец и субъект политического, но и как субъект морального закона. У Гельвеция – «общая польза» выражена социально, т.е. в интересах большинства, в общественном признании, у Гольбаха пороки социальных систем – результат морального несовершенства правителей, у Д'Аламбера и Дидро²⁴⁴ основой нравственного совершенствования общества становится знание. Но если в качестве объективного основания морали мы отказываемся от Бога, то тогда им должна быть некая объективная «природа человека». Так возникает идея Руссо о соответствии природе как замена религиозного критерия соответствия. С Руссо начинается идея демократической республики и государства как воплощения народа, как его морального лица, а не собственности государя. В определенном смысле, с Руссо начинает свое шествие по миру патерналистский социализм как альтернатива Реформации.

Франция приступила к политической модернизации с активной интеллигенцией, с набором современных идей, но без консолидированного общества, как субъекта преобразований. И только в ходе самого политического процесса рождается новая форма, новое основание для гражданской общественной интеграции – не религиозное, а чисто политическое – нация.²⁴⁵ Этот

²³⁹ Протестантские ученые и публицисты, собравшись за границей, образовали резкую оппозицию всему направлению французской монархии.

²⁴⁰ После разгрома гугенотов французская интеллигенция не была религиозной, кроме того, протестное поле во Франции начало формироваться в 18 веке, т.е. тогда, когда в интеллектуальных кругах религиозное мировоззрение уже сменяется деистическим. Свою лепту в этот процесс внесли еще и иезуиты, окончательно скомпрометировавшие религиозный принцип в глазах интеллигенции своей нетерпимостью и лицемерием. У П.Бейля появляется важная мысль о том, что религиозный тип сознания недостаточно толерантен по существу и недостаточно универсален в данный момент, чтобы стать основой нового гражданского широкого типа общности.

²⁴¹ Монтескье Ш. О духе законов. Кн. IV. Гл. 5 // Монтескье Ш. Избранные произведения. М. 1955.

²⁴² Руссо Ж.-Ж. О происхождении неравенства и основаниях неравенства между людьми; Об общественном договоре, или Принципы политического права // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М. 1969. С. 31-98, 151-256.

²⁴³ Интересно, что этот аспект дефицита новых нравственных оснований для консолидации общества отмечают многие просветители. Руссо предлагает искать их в неиспорченной природе человека, Монтескье в практически античном понятии гражданской доблести – vertu. См. Монтескье Ш. Указ. соч. С. 181-182.

²⁴⁴ Дидро Д. О достаточности естественной религии // Дидро Д. Сочинения: в 2-х т. М. 1986. С. 188-198.

²⁴⁵ Генеральные штаты собрались 5 мая 1789 года в

процесс превращения патерналистского сословного французского общества в консолидированную гражданскую нацию без предварительной религиозной модернизации занял около 100 лет и осуществлялся в несколько этапов.

На первом этапе, в начале Великой французской революции, была провозглашена новая гражданская форма общественной консолидации в противовес прежней патерналистской сословной. Третье сословие объявило себя основой единства нации. Французская нация не только не вырастала из единого этноса, но и возникла в ходе революции именно из политической «отмены» всяких этнических различий наряду с сословными и с провозглашением национального единства.²⁴⁶ Принцип гражданского единства был провозглашен в Конституции 1791 года, но нация еще не стала по настоящему гражданской. Общество оставалось достаточно пассивным.

На втором этапе, когда в связи с вторжением прусских войск и эмигрантов под угрозой оказывается национальная безопасность, патерналистское общество включается в реальный политический процесс.²⁴⁷ С поголовной мобилизации общества на дело революции со стороны революционного Конвента начинается действительно массовое подключение общества к революционному процессу и формирование его политической субъектности. Первым же проявлением этого нового гражданского качества общества-нации становится Конституция 1793 года, объявляющая гражданское политическое равенство всех французов.²⁴⁸ Принцип равенства был не просто

гуманитарным моментом Французской революции, но главным инструментом перехода от этнического сословно-патерналистского общества к единой гражданской нации. Однако республика, основанная в 1792 году под впечатлением страха иноземного нашествия, оказалась непрочной. В результате заговора лидер якобинцев Робеспьер был арестован и казнен вместе с рядом членов Коммуны и ее мэром 27 июля 1794 года (9 термидора 2 года). Здесь революция останавливается.

На третьем этапе – общество подключается к гражданскому политическому процессу в ходе борьбы за расширение пространства гражданского и социального равенства. Развившаяся в ходе промышленного переворота 40-50 годов XIX в. классовая форма консолидации и связанная с ней нерелигиозная социалистическая и коммунистическая идеология сыграли важную роль в дальнейшей модернизации французского общества и включении его в политическое пространство нации. Классовый тип консолидации способствует развитию гражданского качества общества, если он является частью более широкого общегражданского процесса и формируется в рамках утверждаемых им традиций и ценностей. Только спустя 80 лет после Великой французской революции, пройдя через события 1830, 1848, 1871 гг., Франция завершает процесс модернизации политической системы и в 1875 году становится гражданской республикой. Демократический эффект революции в конечном счете не обошел и церковь. Произошла трансформация социально-политического места церкви в реформационном ключе, но при сохранении традиционного конфессионального ее статуса, т.е. без религиозной реформации. Это имело важные последствия для общества, которое с одной стороны сохранило традиционный тип религиозности, но при этом трансформировало не только социально-политическую систему, но и выполнило всю политическую программу секуляризации без содержательной религиозной реформации.

Французская революция завершает процесс перехода к чисто рациональному политическому типу обоснования новых гражданских форм социальной интеграции и рациональному обоснованию нового принципа универсальности человеческой природы – так рождается принцип гражданской нации.

Версале. Поначалу все шло по традиции. После выслушивания короля и министров сословия разошлись на совещания по разным залам, но третье сословие пригласило два другие присоединиться к себе. 17 июня 1789 г. большинство дворян и духовенства решили перейти в зал третьего сословия. Именно это соединенное собрание и провозгласило себя «Национальным». См. Виппер Р.Ю. История Нового времени. М. 1997. С. 203.

²⁴⁶ В Конституции 1791 года было отменено старое деление на провинции. Для удобства управления Францию разрезали на 83 приблизительно равных по размеру и количеству населения департаментов с названиями, взятыми большей частью от рек, горных цепей и других географических объектов.

²⁴⁷ На защиту Парижа двинулась группа федератов – добровольной милиции. В это время рождается Марсельеза. А самые решительные действия по вооружению парижан для отражения национальной угрозы предприняли якобинцы.

²⁴⁸ Избирательное право получает все мужское население старше 21 года. Провозглашается обязательное для всех и бесплатное обучение. Вводится новый тип обращения: гражданин и гражданка.

Германия принимает эстафету модернизации. Частичная модернизация Германии. От нации гражданской к «нации германской». Почему французское и американское представление о нации как новом особом гражданском типе общности не прививается далее на востоке и вместо гражданского понимания нации рождается «национализм», выливающийся в немецкий нацизм, а в России – в особый «коммунистический» тип общности? У Э. Хобсбаума есть идея о двух типах понимания наций: революционно-политическом (Англия, Франция, Америка) и этнически-культурно-языковом (Германия, Италия, другие восточно-европейские страны),²⁴⁹ но он не объясняет, с чем связан этот переход от одного типа «национализации государства» к другому. Он также не объясняет нарастающей волны второго типа национализма, захлестывающей *возвратно* во второй половине 19 века в том числе и такие страны, как Франция и Англия. А это связано с наличием огромного ресурса нетрансформированных общественных слоев, находящихся де-факто на протонациональном патерналистском уровне. Именно они-то и становятся главным объектом манипуляций для националистов и главной их опорой в политике.

Французская нация возникает в противовес патерналистской сословности. Немецкому народу для того, чтобы стать нацией прежде, чем сформировались внутренние предпосылки для преодоления сословности, надо было противопоставить себя уже сложившейся и опасной для него французской нации. Поэтому Германия самоопределяется как нация не политически, а культурно. Моральная философия Канта закрепляет величайшее достижение всех трех предыдущих европейских революций – понимание общества как нового субъекта политического процесса и государства как морального лица²⁵⁰ в противовес патерналистскому пониманию государства как владения государя. Новое понимание национального единства зарождается в рамках немецкого романтизма. Этот процесс начинается со «Штурма и натиска» XVIII века и связан с именем Гердера, который в своей работе «Другая философия истории» (1774) в про-

тивовес Вольтеру высказывает мысль о том, что универсальность форм мышления не может быть основанием для универсализации человеческой природы, поскольку содержание самосознания разное в разных культурах и, поэтому, разной будет и природа людей разных культур. Так появляется мысль о том, что существуют не только универсальные права человека, но и права наций на свою неповторимость, уникальность,²⁵¹ а культура становится важным моментом самоопределения человека наряду с мышлением. Фихте обрушивается на универсализм французского Просвещения, выступая против эгоистических чувств, как основы человеческого общежития.²⁵² Соединение национального и общечеловеческого становится проблемой, а принцип универсальности, единства человеческой природы предстает в виде иерархических ступеней развития целого.²⁵³

Наполеоновские войны также втягивают Германию в орбиту Современности. Так рождается особый уже германский тип национального самоопределения – не гражданский, а бюрократически-патерналистский. Политическому национальному самоопределению Германии препятствовало отсутствие гражданского субъекта модернизации. В этих условиях формируется концепция Гегеля (1770-1831), в которой главным субъектом политического процесса по-прежнему является государство.²⁵⁴ Это государство уже не сфера владения государя, помазанника божия, но еще и не инструмент общества. Гегель вводит понятие развития в исторический процесс, а добровольное сознательное подчинение личности интересам государства становится условием общественной консолидации.²⁵⁵ Фактически своей теорией государства Гегель фиксирует открытость немецкой социально-политической ситуации, ее незавершенное, переходное состояние отложенной

²⁵¹ Louis Dumont. *Essays on Individualism. Modern Ideology in Anthropological Perspective*. The University of Chicago. Press Chicago and London. 1968. P. 115.

²⁵² Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи // Сочинения в двух томах. Т. II. СПб. 1993. С. 406-435.

²⁵³ Согласно Фихте один конкретный народ, противопоставленный другим народам, как «я» и «не-я» воплощает в себе человечество на определенной стадии развития и человеческое начало, индивидуальность как таковую.

²⁵⁴ Нужно иметь в виду, что Гегель происходил из государств Юго-Запада. Вместе с Шеллингом (1775 - 1854) они были швабами. Шеллинг перевел на немецкий Марсельезу, а Гегель сажал в Тюбингене дерево свободы.

²⁵⁵ Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. 1990. С. 286-307.

²⁴⁹ Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб. 1998. С. 35.

²⁵⁰ Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире. СПб. 2003. С. 205-241.

Современности начала XIX века. Однако если, при всей его антифранцузской полемической заостренности, немецкий романтизм и гегелевская философия внутренне были близки к гражданскому пафосу Французской революции, то собственно политическая практика германского национального строительства выступает уже как прямая антитеза французскому гражданскому принципу.

Промышленный переворот и политическая практика национальной консолидации в Германии. После поражения Наполеона Германия раскалывается еще сильнее на восточную патерналистскую часть, где реформы 1816 года под влиянием юнкерства вели к расширению помещичьих земель и обезземеливанию крестьян, пополнявших собой армию, и западную, более модернизированную часть, где развивается промышленность. Консерваторы востока побеждают политически в Германии и препятствуют развитию Запада и Юга. Французский путь национального объединения общества с опорой на гражданский принцип политической универсализации, оказывается для всей Германии невозможным.²⁵⁶ Промышленная революция 50-60-ых годов открыла неожиданные возможности для соединения патерналистской, во многом традиционной, политической системы с экономической модернизацией,²⁵⁷ предполагавшей союз полувоенной патерналистской власти и новых индустриальных кругов, который получил название реальной политики и выдвинул своих деятелей.²⁵⁸ После победы Пруссии в битве при Садовой (1866 г.) рождается прусское милитаристское государство с его особым типом бюрократической военно-национальной интеграции и незавершенной гражданской трансформацией. Это позволило соединить в одно государство регионы с разным уровнем готовности к гражданским отношениям таким образом, чтобы не унифицировать ни

прусский чиновный патернализм, ни южно-германский конституционализм.

Незавершенность гражданской трансформации проявляется в национальном самосознании Германии начала XX века. В 1916 году Э. Трелч противопоставляет германский тип «органической свободы» принципам западных (французская, английская, американская) демократий, подчеркивая, что Германия имеет свое собственное понимание свободы: индивиды не составляют собой целое, а идентифицируют себя с ним.²⁵⁹ Трелч называет *французскую и английскую* традицию *западной*, объединяя их и противопоставляя германской, ссылаясь при этом на Гегеля и всю немецкую традицию.²⁶⁰ Поэтому в Германии религиозная верность Богу должна плавно перейти в сознательное гражданское чувство долга по отношению к государству как рациональному всеобщему целому.²⁶¹ Французская революция сыграла злую шутку с Европой в целом, Германией и Россией, в частности. Она создала ложную иллюзию о возможности прямого перехода от пред-Современности к Современности, от теократии к современному государству через политическую секуляризацию сверху и замену религиозности секуляризованным рационализмом.²⁶² Упрочению этой социальной иллюзии отчасти способствовал марксизм, акцентирующий основное внимание на внешних (социально-экономических и политических) формах модернизации, не придавая большого значения тому, общество *какого качества* (современное или патерналистское) осуществляет этот процесс.

В отличие от Франции и России в Германии прошла Реформация, уже само прусское государство есть продукт Реформации. Она не дала здесь непосредственно политических плодов, но она изменила общество изнутри. Именно новый индивидуализированный тип религиозности, зародившийся в Германии в XVI веке, развившийся

²⁵⁶ Представители наиболее развитых и прогрессивных германских княжеств Юга были заинтересованы в партикуляризме Германии, поскольку именно так они могли защитить те новые конституционные принципы, которые у них начали утверждаться, от двух крупных преобладающих государств, каковыми являлись Австрия и Пруссия.

²⁵⁷ Индустриальные круги прирейнских областей оказываются готовы поддержать объединительные попытки прусской монархии, чтобы получить от государства помощь в борьбе с индустрией и торговлей других стран. Взаимная борьба объединяющихся наций породила 6 крупных войн в Европе в промежутке между 1854 – 1870 годом.

²⁵⁸ Бисмарк, Кавур, Криспи.

²⁵⁹ Troeltsch E. The social Teaching of the Christian Churches and Groups. 2 vols. New York. 1960. Published in 1911. P. 94, 97.

²⁶⁰ Ibid. P. 97.

²⁶¹ Ibid. P. 95.

²⁶² Характеризуя особенности немецкого типа гражданства и свободы, Трелч постоянно ссылается на то, что секуляризация религиозного чувства долга превратила его в источник добровольной активности граждан, направленной на поддержание социального целого. См. Ibid. P. 95-96.

в традицию общественной морали, обогащенный рационализмом в рамках немецкой философии, обеспечил на определенное время жизнеспособность и иерархическое единство немецкого политического «гибрида», соединявшего в себе передовую военизированную экономику, полусовременное общество и традиционную патерналистскую общественно-политическую систему.

И в Германии и в России дальнейшая социально-политическая модернизация была связана с развитием пролетариата как нового субъекта политического процесса. Степень гражданского компонента в рабочем движении и его социалистической идеологии зависит от общей природы политической системы и социального качества общества, в котором это рабочее движение формируется. Если рабочее движение складывается в условиях патерналистской социально-политической системы и организует собой общество с преимущественно традиционным типом морали-религиозности, гражданский компонент в нем не будет базовым и определяющим. Трагизм ситуации состоит в том, что, как правило, именно в таких системах рабочий класс часто становится единственно возможным субъектом политической трансформации. В результате модернизация политической системы, осуществленная *таким* рабочим классом, воспроизводит в новой форме те самые черты патернализма, которые содержались изначально в его культуре и идеологии. Это не значит, что преобразование системы не происходит в ходе подобной революции.

Но это значит, что смена власти становится здесь лишь начальным моментом преобразования системы из патерналистской в гражданскую, причем моментом, отнюдь не гарантирующим подобное преобразование. Именно это случилось с Германией и Россией. В обоих случаях речь шла о двух формах экономической промышленной модернизации при незавершенной гражданской трансформации. Тонкий момент состоит в том, что патернализм в соединении с бюрократической государственной традицией и структурным типом индивидуализации дает нацизм и фашизм. А патернализм в соединении с государственной бюрократической традицией и восходящим типом индивидуализации дает «казарменный коммунизм». И нацизм, и «казарменный коммунизм» стали политическим ответом обществ, не прошедших стадию гражданской политической трансформации, на вызов со стороны обществ (Англия и Франция), которые, пройдя эту стадию, обрели новое качество – «нации», значительно усилившее их позиции на пути индустриализации.

Основной особенностью российского пути модернизации, отличавшей его от германского, а также английского и французского, стал особый тип внутреннего колониального раскола (культурного, политического, социального, экономического), который привел к сосуществованию в рамках единого государства двух социальных слоев, находящихся на качественно разных стадиях модернизации, однако этот вопрос – тема для отдельного рассмотрения.

Глава III. Революция и социальный прогресс

Б. Ю. Кагарлицкий

Несколько лет назад, работая над английской прессой XVIII века, я натолкнулся на сообщение о захвате власти в Петербурге царицей Екатериной, как известно, сбросившей с престола своего неудачливого мужа Петра III. Эта статья говорила об «очередной революции» в России. Иными словами, по мнению британского автора, в Российской империи не только произошла революция, но они случались там довольно часто.

Как мы видим, вплоть до времен Великой французской революции значение термина было несколько иным, чем в политической теории XIX и первой половины XX века. По сути, революцией обозначался любой переворот, насильственный или, по крайней мере, совершаемый с нарушением сложившихся в государстве институциональных норм. Именно опыт революционной Франции, радикально изменив привычные представления о политических процессах, сформировал основные концепции, которыми теоретики оперировали вплоть до недавнего времени. Однако в течение последних 30 лет термин «революция» вновь начал употребляться в понимании, близком к тому, который мы находим в текстах середины XVIII столетия. Единственное отличие состоит в том, что на данный момент слово нагружено еще и целой вереницей образов, накопленных со времен Дантона и Робеспьера. Для того, чтобы то или иное событие было признано «революцией», необходимо непременно обеспечить соответствующую картинку, вписывающуюся в этот образный ряд. Желательнее всего, чтобы перед нами предстала шумящая толпа на площади, а еще лучше, если будут столкновения с полицией, но по возможности без кровопролития, поскольку надо уважать нормативный гуманизм современного общественного мнения.

При этом, однако, полностью оказываются за пределами дискуссии содержательные вопросы о направленности, масштабе и характере перемен. Разумеется, со времени штурма Бастилии в 1789 году одной из характеристик революции является массовость. Но является ли всякая уличная толпа

— массой? С чего начинается массовое движение — с пяти тысяч участников, десяти тысяч или пятидесяти?

Новое-старое представление о революции трактует ее как одномоментный акт, единичное, пусть и масштабное событие, за которым следует мгновенный переход в новое состояние. Эта трактовка, заметим, во многом порождена официальным советским марксизмом, именно так трактовавшим революцию 1917 года. Фактически Октябрьская революция сводилась к большевистскому перевороту 7 ноября, после которого начиналась уже история «советского социализма». Парадоксальным образом, аналогично — на основе этого же подхода — стали интерпретироваться и антикоммунистические перевороты 1989-91 годов, а потом и совсем уже поверхностные перемены в посткоммунистических странах, получившие название «цветных революций». Их массовость подтверждалась зафиксированным прессой присутствием толпы на площадях, при том, что не ставился даже вопрос о том, какова роль масс в этом процессе, являются ли они участниками, движущей силой событий или статистами? Что касается значительно больших масс людей, которые на площади в нужный момент не присутствовали или впоследствии выступали с прямо противоположных позиций, то само их существование просто игнорировалось. Опять же, парадоксальным образом, это представление, свойственное для либеральных масс-медиа, в действительности восходит к советскому официозному «авангардизму», к сталинистским интерпретациям истории 1917 года.

У такой революции, в строгом смысле, нет истории. Поскольку она не является процессом, в ней не предполагается ни развитие, ни противоречия, ни внутренняя динамика, ни последовательность этапов и фаз. Не может быть истории, но непременно должна быть story, журналистский сюжет, проиллюстрированный некоторым количеством картинок.

Проблема в том, что реальный исторический процесс идет по совершенно иной логике, и эта логика то и дело приводит

к краху различных верхушечных переворотов, как бы ни пытались они представить себя в виде масштабных революционных преобразований. На самом деле отличительной чертой «цветных революций» был именно их элитарно-консервативный характер, действительно ставящий их в один ряд с дворцово-гвардейскими переворотами в Петербурге XVIII века. Массы никоим образом не выступали движущей силой политического процесса, тем более в долгосрочной перспективе, их стихийная самоорганизация и их требования никоим образом не определяли характер происходящего, а свеженная с разных сторон толпа на центральной площади столицы не имела ничего общего с коммунарами и Советами французской или русской революции, которые действительно творились массами – в каждом провинциальном городе и в каждой деревне.

Однако самым существенным отличием классических концепций революции от нынешних медийных представлений является то, что для авторов XIX и первой половины XX века была принципиально важна направленность происходящего. И Маркс и де Токвилль, несмотря на все различия между ними, совершенно едины в том, что связывают понятие революции с понятием прогресса, в том числе и в первую очередь – социального. Несложно догадаться, что представления Маркса о прогрессе гораздо масштабнее, чем у де Токвилля, но достаточно прочесть предисловие последнего к «Демократии в Америке», чтобы заметить, что существует некий общий комплекс понятий, объединяющих даже столь разных авторов – речь идет об установлении равенства, преодолении классовых различий и т.д.

В постмодернистскую эпоху, когда понятие прогресса фактически вышло из употребления, появляется возможность, убрав из дискуссии привычные ориентиры, обозначенные европейским Просвещением, свести все дело в лучшем случае к некому набору совершенно статичных «ценностей», не требующих для своего осуществления общественных трансформаций. Ценности нужно просто соблюдать, уважать, а иногда достаточно просто провозглашать.

Разумеется, бессодержательность и пошлость нынешних медийных представлений о революции отнюдь не значит, будто нам нужно вернуться к представлениям, характерным для марксизма XX века, тем

паче, что многие из этих представлений не только часто находятся в явном противоречии со взглядами «самого» Маркса, но и являются, как мы говорили ранее, источником многих современных иллюзий.

Догматические марксисты обожают классифицировать революции, заранее высчитывая, будет ли предстоящий переворот буржуазно-демократическим, социалистическим или каким-то еще. В зависимости от итогов подобных вычислений заранее определяется и отношение к еще не произошедшим событиям и предлагается выстраивать стратегию политических действий в соответствии с этой априорной оценкой. На самом деле сущность революции определяется только ее итогом. Великая французская революция, например, оказалась буржуазной не потому, что ее делала буржуазия, но потому, что именно этот класс, в ходе острой борьбы с другими общественными силами, смог в наибольшей степени извлечь выгоды из произошедшего переворота. Подобный исход борьбы был, разумеется, в значительной мере определен уровнем развития производительных сил, исходными экономическими и культурными условиями, но отсюда вовсе не следует, что все было предрешено. И конкретный политический «вклад» каждой общественной или политической силы в процесс общественного переустройства сказался на его историческом итоге.

Каждая эпоха порождает собственную «модель» революционных преобразований, которые отличаются друг от друга так же, как и сами эпохи. В зависимости от социальной структуры общества, его экономической жизни и политических институтов меняются и средства борьбы, лозунги, формы организации. Но неизменным остается одно – выход многомиллионных масс «простых» людей на авансцену истории, превращение их из зрителей или жертв происходящих событий в полноценных действующих лиц. Именно поэтому в ходе революции мы наблюдаем неминуемые «эксцессы», многочисленные глупости и нелепости – Ленин не случайно подчеркивал, что в революционную эпоху глупостей делают не меньше, а больше, чем в «обычное» время. Задним числом идеологи победившей партии неминуемо стремятся очистить образ революционного процесса от подобных компрометирующих черт, тогда как поборники консервативных ценностей именно в них

видят единственный смысл происходящего. Ни те, ни другие не готовы иметь дело с реальной исторической диалектикой, с коллективным опытом масс, которые зачастую именно через ошибки, а порой и преступления пробиваются к самоуважению и свободе.

В глазах консервативного гения Федора Достоевского студент с топором Родион Раскольников, доказывающий самому себе, что он «право имеет», оказался глубинной метафорой революционера. Однако гениальность романиста проявилось в том, что, возможно, вопреки его собственным намерениям именно этот герой стал одним самым запоминающимся и вызывающим симпатию персонажем русской литературы.

После крушения коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 году Френсис Фукуяма написал свое знаменитое эссе о конце истории. Сначала его текстом восхищались, затем над ним посмеивались, потом более или менее забыли. А между тем исторический процесс и вправду забуксовал. Эпохи реакции и реставрации, торжество консервативной стабильности и господство пошлой, ретроградной, бескрылой (или утратившей крылья) идеологии задним числом воспринимаются как некий хронологический провал, «тире между двумя датами», как говорил по несколько иному поводу герой советского фильма «Доживем до понедельника». Эта историческая пустота, провал в событийной цепи может пожрать целую человеческую жизнь, заставив людей впустую растратить свои таланты и способности, хотя «пустота исторического времени» может быть для многих наполнена личным счастьем, индивидуальными достижениями и маленькими, но все равно важными событиями. Времена исторические, напротив, не балуют нас комфортом и благополучием. «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней!» – писал Николай Глазков.

Да и с исторической точки зрения пустота консервативных и реакционных эпох лишь кажущаяся. В этот самый период происходит накопление сил, формирование идей, тенденций и личностей, которым еще предстоит сыграть свою роль в тот момент, когда история снова, как всегда – неприятным и резким рывком – возобновит поступательное движение. На протяжении двух десятилетий миллионы людей сопротивлялись неолиберализму – организованно и

стихийно, осознанно и бессознательно, эффективно и бестолково. Это сопротивление, то и дело терпевшее неудачу, закладывало основу для исторического перелома, которому предстояло свершиться позднее.

2011 год оказался продолжением, повторением и одновременно – зеркальной противоположностью 1989 года. Тогда демократическая энергия масс, разрушив консервативные режимы, правившие Восточной Европой под коммунистическими знаменами, открыла путь глобальной капиталистической реставрации, мировому господству неолиберализма. Революционный импульс 1917 года был грандиозной силы, он оказался настолько мощным, что даже на излете продолжал поддерживать жизнеспособность бюрократической позднесоветской системы, которая сама же работала над его подавлением. Неолиберализм не обладал подобной динамикой. Даже провозглашая созидательные лозунги, он разрушал общество, дезорганизуя и обрывая связи между людьми, уничтожая базовые механизмы солидарности, без которых не может выжить никакое общество, включая капиталистическое. И закономерным образом два десятилетия неолиберального порядка сделали новую революцию не только возможной, но и необходимой.

Для того чтобы выйти из тупика, в который зашел социалистический эксперимент XX века, исторически неизбежным стало движение вспять. Реакция была закономерна, но от этого не менее болезненна и разрушительна. Может быть даже наоборот, ведь осознание тупика, в котором оказалась к концу XX века социалистическая мысль и практика, деморализовало левых во всем мире, подорвало их способность к сопротивлению. Это осознание приняло форму идейной самоликвидации, когда капитуляция перед силами буржуазного порядка выступила в качестве ответа на исторические вопросы движения, в виде способности извлечь уроки из прошедших событий. Логика капитала представала не только для его адептов, но и для многих его противников в качестве единственно возможной логики здравого смысла, противостоять которой могла мечта и утопия, но никак не актуальная политическая программа.

Капитализм победил, чтобы потерпеть сокрушительное поражение. Он разбился не о сопротивление своих противников, не о железную волю организованного

пролетариата, а о собственные противоречия, которые теперь никто не сдерживал, не регулировал и почти никто уже не разоблачал. Триумф неолиберализма создал условия для его крушения.

Мир вступил в новую революционную эпоху. «Прощайте «антифашизм», «парады гордости» и «радикальная зоозащита», – иронизировали авторы левого белорусского журнала «Прасвет», – старая добрая классовая борьба официально вступила в свои права, и все остальное... будет выглядеть как-то глуповато».²⁶³

Как всегда бывает, переход от общественной пассивности к массовым мобилизациям был неожиданным, а обстоятельства, при которых это происходило, разительно отличались от ожидаемых. Историческое знание позволяет нам заглядывать за горизонт текущего момента, осознавая его значение и место в общем процессе хаотической самоорганизации, но оно же запутывает нас, создавая идеализированный и упрощенный образ событий прошлого, по аналогии с которыми мы пытаемся оценивать опыт нашего настоящего.

Идеологи, черпающие свои представления о революции в исторических повествованиях и в трудах других, более ранних идеологов, неминуемо и неизменно оказываются «обмануты» реальным революционным процессом, ведь он тем и отличается от повседневности, что не вписывается в заранее заготовленные рамки.

Подводя итоги первой волны политического кризиса в России, Анна Очкина писала весной 2012 года: «Социальный хаос – это не природная стихия, сметающая на своем пути все, что построил человек, это сбой во взаимодействии самих людей между собой и обществом, накопление массы «странных» и неадекватных действий до критической. Наводнение смыкает город, извержение вулкана сжигает людей и поселения, ураган сметает жилища с лица земли. Природное уничтожает социальное, а социальная стихия придает социальному бытию новое содержание, неподвластное старому порядку, что и создает хаос. Люди противостоят друг другу, и не только друг другу, но и себе прежним, связанным с прежними условиями и привычками жизни. Хаос поглощает порядок, создавая новые мотивации, новые вызовы и – через милли-

арды частных решений и поступков – новый порядок. Социальный хаос – это временное и содержательное рассогласование субъективного и объективного факторов истории».²⁶⁴

Задача политика состоит в том, чтобы своими сознательными действиями внести элементы порядка в хаотический процесс, согласовать субъективное действие с объективными возможностями. Говоря словами Шекспира, «вправить вывихнутый век». Сделать это можно лишь одним способом – повернувшись лицом к процессу перемен и осмысливая его логику изнутри, думать, не прекращая действовать, и действовать, не переставая думать.

Идеологическая обработка революционной истории всегда спрямляет развитие событий, задним числом демонстрируя нам как «очевидную» и «естественную» ту логическую связь между событиями, которая была совершенно не очевидна многим современникам. Люди, в «спокойные» эпохи совершенно искренне считавшие себя сторонниками революционных преобразований, столкнувшись с реальностью революционного хаоса, противоречивостью и «нелинейностью» происходящего, впадают в панику, превращаются из поборников перемен в их критиков. Они не выдерживают столкновения с реальностью Истории, оказываются не готовы взять на себя ответственность за действие или, порой, за *ответственное бездействие*, когда условием долгосрочного успеха становится именно отказ от участия в мелочной суете амбиций, в политических проектах, акциях или коалициях, популярных сегодня, но обреченных на крах завтра.

Прогнозы, становящиеся реальностью в политической жизни, реализуются через действия людей, когда миллионы субъективных интересов, потребностей и мнений сливаются в коллективную волю. Подобное соединение требует гигантской работы и постоянных усилий идеологов, активистов, политиков, совместно превращающих свой опыт и знание в основу революционного проекта, которому предстоит изменить мир. Политическое сознание масс рождается, трансформируется и развивается в этом процессе. Так формируется знаменитый «субъективный фактор», на отсутствие которого упорно жалуются резонеры политического

²⁶³ Прасвет. 2011. № 1. Листопад. С. 33.

²⁶⁴ Левая политика. 2012. № 17-18. С. 8.

оппортунизма и грустно-возвышенные поэты радикального сектантства. Субъективный фактор, как и коллективный субъект никогда и нигде не возникают сами собой, они должны быть «сделаны», но сделаны не из программных лозунгов и карьеристских амбиций, а из борьбы, ведущейся на всех уровнях общественной жизни.

Неолиберализм в глобальном масштабе подготовил условия для революции и сделал ее неизбежной. Но мировой кризис, поразив множество разных обществ с различными социальными условиями, традициями, институтами и культурными практиками, расщепляет эту общечеловеческую драму на множество сюжетов, каждый из которых будет иметь собственных героев и собственную развязку. В конечном счете, эти раздельные потоки событий сольются в единой реке истории, но прежде, чем это случится, каждое общество обречено пройти собственные испытания на пути к переменам. Стержнем этого сюжета остается борьба за власть, суть которой состоит не в соперничестве политиков и партий, стремящихся разделить министерские посты, а в реальном контроле за государством, его институтами, инструментами контроля и принуждения. Разрушая их, революция создает для общества момент свободы, который должен быть превращен в акт коллективного творчества и созидания. Однако новый мир не возникает сам собой, не порождается стихийным протестом и бессистемным сопротивлением. Революция нуждается в сознательном действии, в организации, в политике.

Левые силы в начале XXI века продемонстрировали полную неспособность не только подняться до уровня своей исторической ответственности, но даже осознать ее. Но это не отменяет общественную потребность в новой социалистической политике.

Революция представляет собой слом привычных норм, стереотипов, стандартов и «дискурсов». И чем глубже в социальном отношении эта революция, тем масштабнее и драматичнее слом. Потому почти каждая сколько-нибудь значимая в историческом масштабе революция непременно оказывается в глазах «теоретиков» – «неправильной революцией», ибо противоречит не только прежним консервативным нормам, но и сложившимся, устоявшимся, законсервировавшимся, окостеневшим представлениям о «революции».

Кроме того, революция всегда маргинализирует интеллектуалов. Здесь кажущееся противоречие: во главе революций или, по крайней мере, в их активе мы видим именно интеллектуалов. Они очень часто оказываются вождями, идеологами, теоретиками и даже технократами нового режима, но делают революцию именно массы. А массы состоят отнюдь не из интеллектуалов. И если бы они жили и вели бы себя как интеллектуалы, полностью в соответствии с их стандартами, правилами, представлениями, то зачем вообще были бы нужны интеллектуалы, как особая социо-профессиональная и культурная группа? Поэтому закономерно, что в этом качестве, как особая общественная группа, интеллектуалы оттесняются на обочину, теряют влияние, авторитет, а часто и социальный смысл своего существования. Другой вопрос, что те конкретные мыслители, теоретики, интеллектуальные практики, которые это осознают и принимают, как раз и оказываются тем самым «революционным авангардом». Отсюда, собственно, и происходят известные грубые высказывания Ленина об интеллигенции, произнесенные в 1918-20 годах и резко контрастирующие не только с его собственным культурным background' ом, но и с его же представлениями 1903-04 годов. Грамши предлагал разрешить данное противоречие, формируя фигуру «органического интеллектуала», который говорит не от своего имени и не от имени «сообщества» (пусть и «левого», «критически мыслящего» и проч.), а от имени класса.

Добавим к этому, что поддерживать абстрактную или уже совершенную в прошлом революцию, дело несложное, приятное, часто престижное и не предполагающее никакой личной ответственности, морального или практического риска. Выглядеть «радикалом» и «революционером» в консервативном обществе довольно удобно, если сформировалась соответствующая ниша. То, что эти люди на деле являются *в лучшем случае* реформистами, а чаще просто представляют нам еще один, пусть и менее массовый, отчасти элитарный (и потому более престижный, не всем доступный) вид конформистского поведения, остается фактом скрытым не только для публики, но и для самих персонажей, поскольку повседневная действительность не требует поступков, которые бы такое

противоречие обнаруживали. Пока не началась революция по-настоящему.

Не удивительно поэтому, что многие люди, искренне считавшие себя революционерами и радикалами, вдруг примыкают к консервативному или даже контрреволюционному лагерю, как только начинаются реальные революционные события (подобную трансформацию мы наблюдали не только в 1917 году, но и в Венесуэле начала 2000-х). Тут вспоминается известная история Сергея Булгакова, который в октябре 1905 года выступил в Киеве на революционном митинге, но почувствовал «сатанинское дыхание толпы» и к вечеру вернулся домой убежденным контрреволюционером. Специфика нынешней нашей ситуации, однако, в том, что обычно такие трансформации происходят по мере развития революционного процесса и его социального углубления, радикализации, а у нас все только начинается, но люди уже перешли в лагерь самой отвратительной реакции.

Изучая историю революций прошлого, марксистский историк неизменно останавливал внимание на изучении объективных и субъективных предпосылок свершившегося переворота. И если в качестве объективных предпосылок «принимались» и уровень экономического развития, и специфика социальных структур и противоречия интересов между классами и социальными группами общества, то важнейшей субъективной предпосылкой неизменно выступало наличие революционной партии.

Исходя из той же логики, строили свою политическую стратегию левые организации. Опыт 1917 года оставался принципиальным образцом, независимо от того, как оценивало то или иное течение итоги революции. Как бы критически ни относились, например, троцкисты к сталинской версии истории большевизма, в данном вопросе у них разногласий не было. Именно наличие большевистской партии как революционного авангарда сделало возможным Октябрьский переворот.

Напрашивавшийся отсюда вывод был прост и очевиден. Революционная партия должна быть создана заранее, так сказать «заготовлена впрок», на случай революции. В нужный момент она займет свое место на сцене истории и выполнит свою миссию. Именно строительство революционной партии в неревolutionной обстановке было главной головной болью и главной заботой

тысяч радикальных молодых людей, мечтавших внести свой вклад в дело преобразования мира.

Наиболее частым результатом подобных усилий оказывалось возникновение более или менее крупной секты, порой довольно успешно готовящей кадры для будущей борьбы, но куда менее успешно в общественной борьбе участвующей. Но можно ли построить революционную партию в эпоху реакции? История дает нам немало примеров того, как левым организациям удавалось успешно пережить периоды реакции, сохранить себя (хотя никогда это не давалось легко и без потерь). Однако мы не знаем ни одного примера того, чтобы партию или движение в условиях реакции удалось построить. Больше того, необходимость «сохранения огня» диктует радикальным левым определенные правила поведения, закрепляющиеся в соответствующей коллективной психологии и навыках. Левые становятся политическими интровертами. Именно в этом, а не в идеологическом догматизме следует искать корень сектантства.

Чтобы сохранить революционный дух в атмосфере мещанского спокойствия, в условиях буржуазной повседневности и господства совершенно иных ценностей, приходилось замыкаться от общества, отгораживаться от внешнего мира, и тем самым изначально обрекать себя на политическую неэффективность. Эта внешняя неэффективность левых была обратной стороной успешного решения ими внутренних задач (самовоспроизводство, «поддержание огня»). Но чем лучше решались соответствующие «внутренние» задачи, тем меньше были способны сформированные соответствующим образом активисты и лидеры к решению новых, «внешних» задач, когда общественная ситуация менялась и эти задачи выходили на передний план. Диалектическим образом, чем более успешно развивалась та или иная радикальная группа в «обычное» время, тем менее дееспособной она оказывалась в революционной ситуации.

Там, где революционные события действительно начинали, в конце концов, происходить, марксистские секты либо не играли в них особой роли, либо оказывались на обочине, а порой даже выступали критиками революционного процесса, обвиняя его лидеров во всех смертных грехах,

а саму революцию клеймя как неправильную и ненастоящую. Так было в Латинской Америке начала 2000-х годов. А революции 2011 года в Арабском Мире и вовсе вызвали в рядах борцов за последовательную марксистскую программу смесь растерянности, страха и возмущения.

Впрочем, далеко не всегда усилия по строительству партии оказывались бесполезными. Во многих случаях возникали организации с радикальной программой, вполне дееспособные и влиятельные. Другой вопрос, насколько они соответствовали тому идеалу революционной партии, ради которого все затевалось. И дело не только в официальной партийной доктрине. С точки зрения идейной доктрины, меньшевики были такими же революционерами и не менее последовательными социалистами, чем большевики. То же можно сказать и про русских социалистов-революционеров, причем не только левых. Опыт Кубы в 1958-59 годах не менее показателен – официальная коммунистическая партия «прозвала» революционный переворот. Отдельные ее члены приняли участие в борьбе Че Гевары и Фиделя Кастро, но партия как таковая оказалась в стороне от событий, так же как и компартия Никарагуа оказалась «вне игры», когда началась Сандинистская революция. В начале 2000-х годов итальянская Партия коммунистического возрождения (*Rifondazione Comunista*) выступала в качестве образца последовательной антикапиталистической силы, выводящей на улицы толпы молодых людей, распеваящих революционные песни. Однако стоило *Rifondazione* приблизиться к власти, как начались обычные беспринципные компромиссы, итогом которых была позорная поддержка неolibеральной политики, проводимой правительством Романо Проди. Результатом такого курса было крушение не только самой *Rifondazione*, но и всего левого фланга в Италии, тяжелая моральная травма для остальных левых в Европе.

Партийная доктрина говорит нам не о том, чем является организация на самом деле, но лишь о том, чем она хочет казаться, в том числе и в глазах собственных активистов и сторонников. Революционные партии, действительно сыгравшие свою роль в истории, отличались от своих провалившихся двойников не риторикой официальных документов, а повседневной практикой, не уровнем марксистской ортодок-

сии, а качеством марксистского анализа. Если говорить о практике, то принципиальное значение здесь имело именно наличие актива, не только постоянно занятого какой-то политической деятельностью, но и обладающего определенным совместным политическим опытом, коллективным сознанием, даже своего рода политической интуицией. Именно такая партия может быть демократической и сплоченной одновременно. Ее члены и сторонники не ждут приказа сверху, не тратят время в бесконечных дискуссиях, а формируют политическую линию в процессе действия снизу, что не мешает им действовать солидарно, скоординировано, разрешая свои разногласия по ходу борьбы. В свою очередь, революционное руководство – это не только опора на анализ, но и способность чувствовать массы, даже предчувствовать развитие их настроений, это не только алгебра, но и вдохновение. Перед нами организация, где доверие к лидерам опирается на совместное переживание текущего политического момента, где авторитет теоретиков основывается на их увлеченности практической деятельностью.

Все эти качества вырабатываются не в ходе повседневной работы в буржуазных парламентах, но и не во время сектантских дебатов. И если, как показывает опыт прошлого, штудирование теоретических работ, изучение книг и привычка к анализу могут сформировать отдельных политических интеллектуалов, способных неожиданно (порой для самих себя) превратиться из теоретиков в практиков и лидеров, то актив таким образом сформироваться не может. Активистская культура формируется только непосредственной деятельностью, ее, как и рабочую профессию, нельзя выучить по книгам.

Стремление построить революционную партию заранее, без и вне революционной практики опирается на дурно понятый опыт большевизма, перетолкованный советскими начетчиками от «истории партии». Уже в 1923 году Дьердь Лукач в книге «История и классовое сознание» писал: «организация в гораздо большей мере является следствием, нежели предпосылкой революционного процесса, точно так же, как и сам пролетариат может конституироваться в класс лишь в процессе и благодаря процессу. В подобном процессе, который партия не может ни вызвать к жизни,

ни миновать, ей выпадает поэтому возвышенная роль – быть носительницей классового сознания пролетариата, совестью его исторической миссии».²⁶⁵

В официальном советском марксизме, а в результате, и в партиях Коммунистического Интернационала, однако, восторжествовали совершенно иные взгляды. Правильно построенная и организованная партия представлялась обязательной «субъективной предпосылкой» революции, без наличия которой даже и попытку общественного преобразования предпринимать не имеет смысл. В результате любая революционная борьба сводилась в первую очередь к «интровертным» усилиям по организации партии. Этот подход, превратившийся в общее место марксизма к концу 1930-х годов, поставил под сомнение уже Эрнесто Че Гевара, заметив, что «не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для революции: повстанческий центр может сам их создать».²⁶⁶ По мнению Че, субъективные предпосылки революции могут складываться в процессе самой революции. В данном случае Че, как ни странно, был недостаточно радикален. Не только могут, но и должны. И никаким иным образом «сложиться», «развиться» и «созреть» не смогут.

Революционная партия является не предпосылкой, а продуктом революционного процесса. Вне его партия создана может быть, но – не революционная. И вполне естественно, что когда прекращается революционная практика, через некоторое время утрачивается партией и соответствующий «навык». Независимо от того, что написано на знаменах, какие традиции воплощены в идеологии и доктрине, организация эволюционирует, становясь в лучшем случае реформистской. В чем, кстати, нет никакой трагедии – реформистское закрепление результатов революции может быть вполне осознанной, исторически важной задачей (как новая экономическая политика Ленина была не только отступлением от «военного коммунизма», но и попыткой консолидировать его наиболее важные, позитивные и значимые, с точки зрения будущего социалистического развития, результаты).

Сколько бы революционеры ни говори-

ли о подготовке к грядущей борьбе и необходимости общественного переворота, к моменту этого переворота они никогда не будут готовы и соответствующим образом «предварительно» организованы. К тому же переход масс от пассивности к активной борьбе происходит быстро, внезапно и порой неожиданно для самих масс. Постоянно ожидаемый и предсказываемый левыми идеологами, этот протест столь же постоянно откладывается, а чудеса терпения, демонстрируемые народом, сводят на нет любые рациональные прогнозы социального действия, вплоть до момента, когда все вдруг, сразу и резко меняется. Пассивность большинства составляет на «низовом уровне» сущность реакционной эпохи. Французский историк Луи Эригье писал, что после поражения Великой Революции, совершивший ее народ «впал в летаргического сна».²⁶⁷ Именно внезапность и быстроту перехода от пассивности к восстанию считает Эригье важнейшей характеристикой революции, которая есть «ни что иное, как быстрое разряжение долго сдерживаемого гнева и возмущения против установившихся несправедливостей жизни; это есть открытое проявление скованного раньше негодования против тех притеснений, того гнета, который выносил народ целые столетия».²⁶⁸

Великая Французская революция началась без якобинцев (первоначальный Якобинский клуб имел мало общего с партией Сен-Жюста и Робеспьера), европейские революции 1848 года развернулись стихийно в условиях очевидной слабости республиканских движений, не говоря уже о пролетарских партиях, которых тогда вообще не было. Революции начала XXI века в Венесуэле и Боливии не были результатом партийной деятельности, а их политическая программа в большей степени формулировалась стихийными массовыми движениями (другой вопрос – хорошо это или плохо). И наконец, сегодняшние Арабские Революции происходят в обществе, где не только нет влиятельных левых партий, но даже на уровне интеллектуальной дискуссии левые остаются на заднем плане. Это отнюдь не мешает рабочим бастовать, а жителям пригородов

²⁶⁵ Лукач Д. Ленин и классовая борьба. М.: Алгоритм, 2008. С. 189-190.

²⁶⁶ Че Гевара Э. Опыт революционной борьбы. М: Алгоритм, 2012. С. 14.

²⁶⁷ Эригье Л. История Французской революции 1848 года и второй республики. СПб. 1907. С. 5.

²⁶⁸ Там же. С. 3.

стихийно создавать некое подобие Советов. Исход революции зависит от того, сумеют ли сами активисты, осмысливая собственный опыт, двинуться в сторону политической организации, отстаивающей интересы масс (если не по Ленину, то хотя бы по Робеспьеру). И смогут ли сторонники левых идей, которых несмотря ни на что в Арабском Море немало, организоваться и найти свое место в водовороте событий.

Как же, однако, быть с опытом русского большевизма, который принято интерпретировать в качестве классического примера создания «субъективной предпосылки» для грядущей революции? Как ни странно, история России или Китая на этом фоне не только не является исключением, но, напротив, очень хорошо подтверждает общее правило. Большевизм, безусловно, был уже сложившимся течением в 1917 году, но сам он был порождением другой революции – 1905 года. Именно общественный подъем, начавшийся в России уже в 1903 году, превратил социал-демократические группы и кружки в реальную политическую силу, именно активисты, прошедшие школу Первой революции, создали костяк партии, придав ей сплоченность и устойчивость. И, тем не менее, в 1917 году «левая альтернатива» отнюдь не существовала в России в «готовом виде». Вернее, в таком «готовом виде» она существовала в мозгу одного единственного человека – Ленина, может быть еще Троцкого с Луначарским. «Старые» партийные кадры настроены были крайне умеренно и с опаской принимали радикальные требования вернувшегося из эмиграции Ленина. Именно приход в партию массы новых членов и активистов переломил ситуацию, сделав Октябрь возможным не только технически, но и политически. Таким же точно образом Коммунистическая партия Китая, пришедшая к власти в 1949 году, была не только плодом организационных усилий Мао и его окружения, но и продуктом длительного революционного процесса, который развивался в стране с 1911 года. Создание левой партии, независимой от капитала – объективное условие успеха социальных преобразований. Но это отнюдь не то условие, без которого революция не может произойти, и тем более – начаться. На первых порах

общественное движение неминуемо является рыхлым, его сознание запутанным и противоречивым, а его программа невнятной. Восставшая улица оказывается «безъязыкой», не находя слов не только для того, чтобы выразить свои потребности, но и для того чтобы их хотя бы сформулировать для самой себя. Гнев и обида остаются единственно внятными эмоциями, которые, по крайней мере, удастся ясно артикулировать. Но именно эта потребность выразить и сформулировать собственную мысль, осознать собственные интересы и найти правильные формы для их защиты порождает объективный спрос на политическую партию.

«Политику в серьезном смысле слова могут делать только массы, – писал Ленин, – а масса беспартийная и не идущая за крепкой партией есть масса распыленная, бессознательная, не способная к выдержке и превращающаяся в игрушку ловких политиканов, которые являются всегда «вовремя» из господствующих классов для использования «подходящих случаев».²⁶⁹ Как выразился Александр Шубин, суммируя ленинскую мысль, от партии «исходит организованность, которая все глубже проникает в тело стихии».²⁷⁰ Однако пока нет массы, пока нет стихийного движения, нет и той политической почвы, площадки, на которой единственно только и может сформироваться последовательно социалистическая организация. А попытки создать ее «заранее», без соответствующей практики и без взаимодействия с радикализирующимися массами, напоминают знаменитый анекдот про сумасшедших, которые прыгают с вышки в бассейн, надеясь, что главный врач рано или поздно пустит туда воду.

Содержание современной эпохи состоит не только в преобразовании консервативных структур и институтов, отживших свой век и загоняющих социальное развитие в тупик перманентного кризиса, но и в том, чтобы преодолеть отжившие формы самого левого движения, общественной идеологии и социальной организации. Из осознания новой реальности и новых исторических задач формируется сила, соответствующая задачам революционной эпохи.

²⁶⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 125-126.

²⁷⁰ Шубин А. Социализм. «Золотой век» теории. М.: ИЛО, 2007. С. 714.

Это происходит болезненно, мучительно медленно, через ошибки, трудности и поражения. Но это происходит. «Оркестр, занятый настройкой, которую каждый инструмент осуществляет самостоятельно,

создает впечатление самой ужасной какофонии; однако эта настройка является условием того, чтобы оркестр действовал как единый инструмент», – писал Антонио Грамши в «Тюремных тетрадах».²⁷¹

²⁷¹ Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. С. 258.

Глава IV. Между реакцией и революцией (Чернышевский и Герцен: послание потомкам)

Г. Г. Водолазов

Завет Чернышевского

Много глупостей написано о Николае Гавриловиче Чернышевском.

Одни (сегодня имя им – легион) с либерально-гуманистическим пафосом негодуя пишут: «Чернышевский? Да это тот, который «звал Русь к топору»! И закончились эти призывы топорами кровавых сталинских репрессий. Ату его!»

Другие (оттертые на обочину идейно-политической жизни, а когда-то, в эпоху «реального социализма», – законодатели идеологических мод) слегка примолкли, но продолжают в своих маргинальных изданиях тянуть старые песни: «Да, звал к топору. И правильно делал! Как же без революции?».

Глупости – и то, и другое. Ни к какому «топору» не звал Николай Гаврилович. Наше время – это время сплетен. *Тексты* статей, книг идейных оппонентов не читают. Свои суждения на них не основывают. Все время ссылаются на какие-то частные разговоры и косвенные свидетельства. Вот кто-то в эмиграции кому-то сказал, что Ленин этому «кто-то» однажды якобы сказал, что он готов уничтожить 9/10 русского народа во имя остающейся 1/10 – и поднимается на основе этой «информации» вой: вот каков этот Ленин – кровавый палач и ненавистник русского народа. Да у Ленина 55 томов текстов, открытых для всеобщего чтения и обозрения. Ну, откройте их, ну, найдите хотя бы отдаленный намек на вашу сплетню.

Мне хорошо понятна мотивация этих разносчиков сплетен. Тут говорит их классовый, сословный интерес. Ну, хочется представить им дело так, что Колчак, Врангель – святые люди, ибо колчаковцы видели в социальном неравенстве благо. А это – моральное оправдание разносчикам сплетен, оправдание их богатств, награбленных в «лихие 90-е». А вот ленинцы – это «мерзавцы», ибо выступают за социальное равенство, требование которого ставит под угрозу миллиардо-долларовые состояния современных колчаковцев! Тут любая

сплетня желанна. Чего ж тут удивляться? Чего ж тут не понять?

Ну, и социалист Чернышевский, который Ленина «всега перепыхал», конечно же, у них из разряда извергов кровавых, поскольку к топору звал Россию.

Оставьте же, наконец, вы эту сплетню, господа хорошие. Давно доказано серьезными историками, бережно относящимися к фактам, что фраза о «топоре» принадлежит деятелю из того круга людей, к которым Чернышевский относился с большим подозрением и нескрываеваемой иронией.

Так что же, спросите вы, Чернышевский был вообще против революционной борьбы, против революции?

Да, отвечаю я, он, действительно, хотел бы избежать революции. Но не с помощью идиотских уверений, свойственных и некоторым нашим современникам, что «лимит на революции исчерпан». Его позиция – другая. Исключительно глубокая и в высшей степени поучительная для нынешнего поколения людей, готовящихся преобразовать Россию.

Вот его, по сути, Завещание. По нему и следует судить-рядить о Чернышевском.

Впрочем, для него оно не было «Завещанием». Оно *стало* таковым позднее. Дело в том, что через пару месяцев его деятельность была пресечена. По сфабрикованному подлогу Чернышевский был приговорен судом «гуманного» императора Александра II к 14 годам каторги. По сути это была форма убийства оппозиционного журналиста, террористический акт самодержавного государства. «Чернышевский был вами выставлен к столбу, – откликнулся на этот варварский приговор Герцен, – а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему. Проклятье вам, проклятье – и, если возможно, мечь!» И – дальше: «неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая

его товарищем креста».²⁷²

«Завещание» Чернышевского называлось «Письма без адреса». Хотя адрес легко угадывался: Александр II. Это был очень серьезный и очень ответственный разговор с Властью.

Начинается он с очень откровенной и ясной обрисовки диспозиции: «Милостивый государь! Вы недовольны нами. Это пусть будет как вам угодно: над своими чувствами никто не властен, и мы не ищем ваших одобрений. У нас другая цель, которую, вероятно, имеете и вы: быть полезными русскому народу. Стало быть, не от нас вы и не от вас мы должны ждать настоящей признательности за ваши и наши труды».²⁷³ Итак, он идет на переговоры с Верховным правителем, но не рядится в тогу его советчика. Он не скрывает: мы по разные стороны баррикад. Но обстоятельства жизни русского народа и наше с вами в них положение складываются таким образом, что нам с вами придется сесть, что называется, за стол переговоров. Мы обязательно должны объясниться, мы должны понять предгрозовую ситуацию, в которой оказалось российское общество и мы с вами, как его часть. Иначе – Беда. Беда – и народу, о котором мы с вами так печемся, и вам, властителям, и нам, партии просвещения, партии русской демократической интеллигенции. Легкого, простого выхода из этой ситуации нет. «Вы сваливаете вину своих неудач на нас; некоторые из нас винят в своих неудачах вас. Как хорошо бы оно было, если б эти некоторые из нас или вы были правы в таком объяснении своих неудач. Тогда задача решалась бы очень легко устранением внешнего препятствия успеху дела». И дальше – главное (что стоит выделить): «*Но грустно то, что никакие наши действия против вас или ваши против нас не могут привести ни к чему полезному*». Почему же? «Апатичен остается народ: какой же результат могли бы произвести ваши заботы или наши хлопоты о его пользах, хотя бы вы или мы и остались на поле действия одни?»²⁷⁴ «Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот о нем выходило что-

нибудь полезное для него».²⁷⁵ Но однажды под давлением жизненных тягот он вынужден будет подняться на свою защиту – такая развязка событий чревата...

И далее – центральное место статьи:

«Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, *трепецуют этой ожидаемой развязки* (т.е. – революции – Г.В.). Не вы одни, а также и мы *желали бы избежать ее*. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее, даже тот из наших интересов, который мы любим представлять как единственный предмет наших желаний, потому что он совершенно чист и бескорыстен, – интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. *Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию*.

Потому мы также против *ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел*. Нас так ослепляет страх за себя и свои интересы, что мы не хотим даже рассуждать, какой ход событий был бы полезнее для самого народа, и мы готовы для *отвращения ужасающей нас развязки* забыть все: и нашу любовь к свободе и нашу любовь к народу.

Под влиянием этого чувства обращаюсь к вам, милостивый государь, с изложением моих мыслей о средствах, которыми можно отвратить развязку, одинаково опасную для вас и для нас» (курсив всюду наш – Г.В.).²⁷⁶

Тут-то и изложена вся суть дела. Чернышевский против *революционного* способа разрешения социального тупика, ибо результат будет печален для всех – и «для вас», и «для нас», и «для самого народа». Он пытается разяснить это правящим силам, склоняя их к принятию необходимых шагов навстречу народным интересам.

²⁷² Герцен А.И. Сочинения в девяти томах. Т. 8. М. 1958. С. 210.

²⁷³ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в пятнадцати томах. Т. X. С. 90.

²⁷⁴ Там же. С. 91.

²⁷⁵ Там же.

²⁷⁶ Там же. С. 92.

И вместе с тем мало рассчитывает на успех этой своей попытки – слишком силен эгоизм сословия, стоящего у власти. Эгоизм этот отбивает даже чутье опасности, которая грозит самому этому сословию. Да, Чернышевский осознает: слишком ничтожны шансы достучаться до разума власть имущих. И все же он делает эту почти безнадежную попытку: а вдруг хоть что-то прочистится в мозгах правящих. И, во всяком случае, он сделал все, что мог, для цивилизованного (некровавого) разрешения социальных противоречий. Он предупредил. Не внемлете – получите революционное потрясение, когда всем мало не покажется.

Короче: Чернышевский не зовет ни к «топорам», ни к революции. Но вся политика правящего слоя такова, что она (эта политика!) подготавливает революционный взрыв. И в случае, если это все-таки произойдет, то задача партии прогресса, «партии Чернышевских», будет не в том, чтобы проклинать начавшуюся против ее воли революцию, а попытаться ввести ее в более или менее цивилизованное русло.

Завещание Герцена

Оно, как и у Чернышевского, – в письмах-статьях. Только не к Верховному правителю России, а – «к старому товарищу». То есть – к Михаилу Бакунину, с которым они вместе, с молодых лет, шли, связанные единой страстью революционного преобразования России. И вот в конце жизни Герцен итожит их опыт деятельности, прокладывая широкий водораздел между собой и своим старым другом и предлагая читателю выбирать, по какую сторону водораздела готов он встать.

Выбирая ту или другую сторону, надо очень внимательно присмотреться к тому различию пространств, которое предлагается Герценом. Надо поосновательнее вникнуть в тонкости герценовского письма. Иначе можно чересчур грубо, примитивно, упрощенно понять описываемое Герценом различие позиций. Что уже не раз случалось в герценоведении, когда суть этих разногласий видели в отходе Герцена от прежних своих идеалов – идеалов революции и социализма, по какой причине и возникала его острая критика Бакунина, остававшегося на позициях революционера-социалиста.

В общем: мирно настроенный, склонный к либерализму просветитель против страстного революционера и социалиста.

Ничто не может быть примитивней такой оценки. Дело – совсем, совсем в другом. «Великого человека, – сказал как-то Плеханов о Белинском, – легче не понять, чем понять». «Легче» – ибо содержание его писаний кажется легко схватываемым. Но не заблуждайтесь. За внешней простотой у «великих» – глубокое, скрытое от поверхностного взгляда содержание, что называется, с двойным, а то и тройным дном. Не просто пробиться к этим глубинам. Придется пустить в ход всю свою эрудицию, свою интеллектуальную энергию. «Легче не понять» – это и о Герцене. Попробуем же, осторожно и аккуратно двигаясь по тексту его статьи, понять истинные смыслы его утверждений.

Начнем с того, что его расхождения с Бакуниным совсем не по линии «социализм» – «не социализм». Нет, пишет Герцен, «нас занимает *один и тот же* вопрос». И «конечное разрешение» его (то есть достижение рубежа социалистических идеалов) «у нас обоих *одно*». «Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений» в главном; «дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала».²⁷⁷

И в чем же суть отмеченных Герценом разногласий? «Ты, – обращается он к Бакунину, – рвешься вперед по-прежнему со страстью разрушения... Я не верю в прежние революционные пути...»²⁷⁸ Ну вот, делает быстрый вывод простодушный читатель, Бакунин верит в революционные средства борьбы, Герцен – нет. Но вчитайтесь в текст Герцена повнимательней. Он не верит лишь в *прежние* революционные пути. Вы понимаете – в «прежние»? У него складываются новые, отличные от *прежних*, представления о революционно-преобразовательной деятельности. В *этом* суть дела.

И каково же содержание этой новизны? В основе прежних революционных представлений лежит идея *радикального насилия*, ломающего старый социальный мир и создающего новый мир социального равенства.

²⁷⁷ Герцен А.И. Сочинения в девяти томах. Т. 8. М. 1958. С. 399.

²⁷⁸ Там же. С. 410.

И такой революционный радикализм в общем-то понятен. «Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душист, она нам невыносима». Эта-то «невыносимость» и порождает страстное желание ускорить исторический процесс, «и многие из нас... торопятся и торопят других».²⁷⁹ Но опыт этих страстных порывов (в которых Герцен принимал ту или другую степень участия) вынудил его уточнить ряд своих теоретических постулатов.

Он пишет, к примеру, о «тяжелых испытаниях» революционных событий 1848 года, об этом «примере кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь». И какие из него извлекаются уроки? С одной стороны, хотя восставшие были смелы и самоотверженны, но оказалось, что у них, по сути, «нет знамени». И «что было бы, – задается вопросом Герцен, – если б победа стала на сторону баррикад?» Поскольку у восставших не было «ни одной построющей, органической мысли», то их «экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти». Иначе говоря, подытоживает он, «насилием» – без ясных программ преобразований, без опоры на массовые социальные силы – новый, лучший мир не создать. «Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями *какой-нибудь буржуазный мир*», мир новых форм насилия.²⁸⁰

В общем, «хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось». А «на авось», без ясно продуманных программ преобразований, без масс, готовых биться за эти программы, победить и построить новый, лучший мир невозможно. Более того, «сплоченный в одну дружину, мир консервативный побил его (восстание – Г.В.) – и следствие этого было ... ретроградное движение».²⁸¹ То есть выступление «на авось» не только не продвигает общество по пути прогресса, но даже провоцирует «ретроградное движение» – погружающее общество в более глубокую социальную трясину.

«Мы на авось не пойдем»²⁸² – таков вступительный тезис Герцена в его новую

социально-преобразовательную стратегию. Ну, а если «не на авось», то как?

Начнем с центрального тезиса. Задолго до булгаковского профессора Преображенского Герцен знал, что «разруха» – не во внешних обстоятельствах, а, прежде всего, в «головах человеческих». Герцен создал афоризм-шедевр, афоризм, вобравший в себя основную идею герценовской теории: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*».²⁸³ Тут в свернутом, «геномном» виде – вся философия социально-преобразовательной деятельности: нацеливаясь на преобразование социального бытия, озабочьтесь подготовкой к этому человеческих голов, сознания людей. Если сознание, а точнее политическая культура масс будет монархическая, тоталитарная, патерналистская, то какие бы вы не вводили «демократические» институты, структуры и процедуры, патерналистские установки народа в конечном счете переиначат их, наполнят далеко не демократическим содержанием. Эту закономерность в забавной образной форме выразил один из недавно ушедших политиков: «Строим новую политическую партию: на «входе» закладываем «демократические», толерантные принципы, а «на выходе» – опять КПСС». И он же: «Начинаем конверсию: «на входе» – заготовки кастрюль, сковородок, а «на выходе» – опять автомат Калашникова».

Хотите осуществления прогрессивных социально-политических преобразований – трудитесь в сфере политической культуры людей, воздействуйте на человеческие головы. Причем относитесь к людям не как к пассивному «объекту» воздействия. Постарайтесь понять их как *активных субъектов* истории – с их чаяниями, надеждами, интересами, культурными установками и политическими ориентирами. «Народное сознание, – пишет Герцен, – так, как оно выработалось, представляет *естественное*, само собой сложившееся... произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений – его надобно принимать за *естественный* факт... – изучая его, овладевая им и направляя его же средства сообразно нашей цели».²⁸⁴ «Народное сознание», «политическая культура» масс – это

²⁷⁹ Там же. С. 400.

²⁸⁰ Там же. С. 400–401.

²⁸¹ Там же. С. 400.

²⁸² Там же. С. 401.

²⁸³ Там же. С. 414.

²⁸⁴ Там же. С. 402.

объективная данность, это важнейший фактор социально-преобразовательной деятельности. Которые не поддаются легкому и быстрому преобразованию. Конечно, хотелось бы побыстрее и поосновательнее «внести» прекрасные идеи и идеалы в головы «обиженных и угнетенных». Но что делать? «Знание и понимание не возьмешь никаким *coup d'état* (государственным переворотом, силой – Г.В.) и никаким *coup de tête* (наскоком – Г.В.)». ²⁸⁵ «Излечение от предрассудков, – пишет далее Герцен, – медленно, оно имеет свои фазы и кризисы». ²⁸⁶ Насилие тут бессильно, скоропалительность – неэффективна и опасна. Это не означает, что невозможно активно влиять на ситуацию в сфере общественного сознания, в пространстве политической культуры. Нет, «ускорять внутреннюю работу» можно и нужно. «Сомнения нет. Что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в *известных* пределах – их трудно установить и страшно переступать». ²⁸⁷ Но, во всяком случае, тут нельзя – и снова запоминающийся герценовский афоризм: нельзя «шагать семимильными сапогами из первого месяца беременности в девятый». ²⁸⁸

И далее слывший (и не без основания) за радикального (революционного) деятеля Герцен пишет шокирующую с революционной точки зрения фразу, и пишет ее не без некоторого вызова и даже гордости: «Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разумения. Математика передается постепенно, от чего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?» ²⁸⁹ Да, Герцен отдает себе отчет, что эти мысли звучат необычно, даже кощунственно, для традиционного революционного уха: «Высказать это в том кругу, в котором мы живем, требует если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность». ²⁹⁰

И ему достало на это мужества. И добавлю: его программа не стала от этого менее революционной. Просто она не в духе *прежних* революционных установок. Она стала революционной на новый лад.

Она, повторяю, не перестала быть революционной, ибо осталась нацеленной на *коренное* (т.е. – революционное) преобразование общественных отношений. В ней просто предложены иные способы осуществления прежней задачи. Способы, ведущие к ее действительному, а не иллюзорно-утопическому решению.

И три момента этой по-новому революционной программы особенно важны и имеют особое значение для современной социально-преобразовательной деятельности.

Первое. «Новый водворяющий порядок, – пишет Герцен, – должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все не мешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего бывшего и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании». ²⁹¹ Из этих слов встают очертания нового облика социализма, не сводящего все к проблеме «пропитания». Социализма, богатого духом и художественным смыслом. Способным сохранять все богатство мировой культуры, выработанной человечеством на протяжении многих веков. Социализм Герцена не рвет связь времен, он укрепляет и развивает ее.

Второе. Герцен, как и Чернышевский, никого не успокаивает насчет возможных в будущем революционных преобразований. Он не дает гарантии, что будущее обойдется без революций. Он, как и Чернышевский, хотел бы их избежать. И так же, как Чернышевский, предупреждает: мир «капиталистов и собственников» должен пойти на уступки интересам рабочих, найти формы «сделок» и реформ, облегчающих положение рабочего сословия. «А не пойдет (на реформы) – тем хуже для него, он сам себя поставит *вне закона* – и тогда гибель его отсрочится только на столько, насколько у нового мира нет сил». ²⁹²

²⁸⁵ Там же. С. 400.

²⁸⁶ Там же. С. 402.

²⁸⁷ Там же. С. 400.

²⁸⁸ Там же.

²⁸⁹ Там же. С. 407.

²⁹⁰ Там же. С. 410.

²⁹¹ Там же. С. 405.

²⁹² Там же. С. 406.

И третье. Чтобы «гибель» этого мира наемного рабства не привела к гибели общества в целом, чтобы под его обломками не была размолота мировая культура, нужно, чтобы субъект преобразования социального мира был на уровне современной цивилизации, современной культуры. Чтобы субъект этот был способен сохранить и преумножить производительные силы человечества. Нужна поэтому неустанная и титаническая работа передовых людей по формированию нового общественного сознания, новой политической (и общей) культуры народных масс. И тут – вещие слова-заветы о специфике наступающей предреволюционной эпохи: «Наше время – именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам».²⁹³ Иначе говоря, Герцен провозглашает начало эпохи ново-

го Просвещения, подобной эпохе французских просветителей, сочинения которых, идеи которых предваряли Великую французскую революцию конца 18 века.

«Просвещение», деятельность в сфере «слов» – разочарованно протянут радикально настроенные люди, читая эти призывы Герцена. Таких «радикалов», иронизирующих по поводу «просвещения» хватает во все эпохи. Немало их было и во времена Герцена. Эти «нетерпеливые люди» наседали на него. «Время слова, – цитирует их инвективы Герцен, – прошло; время дела наступило». И знаменитая герценовская отповедь: «Как будто *слово* не есть *дело*? Как будто время слова может пройти? Враги наши никогда не отделяли *слова* и *дела* и казнили за *слово* не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за *дело*».²⁹⁴

Запомним же, крепко запомним эти слова нашего великого предшественника.

²⁹³ Там же. С. 401.

²⁹⁴ Там же. С. 411-412.

РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Глава I. Социально-экономические истоки Русской революции

И. К. Пантин

Предмет данной статьи – проблема исторических корней Русской революции. Автор попытался доказать, что Октябрь 1917 г. отнюдь не прерывает исторической эволюции громадной страны, а восстанавливает «связь времен», несмотря на все противоречия, зигзаги, трагические изломы.

Всякое историческое явление, взятое вне его родословной, легко противопоставляется предшествующему развитию, особенно в том случае, если последующие события не совпадают с мысленно заданным, как правило, западноевропейским, типом поступательного прогресса, который трактуется как своего рода «исторический закон». Тогда исторический перелом, каким была Русская революция, в особенности Октябрь 1917 г., легко квалифицировать как «падение в пропасть», «торжество бесовщины», «конец русской истории», а если «научно», как «реакцию традиционного общества на техногенную цивилизацию с использованием всех приобретений этой цивилизации для воскрешения прошлого».²⁹⁵ Октябрьская революция в умах мыслителей новой генерации превращается в большевистский переворот, который выпадает из логики исторического развития России. Ни о какой объективной потребности разрешить общенациональные проблемы России речь у них не идет. Революция сводится к бессмысленному разрушению культуры, гражданской войне, а затем становлению тоталитарного режима. Парадоксальность ситуации в случае с Октябрьской революцией (о революции 1905-1907 гг. почему-то не говорят, хотя она была своеобразной репетицией Октября 1917 г.) заключается в том, что разрыв между Октябрьской революцией и предшествующей российской историей, включая ее последствия для нашей страны, проник не из действительности в умы, а, наоборот, из новых представлений о революции в мыслимую историческую действительность. Имея в виду это обстоятельство, не должны ли мы

сказать так, как некогда говорил Г.В. Плеханов: в мозгу некоторых новоявленных мыслителей не могут ужиться рядом понятия о таких вещах, которые прекрасно уживаются в действительности.

В этой связи вполне законен вопрос: имеет ли Русская революция (прописная буква означает, что имеются в виду все три русские революции) корни в социальной и экономической русской истории или она возникла, как утверждают некоторые, «случайно», внезапно, подобно разрушительному смерчу? Людям, занимающимся осмыслением истории, известно, что «случайно», неожиданно возникающее в общественной жизни событие способно обрести страшную силу необратимости, которая стремится продолжить себя, невзирая на все препятствия и жертвы. В этом смысле определение «случайность» теряет резон: случайность переходит в необходимость. Так было раньше, но XX век превзошел в этом отношении предшествующие столетия. Другими словами, позиция «или-или» (или случайность, или необходимость) далеко не всегда может быть применена к истории.

Точка зрения, выделяющая эффект неожиданности, внезапности революции тоже имеет свое оправдание: революционный взрыв нельзя предугадать заранее. И дело здесь заключается не в ограниченности общественного сознания, даже научного, а в том, что революция, предполагающая активные действия исторических субъектов (отдельных лиц, групп, социальных слоев) не допускает однозначного предвидения ее появления с помощью научных, т.е. абстрагированных от деятельности человека методов. В частности, нельзя заранее определить, как будет совершаться формирование революционного субъекта, не будет ли оно прервано, какими будут возможности для действий нового типа, немислимых раньше (как, например, в революции 1905-1907 гг.), кому, на какой стадии и как удастся остановить идущий «снизу» процесс развертывания инициативы масс и т.п. Все это нельзя вывести из условий существования «старого порядка». Как

²⁹⁵ Кантор В. К. Россия есть европейская держава. М. 1997. С. 70.

справедливо, на наш взгляд, подчеркивает Б.Г. Капустин, «...акты свободы непредсказуемы в принципе. Такова их онтологическая “природа”, укротить которую не в силах никакая методология познания, даже та, которой обладают “самые передовые”, “современные социальные науки”».²⁹⁶

Русскую революцию автор понимает как процесс образования внутренних (включая сюда и идейный сдвиг), а также внешних условий, который создает возможность решения общенациональных проблем путем разрушения политического или социального «старого порядка». Активная, собственно событийная фаза революции оказывается в этом случае включенной в более широкий исторический контекст, который определяет не только форму протекания революционного процесса, его противоречия и способы их разрешения, но и термидор – самоотрицание революции, введение ее в законные рамки. В этом отношении период 20-30-х гг. XX в. мы рассматриваем как момент революции (= ее самоотрицание), а не то, что родилось благодаря inferнальной воле одного человека, наделенного необъятной властью. Конечно, революция – это всегда крупное политическое событие, особенно тогда, когда она меняет не только правящий режим, но вторгается в общественно-экономические отношения. Но «политическое» далеко не всегда исчерпывает суть проблемы «Российская история – Русская революция». Предшествующая история гораздо глубже, гораздо основательнее «вошла» в революцию, чем предполагают некоторые, воздействовала на ход дел и даже результаты. Более того, социальная революция, наподобие Русской, открывая новый вектор исторической эволюции нашей страны, не только не прерывает «связь времен», а своеобразно, на новом этапе всемирной истории, продолжает в иных формах, при ином сочетании политических сил развитие страны. Единственное, чего нельзя ожидать от революции это – кумулятивности прогресса, непосредственного сохранения и умножения культуры и обретений старого порядка. Ибо революция, особенно народная – это слом старых порядков, обновление политической структуры общества, формирование нового строя отношений.

Первое, на что наталкивается исследо-

ватель проблемы «Российская история – Русская революция» – это ментальность народа России, феномен вполне реальный, если отбросить разного рода идеологические спекуляции. Менталитет на деле подытоживает многое: природные условия, размеры территории, историческую судьбу народа, строй его речи, привычки и традиции и, что, пожалуй, главное, укоренившийся способ общения людей друг с другом. Вот почему он многое дает для объяснения некоторых особенностей истории.

В литературе нашей и зарубежной подробно описаны такие черты ментальности русского народа, как взрывной характер, страсть, неистовство, иррациональность поступков, неприятие мира, в котором существует несправедливость, мечтательность и т.п. Поскольку мы пишем о революции, которая, так или иначе, втянула в политику миллионы рабочих и крестьян, то для нас важна еще одна черта русского (российского?) характера – отсутствие «внутренней» демократии. Если историческое прошлое народов Западной Европы, богатое борьбой и уроками, создало тип современного гражданина, человека из народа, который сам к себе относится с известным уважением и которого вследствие этого вынуждены уважать правящие классы, то в России многовековая работа самодержавия по искоренению всяких следов внутренней демократии в народе, произвол высших сословий в отношении низших, засилье чиновничества в повседневной жизни сформировали своеобразный менталитет «простого человека», чьими характерными чертами были ощущение униженности, внутреннее ожесточение, ненависть к «барину», его культуре, недоверие к «студенту» (интеллигенту), желание расквитаться с «богатеями» за свои беды и лишения. Конечно, в конце XIX – начале XX вв. возник слой промышленного пролетариата с совсем иными установками и предпочтениями, но он был слишком мал, чтобы изменить тип личности крестьянского большинства.

Века гнета, непосильного труда на помещика, на государство, морального унижения, душевного мрака породили у крестьянства утопическую мечту в «единый миг» переломить свою судьбу, уничтожить сразу все обуревавшие его всегда невзгоды. Как никто другой это отчетливо понимал

²⁹⁶ Капустин Б. Г. Критика политической философии. Избранные эссе. М. 2010. С. 146.

Достоевский. «У нас все теперь в вопросах, — писал он, — И что главное, все ведь это требует времени, истории, культуры, поколений, а у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что ни историческим, ни культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже внезапно».²⁹⁷ Впрочем, неизбежность социального взрыва понимал не только Достоевский. Но другого пути, исключаящего катастрофу, никто не мог предложить. Вся история России, развивавшаяся «вдруг и совсем даже внезапно», особенно в XX веке, закрепляла в массах «культуру взрыва» (М.Волошин). И не случайно в революции 1917 г., разразившейся во время мировой войны, переросшей затем в гражданскую, обе стороны действовали с крайним ожесточением и беспощадно расправлялись друг с другом. (Автор книги «Красный террор», на которую любят ссылаться некоторые, хотел написать еще одну, под названием «Белый террор»).

Российский менталитет формировался веками в условиях сначала татаро-монгольского ига, а затем самодержавного режима. Веками народ безропотно мирился с самодержавной властью, а в самые переломные критические моменты национальной истории она получала поддержку «снизу». Уже одно это заставляет задуматься о глубоких корнях единодержавия в российском обществе. Проблема становится еще острее, если вспомнить о коммунистическом тоталитаризме, который сравнительно легко (по историческим меркам, разумеется) одержал победу над другими возможностями исторического развития. Словом, централизованное, деспотическое государство, действующее от имени народа и якобы в его интересах, единственная и неизменная рамка, соотношенная, аутентичная онтологически и первичная морально, долгое время, вплоть до начала XX в. была характерна для русского народа. Защита прав индивида в народном сознании в случае конфликта их с интересами государства заранее выступала псевдопроблемой. Мучительная всякий раз проблема этического выбора — государство или человек — априорно решалась в пользу государства. Но отнюдь не любовь к государ-

ству была причиной «государственнического менталитета» россиян, а скорее забитость, нищета, непосильная работа миллионов. Политика, требовавшая духовного развития, мораль, потребность в свободе и правах являлась неосуществимой утопией («блажью») для тех, чья жизнь наполнена изнуряющей и оупляющей работой на другого, у кого отняты средства вести жизнь, достойную человека. В России этим притесненным и ограбленным большинством было крестьянство.

Сегодня, видимо, не надо доказывать ту истину, что историческая среда — вовлеченность России со времен Петра в систему политического соперничества великих держав, международных экономических связей, обмена товарами и идеями — определила начало превращения евроазиатской страны в буржуазную. Трудность проблемы в другом: понять, почему и в какой мере *генезис капитализма* в России оказался существенно отличным от соответствующих процессов на Западе; какую группировку общественных сил он создавал, почему общественная борьба, призванная разрешить противоречия между азиатскими отношениями, крепостничеством и буржуазными элементами прогресса, приобрела сугубо *антибуржуазный характер*, не сохранив вообще после Октября 1917 г. многих позитивных результатов предыдущего этапа развития и достижений России.

Начнем с исторического контекста, с характеристики основных линий социально-политического и экономического развития России. В основу понимания исторической эволюции России — во всяком случае XIX-XX вв. — автор кладет концепцию «догоняющего» или «запоздалого» развития (модернизации), которую он разрабатывал вместе с Е.Г. Плимаком, В.Г. Хоросом и А.И. Володиным, начиная с середины 80-х гг. XX в. в ряде совместных работ. Думается, что «разрешающая способность» этой концепции максимальна. Если другие парадигмы предполагают изучение российского прошлого и феноменов его политической, социальной, экономической эволюции в формате одной страны и лишь под углом зрения их внутреннего, национального происхождения, то концепция «догоняющего» развития ставит отечественный исторический процесс в контекст всемирно-исторических (прежде всего европейских) отношений, видоизменяя саму перспективу

²⁹⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 27. Л. 1986. С. 10.

рассмотрения прошлого нашей страны.

Идея «догоняющего» или «запоздалого» развития России была сформулирована впервые С. Соловьевым в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872 г.) и в комментариях к ним и развита затем В. Ключевским (см. его дневниковые записи, заметки, афоризмы). «Русский народ, — писал Соловьев, — не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века, благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра».²⁹⁸ По Соловьеву, Россия принадлежит к единой христианской цивилизации, а потому запоздание с переходом в пору зрелости не отменяло общности судеб России и Европы. Однако, как оказалось, проблема «Россия — Запад» гораздо сложнее, чем представлялось Соловьеву. Ученик Соловьева В. Ключевский начал осознавать особый характер движения отставшей страны вслед за развитыми. «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы, — записывает Ключевский в дневнике в январе 1911 г. — Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро».²⁹⁹ «Перенимание чужого наскоро» историк иллюстрировал реформами Петра I и Александра II. «Наскоро» означало для Ключевского «низшую форму государства» и отсутствие права в русской жизни, беззаконие при невероятном обилии законов и многое другое. Как показала история, движение вперед путем государственного насаждения буржуазной по форме экономики в ущерб народному хозяйству страны, в особенности сельскому, в целом оказалось характерным для всей общественной эволюции России.

Концепция «догоняющего развития» отнюдь не является ключом к пониманию всех проблем истории России. Но она, думается, фиксирует некоторые из важнейших черт российского исторического процесса. Таковую, например, как движение, так сказать, по «перевернутой» схеме: *сначала* инициатива власти («революция сверху»), диктуемая, прежде всего, геополитическими соображениями, а не потребностями со-

циального и экономического развития страны, *затем* преобразование социально-экономических отношений с помощью рычагов самодержавного государства на почве и в пределах данного строя.

Начнем свое изложение проблемы «догоняющего развития» с Петра I. Предвестия петровских преобразований исследователь эпохи Петра I С. Соловьев видит уже попытках Ивана IV вывести Россию к морским рубежам и в правлении первых Романовых, когда на европейский манер стал заводиться «военный строй», начался «вывоз из-за границы ремесленников, людей, способных завести разные промыслы», понадобились услуги европейских ученых и офицеров с их знаниями математики, географии, военного дела и т.д.

Собственные петровские преобразования носили в этом смысле куда более всеобъемлющий характер. Военные победы над шведами «вводили» в систему европейских государств новую могущественную державу с более чем 200-тысячной регулярной армией и современным флотом; строительство основанных на крепостном труде мануфактур (как казенных, так и передаваемых в частные руки) — при резком увеличении податного обложения населения и усилении внеэкономического принуждения — были материальной основой побед Петра. При этом европейский опыт и знания, как подчеркивал Соловьев, были переплавлены в самостоятельном оригинальном творчестве царя и деятельности многочисленных «птенцов гнезда Петрова».

Петр не просто прорубил «окно в Европу» для России, он задал своеобразную матрицу прогрессивного движения страны. А.И. Герцен назвал ее «петроградизмом», самодержавной модернизацией, а мы «революцией сверху». Именно с Петра начинается специфически российский способ «европеизации» страны, когда власть, ломая прежний уклад жизни населения, «искусственно» *насаждает* новые, по форме сообразные с западными канонами формы отношений в обществе и экономике. Интересы развития страны при этом вырываются из сферы самодеятельности общества (власть лучше знает, что стране необходимо) и противопоставляются ей в качестве предметов правительственной деятельности. Менялись «формации», системы, режимы, но административно-принудительный характер модернизации страны остался, его черты мы

²⁹⁸ Соловьев С. Сочинения. Кн. XIX. М. 1995. С. 18-19.

²⁹⁹ Ключевский В. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М. 1968. С. 318.

с трудом пытаемся изменить сегодня.

В основе подобного движения по «перевернутой» схеме, когда на роль субъекта модернизации выдвигается государственная власть, лежит слабость, неразвитость общественных сил, чьи интересы в потенции совпадали с переменами, вынужденный, недобровольный характер реформ (иногда под угрозой национальной катастрофы), наконец, политическая пассивность основной массы населения. Вот почему «верхи», власть, правительственные круги, а не «низы», общество, народ, оказывались на высоте исторической задачи. Лишь в ходе перемен, на их основе, происходило «сцепление» преобразований с интересами определенных социальных слоев. И не случайно все радикальные реформы «сверху» связаны с громадными бедствиями для народных масс. Государство, присвоившее себе право вести народ, еще не готовый к самостоятельному выбору идти по пути «прогресса», способно было это сделать только в интересах господствующих групп, и обязательно с помощью принуждения.

Говорить о том, что Петр Великий заботился об общем благе подданных, конечно же, не приходится.³⁰⁰ Он самыми беспощадными и варварскими методами обеспечивал «государственный интерес». Единоборство со Швецией (союзники России – Дания и Польша – были почти сразу же сокрушены Карлом XII) потребовало гигантского напряжения сил нации. При уменьшении на 7-15% окончательно закрепощенного податного сословия страны (данные историков здесь расходятся) происходит трехкратное увеличение податей и доходов государства (примерно с 3 млн. рублей в 1710 г. до 10 млн. рублей в 1725 году); две трети, иногда четыре пятых доходов уходят на войну. Десятки тысяч, если не сотни тысяч крестьян гибнут в баталиях Петра, при возведении северной столицы, работая в мануфактурах и на рудниках. Жесточайшему регламентированию подвергается деятельность купцов и предпринимателей. Поголовно мобилизуется Петром на военную и административную службу и дворянство, для чего вводится принудительное обучение всех дворянских отпрысков. Знаменитым «Табелем о рангах» заново регламентируется – уже не по «роду», а по заслугам

– сословная значимость дворян. Невиданное развитие получает государственная бюрократия, опутывающая всю страну системой «сыска» и деспотичной «опеки».³⁰¹

Преобразования вызывают культурный раскол нации. У «благородного» сословия теперь короткая одежда, бритое лицо, парик, вызывающие ужас у мужика, да и изъясняться оно начинает все больше на иностранных языках, сначала немецком, затем французском. «Реформа пронеслась над народом как тяжелый мираж, всех испугавший и никому не понятный», – писал В.О.Ключевский.³⁰² Не случайно же народная молва окрестила Петра-преобразователя «Антихристом», хотя по-крупному народ не перечил царю. По-крупному казачество и крестьянство выступит под водительством Пугачева в 1773-1775 гг., в царствование Екатерины Великой.

Таким образом, именно с Петра I начинается *культурная поляризация* господствующих классов и народа, сыгравшая громадную роль в последующем историческом развитии России, включая и такое событие, как Русская революция. Петр дал толчок экономическому (преимущественно в военной области) развитию. Но очень скоро стало сказываться главное противоречие его реформ: преобразования происходили путем *насаждения* властью элементов экономического прогресса. Причем, и это, пожалуй, главное, в Европе они были завоеваны на *буржуазной* социальной почве, у нас же в России они накладывались на отсталые, *крепостнические* общественные отношения.

Следует учитывать, что в истории каждой страны есть исторические периоды, которые в своей совокупности выдвигают определенные проблемы и намечают способы разрешения этих проблем с самого начала их возникновения. В России таким периодом был период отмены крепостного права и связанных с ней реформ.

Поражение под Севастополем поставило самодержавие перед неотвратимым решением: в самом срочном порядке догонять своих европейских соперников. В 1857 году Александр, опираясь на либеральную общественную поддержку и на «либеральную» бюрократию, вынудил дворян приступить

³⁰⁰ См.: Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций. М. 2000.

³⁰¹ См.: Соловьев С. Указ. соч. С. 141 и далее.

³⁰² Ключевский В.О. Лекции. Запись Н.Н. Селивановой. Б. м. и г. С. 201–206.

к «крестьянской реформе». Все выдвинутые в дворянских комитетах предложения (правда, их роль была постепенно сведена на нет) и работу редакционных комиссий объединяло стремление «освободить» крестьян, ни в малейшей степени не покушаясь на дворянское землевладение и тем более на российский абсолютизм. Это была, собственно говоря, та же «антиреформаторская» часть наследия Петра Великого и Екатерины Великой, которая в конечном счете приведет страну к революциям XX века...

Хотя в Манифесте Александра от 19 февраля 1861 года говорилось о «свободном сельском обывателе», его «свобода» оказалась весьма стесненной. Основная масса крестьян, страдая благодаря реформе от малоземелья, разорительной податной системы выкупных платежей, скованная общинными рамками, оказалась не в состоянии вести хозяйство по-новому. Подстегиваемый извне капитализмом процесс втягивания крестьян в товарное обращение резко опережал (масштабом, сроками) переход к товарному производству. Сплошь и рядом, чтобы расплатиться с долгами и платежами, крестьянин вынужден был продавать урожай (в том числе и часть необходимого продукта) за бесценок местному ростовщику, скупщику, кулаку. Что же касается помещичьего хозяйства (увеличившегося за счет «отрезков» от наделов крестьян), то латифундисты держались, как правило, за испытанный способ отработок и исполщины. Крестьянина душил земельный голод, и ему приходилось арендовать землю у бывших помещиков и расплачиваться отработками в барских хозяйствах.

Поставим вопрос: удалась ли «Великая реформа» (точнее, реформы 60-х годов)? Ответить на этот вопрос не так-то просто, а уж однозначный ответ невозможен в принципе. Поскольку была отменена крепостная зависимость крестьянина, началось развитие капиталистической крупной промышленности в городах, стимулировано формирование общероссийского рынка, постольку была приоткрыта дверь буржуазному прогрессу России. Мы уже не говорим о том, что не менее существенным, чем экономический фактор, являлось возникновение в эпоху 1861 года новых отношений между людьми, пробуждение общественного сознания, культурное движение. Все это в итоге стало составляющими обновления

страны и умножения возможностей ее развития. Экономическое движение, однако, ограничилось определенными рамками: бурно развивалась промышленность, связанная прежде всего с военными нуждами, с железнодорожным строительством, крестьянское хозяйство же хирело. В этом отношении реформы 60-х гг. XIX в. не достигли цели, не создали условий для широкого и беспрепятственного развития капитализма в городе и деревне. Царизму, обладавшему огромными возможностями проникновения в стихийный процесс экономического развития, перераспределения его ресурсов и плодов, не удалось превратить процесс внедрения и роста «верхушек» капитализма в фактор, преобразующий всю систему общественных отношений. Более того, конфликт буржуазного развития с крепостничеством превращался в конфликт внутри первого, в столкновение разных вариантов самого капитализма, а позже в 1917 году, – в конфликт разных форм и средств приобщения к европейской цивилизации, завоевания основных предпосылок ее.

Пореформенная Россия одной из первых среди евроазиатских стран продемонстрировала, что генезис, структура, историческая миссия капитализма на периферии капиталистического мира существенно отличаются от таковых в метрополиях. Если в Западной Европе капитализм родился из разложения непосредственно исторически предшествующего ему феодального уклада, то в России разложение крепостного строя происходит уже в рамках капитализма, движения буржуазного способа производства. Предыстория его не просто передвинулась за формационную черту, но определила особый тип буржуазного развития страны. Прежде всего, подчеркнем, что капитализм в России, сразу вставший на индустриальную основу, возник под воздействием извне, как вторичное явление, перенесенное с Запада искусственными (государственными) средствами. Индустриальная форма капиталистического развития в нашей стране не столько продукт предшествующей экономической эволюции, как это было в странах Западной Европы, сколько результат осуществившегося вне России превращения капитализма в индустриальную форму и перенесения его в нашу страну.³⁰³ Царское правительство под

³⁰³ Крылов В.В. Капиталистически ориентированная

угрозой крупных геополитических осложнений вынуждено было «европеизировать» страну, насаждая новые формы отношений в экономике и обществе.

Казалось бы, какая разница, *как* в стране возникает индустриальный капитализм: путем постепенного, «органического» развития или в результате того, что его *насаждают* на существующую социально-экономическую почву. Однако эта разница существенна и первыми ее почувствовали русские народники. Мы опускаем здесь взгляды народников, будто такой имплантированный капитализм означает «отсутствие корней» для его развития в России, появление возможности миновать капиталистическую фазу эволюции страны и т.п. Народнический экономист Н.Ф. Даниельсон в одном из своих писем ставит эти вопросы перед Ф.Энгельсом. Русский корреспондент Энгельса исходил из того, что насаждаемый самодержавием «сверху» капитализм в такой стране, как Россия, не имеет будущего, поскольку разоряя непосредственных производителей, буржуазное развитие тащит страну назад. Отсюда вопрос, обращенный к Энгельсу: «А теоретически? Куда мы идем?». Ответ последнего сводился к указанию на то, что *способ* внедрения капитализма в новый социально-экономический организм («сверху» или «снизу») является «второстепенным» (Маркс в этом пункте был гораздо осторожнее). Да, признавал он, внезапный рост капиталистической крупной промышленности вызван в России «искусственными средствами». Он насаждался царским правительством. Но коль скоро капитализм в стране уже налицо, он будет развиваться по имманентным ему законам – создавая (и разрушая) свой внутренний рынок, производя «революцию в отношениях земельной собственности». В одном только пункте Энгельс вполне согласен с Даниельсоном: «Потрясение, произведенное этим экономическим переворотом, может оказаться гораздо более сильным и острым, чем где бы то ни было».³⁰⁴

Сегодня можно утверждать, что диагноз Энгельса был верным только в тех пределах, в каких он обобщал историческое развитие западноевропейского региона, но

ограниченным и недостаточным, когда речь шла о России, где способ внедрения капитализма для судеб страны оказался отнюдь не второстепенным вопросом. Именно он обусловил существенно иной, чем в Западной Европе, путь приобщения нашей страны к новоевропейской цивилизации – тяжелый, катастрофический, но иной.

Будучи имплантированным в *старый общественный организм*, крупнопромышленный капитализм в России оказался неспособным стать фактором, который конституировал бы внутреннюю целостность общества, преобразовывал сверху донизу социально-экономическую структуру страны на капиталистических началах. И не случайно развитие капитализма в России привело к невиданной поляризации буржуазных отношений: с одной стороны, радикальная, по тогдашним меркам, разумеется, промышленная революция в городах, с другой – помещичьи латифундии в деревне, реализующие свою частную собственность на землю через мелкокрестьянскую аренду феодального типа. Подобного рода совмещение в пределах одной общественной системы зрелых форм капитализма и диких пережитков крепостничества определило как весь ход буржуазного развития России во второй половине XIX – начале XX вв., так и, в особенности, характер проблем и противоречий, которые пришлось решать Русской революции.

Концепция «догоняющего» развития и «революций сверху» фиксирует в числе прочего то обстоятельство, что капитализм в России рождается не из разложения традиционных укладов, а, наоборот, само их разложение (или сохранение) происходит под влиянием капитализма, родившегося в другом месте, но привитого к общественному организму страны. В Западной Европе и Северной Америке капитализм, укореняясь, глубоко вспахивал социальную почву, принес духовное и политическое обновление народа, знаменовал собой начало новой цивилизации. В России же прогрессивная роль капитализма проявилась иначе: он разрушил прежний жизненный уклад широких слоев крестьянства, вбросил их в условия товарных отношений, не создав важнейших социальных предпосылок для нового способа хозяйствования, а ведь крестьянство составляло подавляющее большинство нации. Из-за этого капитализм не смог

форма развития освободившихся стран в методологии марксистского исследования // Рабочий класс и современный мир. 1982. С. 23.

³⁰⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. С. 55.

завоевать все социально-экономическое пространство страны. Зато он обострил до предела все противоречия – экономические, социальные, национальные. (Схожим образом были проведены экономические реформы в 1991 – 1993 гг. Десятки миллионов людей, насильственно обращенные в рыночные отношения, без средств к существованию, без опыта хозяйствовать по-новому, без поддержки государства оказались на грани нищеты и вынуждены были действовать на свой страх и риск. Как нередко было в России, телега оказалась поставлена впереди лошади.)

Главной проблемой России становится проблема формирования *основных внутренних предпосылок* буржуазной эволюции в стране, где уже возник и развивался современный крупнопромышленный капитализм, но еще не сложились многие из основных условий капитализма свободной конкуренции. Отношение «латифундия-надел» в силу целого ряда обстоятельств стало неодолимым препятствием на пути к «свободному» развитию капитализма в деревне.

Город и деревня являли собой разительный контраст. В отличие от города, где совершалась буквально социальная и культурная революция, в российской деревне, где проживало большинство населения, отсутствовали многие из основных условий буржуазного развития. Если часть зажиточных крестьян переходила к фермерскому хозяйствованию, то большинство населения деревни застряло на стадии разорения, пауперизации.

Строительство железных дорог гигантски расширило сферу товарно-денежных отношений. Но вот парадокс, свойственный российскому буржуазному развитию. «Крестьянин был весь в долгах, продавая хлеб сверх всякой продовольственной нормы, однако в подавляющей массе его хозяйство – с точки зрения внутренней структуры, внутренних отношений – оставалось патриархальным, натуральным. Подстегиваемый извне капитализмом, процесс втягивания крестьянства в товарное обращение резко опережал (масштабом, сроками) переход к товарному производству».³⁰⁵ Иными словами, одно-

типность буржуазной эволюции России и стран Западной Европы отнюдь не означали их тождества.

За социально-экономическими проблемами в России второй половины XIX в. внимательно следят Маркс и Энгельс. «Возникновение сети железных дорог в ведущих странах капитализма, – писал Маркс, – поощряло и даже вынуждало государства, в которых капитализм захватывал только незначительный верхний слой общества, к внезапному созданию и расширению их капиталистической *надстройки* в размерах, совершенно не пропорциональных остову общественного здания, где великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных исторических формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что в этих государствах создание железных дорог ускорило социальное и политическое размежевание, подобно тому, как в более передовых странах оно ускорило последнюю стадию развития, а следовательно, окончательное преобразование капиталистического производства».³⁰⁶ – пишет Маркс Н.Ф. Даниельсону.

Капитализм в промышленности России в результате реформы получил мощные импульсы для своего развития. Наученное опытом катастрофы в Крымской войне, правительство не жалело средств для финансирования строительства заводов, фабрик, железных дорог и т.д. Как отмечал Энгельс в статье «Социализм в Германии», «буржуазию... стали буквально выращивать посредством щедрой государственной помощи, субсидий, премий и покровительственных пошлин, постепенно доведенных до крайних пределов».³⁰⁷ В течение короткого времени железнодорожные и банковские воротилы стали ведущими фигурами в среде русской буржуазии, сливаясь рядом постепенных переходов с потомственными мануфактуристами и фабрикантами, вчерашними откупщиками, хлеботорговцами, деревенскими богатеями, «колупаевыми» и «разуваевыми».

Бурный рост крупной капиталистической промышленности, железных дорог совершался за счет невиданного разорения крестьянства, основной массы населения страны. Положение крестьян, поставленных

³⁰⁵ Гефтер М.Я. Многоукладность – характеристика целого // Вопросы истории капитализма России. Проблема

многоукладности. Свердловск. 1972. С. 63.

³⁰⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 290-291.

³⁰⁷ Там же. Т. 22. С. 261.

в тяжелейшие условия, усугублялось необходимостью перехода от натурального хозяйства к денежному. Именно это стало камнем преткновения и источником бедствий крестьянина.

Анализ первых шагов «революции сверху» приводит Маркса к выводу о несомненном его историческом своеобразии, обусловленном рядом обстоятельств как всемирно-исторического свойства (гигантский рост производительных сил в Англии, Соединенных Штатах, Бельгии, Франции), так и национального (освобождение от крепостного права в 1861 г., проводимое царизмом и оставшееся поэтому половинчатым и урезанным). Этот капитализм вряд ли можно было назвать неразвитым. По сравнению с соответствующими периодами западноевропейского капитализма он был вполне развитым, а главное, развивался высокими для своего времени темпами. Его слабость, «неразвитость» заключалась в другом – в колоссальном несоответствии всего общественного здания бурно разраставшейся капиталистической финансовой, торговой и промышленной «надстройке».

Чтобы еще более оттенить особую форму (тип) русского буржуазного развития, Маркс сравнивает его с капитализмом Соединенных Штатов. «В Соединенных Штатах, – пишет он, – концентрация капитала и постепенная экспроприация народных масс представляют не только орудие, но и естественное порождение (хотя и искусственно ускоренное Гражданской войной) неслыханно быстрого промышленного развития, прогресса в сельском хозяйстве и т.д.; Россия же напоминает скорее Францию времен Людовика XIV и Людовика XV, когда финансовая, торговая и промышленная надстройка или, вернее, фасад общественного здания (имевшего, правда, под собой гораздо более прочный фундамент, чем в России) выглядел насмешкой на фоне застоя большей части производства (сельскохозяйственного) и голода среди производителей».³⁰⁸

Любой капитализм, где бы он ни возник, предопределяет разорение непосредственных производителей («экспроприацию народных масс»). Но это разорение может быть выражением *общего прогресса* страны на капиталистическом пути, как

это было в Соединенных Штатах Америки, а может быть средством создания капитализма *за счет крестьянства* исключительно в интересах господствующих классов (пруССко-юнкерский путь развития). Проникавшее в социальные отношения буржуазное содержание не сглаживало в последнем случае противоречия между капиталистической эволюцией страны и отсталыми способами производства в сельском хозяйстве, а наоборот, обостряло их, добавляя к варварству крепостничества все недостатки новейшего капитализма. Маркс мог бы сказать о России то же самое, что он в свое время говорил о Германии: «Она разделяла страдания этого развития, не разделяя его радостей, его частичного удовлетворения».³⁰⁹

Начиная с середины XIX в. общественно-экономический организм России обрел контуры уникального «кентавра» (М. Гефтер): примитивный земледельческий фундамент и надстраиваемая «сверху», а затем и проникающая в него буржуазная «надстройка», в виде субсидируемой государством крупной капиталистической промышленности.

Что же представляла из себя историческая сцена 70-80-х гг. XIX века?

Прежде всего, развитие особого типа капитализма, который стимулировал промышленный прогресс в России, строительство средств сообщения и вводил новые формы отношений в ряде регионов, что способствовало рождению элементов гражданского общества, расцвету «высокой» культуры. И одновременно этот же капитализм воспроизводил крепостнические пережитки в российской деревне: господство патриархальности, прикованность крестьянства к наделу, преобладание пауперизации над пролетаризацией, обострял противоречия между городом и деревней.

С одной стороны, капиталистическое развитие способствовало рождению пролетариата – нового поколения смелых людей, принадлежащих не к высшему классу, как, например, декабристы, а к трудящимся, низам российского общества. С другой – рабочему классу и всему «культурному обществу» промышленных центров противостояла забитая нуждой, неподвижная в политическом отношении темная крестьянская масса.

³⁰⁸ Там же. Т. 34. С. 292–293.

³⁰⁹ Там же. Т. 1. С. 424.

В этих условиях все направления русской политической мысли – либерализм, народничество, марксизм не могли иметь непосредственного социально-политического значения. Они были скорее производными от европейских политических доктрин того времени, чем идеологией реальных общественных сил. Конечно, Маркс предрекал революцию в России, «невиданный террор» крестьян, превосходящий по своей жестокости якобинский 1793-й год. Но свое предвидение он связывал скорее с гигантским протуберанцем, выбросом разрушительных сил, чем с типом развития особого рода российского капитализма. Что же касается России, то здесь шла борьба между двумя утопиями – утопической верой либералов в самодержавие, якобы способное дать российскому обществу политические свободы, и иллюзорно-ложными доктринами народничества, скрывавшими, как выяснилось позже, демократическое, прогрессивно-радикальное ядро. Во всяком случае, ответа на вопрос, как пойдет дальше социально-экономическое развитие России ни у либералов, ни у народников не было. Что касается сферы культуры, то модернизация страны, предпринятая «сверху», углубила духовно-культурный раскол российского общества.

Сам характер «догоняющей» модернизации поляризовал отношения современных секторов общества, промышленных и культурных центров, с традиционными. Города, как уже отмечалось, переживали после 1861 г. буквально революцию, деревня же оставалась полукрепостнической. В ней господствовали нищета, забитость, несправие и унижение. В этом смысле преобразования, связанные с реформой 1861 г., не решили задачу культурной интеграции российского общества. Это и понятно. Как мог забитый темный крестьянин, юридически бесправный, гнувший спину перед «барином» и всяким «начальством», как мог он найти общий язык, общее понимание проблем с либеральным профессором, радикально настроенным студентом, помещиком, желавшим научить его рационально хозяйствовать, когда ценности этих людей несли в себе «гены» чуждой простолюдине западной цивилизации? В состоянии ли была либеральная идея европеизации России вместить в себя вековую мечту крестьянина о земле и воле – мечту, во имя которой он способен был преодолеть любые препят-

ствия, даже если среди них была вся «господская» цивилизация?

Культурный раскол страны в результате модернизации «сверху» обусловил драматическое развитие российской политической истории. Сначала народнически-демократический, затем пролетарский и либеральный импульсы вместо того, чтобы дополнять друг друга, как это произошло в США и Западной Европе, вошли в ожесточенное столкновение. Невозможность объединения или хотя бы взаимопонимания этих враждебных друг другу тенденций деформировала в России и демократическую, и либеральную идеологию: российские демократы, народники и большевики, не уставали доказывать «буржуазность» либеральных свобод, а либералы из «образованного общества» сторонились демократизма, усматривая в нем опасность свободе и правам личности. В результате демократизм все больше принимал плебейски разрушительный характер, а либерализм вынужден был сближаться с охранительной политической властью, поддерживая ее «рациональные» действия.

Раздвоение единого ценностного и политического пространства действительно сказалось и на демократах, и на либералах. Социал-демократы вынуждены были идеализировать плебейски-пролетарскую массу, приписывая ей, согласно западноевропейским социалистическим канонам, все мыслимые социальные добродетели (коллективистский дух, революционную самодеятельность, освободительную миссию и т.д.). И все это в стране, где большинство составляли традиционалистски настроенные крестьянские массы, едва затронутые буржуазной цивилизацией, где рабочий класс европейского типа в общей массе городского плебса был исчезающее малой величиной. В свою очередь, консервативное осуждение масс, боязнь «черни» (т.е. фактически народа) обрекали русских либералов, включая и либералов новой формации начала XX в. на политическую изоляцию, а их идеологию – на утрату освободительного аспекта. В результате доктрина, служившая на Западе ярким символом свободы и прогресса, долгое время несла на себе клеймо охранительной, консервативной идеологии. Конечно, можно восхищаться интеллектуальным мужеством людей, которые не желали раболепствовать перед темной неразвитой массой, но в политике

нежелание, неспособность *понять* свой народ, каким бы он ни был, грозит крахом. Именно для обеспечения реальной свободы большинству населения России, а не только образованному, рационально мыслящему меньшинству, российские либералы должны были требовать конца сословным привилегиям и мер по экономическому раскрепощению крестьянства (а позже и рабочего класса). Только при этом условии они могли бы укрепить традиции европейского либерализма на российской почве, оказаться в силу внутренних устремлений и воодушевляющих их принципов на высоте исторической задачи.

В конечном счете проблема, поставленная пореформенным развитием России, заключалась в возможности или невозможности *«перевода общественного развития страны, где уже явно обозначилась, но еще не восторжествовала тенденция капиталистического развития на другие рельсы»*.³¹⁰ Разумеется, речь шла о замене одного данного способа вытеснения крепостнических пережитков капитализмом другим, конкретно о переделке общественно-экономических отношений, сложившихся в результате «великой реформы» 1861 г. Каким образом будет совершена эта замена – экономическим, предполагающим деятельность

самодержавия и господство помещиков, или революционным, связанным с вовлечением в политическую борьбу «низов» – этого в XIX веке никто не мог сказать. Впрочем, характер исторического развития в нашей стране не изменился и в XX в., несмотря на Русскую революцию и победу в ней большевиков. «Революция снизу» сменилась «революцией сверху». Новые формы отношений так же навязывались (да еще насильственно) народу СССР, поскольку, как и раньше, не были подготовлены внутренним развитием страны. Но теперь несоответствие крупной промышленности полутрадиционной социальной почве преодолевалось по-другому – уничтожением способа хозяйствования крестьянского населения. Политика «ликвидации кулачества как класса», насильственная коллективизация деревни вопреки сопротивлению крестьян закономерно привела к массовому террору, развязанному властью в 30-х г. XX в. Таким образом, революция, которая сделала российского крестьянина владельцем помещичьей земли, а большевиков привела к власти, превратила его же в бесправного наемника, хозяйствующего не на своей, а на государственной земле и полностью зависимого от партийного и советского чиновника.

³¹⁰ Гефтер М.Я. Страница из истории марксизма XX века // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М. 1971. С. 32.

Глава II. Революционная символика как структурообразующая основа формирования новой политической реальности (на материалах Северного Кавказа периода Февральской революции)

А. А. Вартумян, Т. А. Корниенко

В историческом дискурсе модерн – своеобразное обозначение определенной эпохи с характерными особенностями социально-экономического, политического развития, культуры, искусства, философии, мировоззрения. Основанием социального устройства модерна выступает принцип проективности, который находит свое смысловое выражение в революции. Революция способствует утверждению нового, а новое – приоритетная ценность модерна.

Справедливым является замечание, согласно которому «революцию вполне можно назвать символом новейшей истории, ключевым ее понятием».³¹¹ В ней находят воплощение базовые ценности и структурные ориентации современности как времени модерна. Согласимся с характеристикой А.Г. Дугина, что революция – это феномен антропологический, поскольку она выступает частью человеческой идентичности, а эпоха модерна есть ни что иное как результат революции.³¹²

Хронологические рамки модерна как исторического периода достаточно размыты. Темпоральные характеристики модерна чаще всего рассматривают в двух смыслах. Первый: те, которые охватывают примерно два столетия и именуется эпохой разума. Она начинается в конце XVIII века вместе с Великой французской революцией и означает практическую реализацию капиталистического, индустриального общества. Во втором смысле начало модерна отодвигается еще на одно столетие назад, до середины XVII века, когда начиналась разработка проекта будущего общества. Модерн в этом случае охватывает Новое и Новейшее время.³¹³

Великие революции, по мнению Ш. Эйзенштадта, повлияли на сознание современных обществ, сформировали особую

символику и эстетику; революционный опыт Европы воспринимается как модель для других стран. В ходе революций имело место сочетание движений протеста и движений институционализации политического процесса.³¹⁴ Институциональные связи находили отражение в революционной символике, которая была призвана заменить тип легитимации. Мы полагаем, что к числу революций эпохи модерна можно отнести и Февральскую революцию – события февраля-октября 2017 г. в Российской империи, итогом которых стало падение монархии, провозглашение республики и переход власти к Временному правительству. Революция означала качественно новый этап в развитии российской государственности, выразившийся в новой политической реальности, смысловом содержании эпохи. Одним из результатов Февральской революции выступило установление границ нового политического сообщества, введение новой символики, формирующей национальную и политическую идентичность.

Символ представляет собой концентрированное зримое выражение основной идеи, смысла явления или понятия, основанное на его структурном или ассоциативном сходстве с последними.³¹⁵ Политический символ – элемент политической культуры в форме знака, который выполняет функцию коммуникации между субъектами политических отношений.

Символы являются неотъемлемой частью формирования, фиксации и воспроизводства идентичности любой политической общности, они служат своеобразными ключами для интерпретации различных политических культур. Безусловно, символы облегчают восприятие гражданами политической реальности, но немаловажен тот факт, что в большинстве своем они создаются с целью формирования в массовом политическом

³¹¹ Одесский М., Фельдман Д. Революция как идеология (к истории формирования) // Общественные науки и современность. 1994. № 2. С. 23.

³¹² Дугин А.Г. Возможность революции в условиях Постмодерна (пост-политики). Режим доступа: <http://konservatizm.org/konservatizm/theory/040211150308.xhtml>

³¹³ Фролов И. Введение в философию. Режим доступа: <http://eurasieland.ru/txt/frolov1/188.htm>

³¹⁴ Эйзенштадт Ш. Конструктивные элементы великих революций: Культура, социальная структура, история и человеческая деятельность // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 190-212.

³¹⁵ Гаджиев К.С. Политическая наука. М. 1995. С. 360.

сознании необходимых устойчивых ассоциаций и отношений.³¹⁶

В своем исследовании, посвященном анализу политической символики Февральской революции, И.Б. Колоницкий выделяет периоды, когда борьба вокруг символов приобретает особенно острый характер.

1) В марте-апреле особое значение имела борьба за утверждение новых символов и ритуалов (красный флаг, красные банты, «Марсельеза» и др.) и за отрицание символов и ритуалов «старого режима» (национальный флаг, гимн, «помянутое» во время церковных служб, погони, названия кораблей, отдание чести и др.). Исход этих конфликтов вел к усилению власти Советов и войсковых комитетов, хотя они и не всегда сами были инициаторами данных политических баталий, а шли за массовым стихийным движением. В конце концов, и правительство шло навстречу этим движениям, фактически (а иногда и юридически) отрицая статус «старых» символов и придавая официальный статус символам революционным.

2) После июля правительство пытается стабилизировать и упорядочить систему государственных символов, отдавая, например, приказы о повсеместном восстановлении официального военно-морского флага, что с точки зрения носителей революционной политической культуры, придерживавшихся разных политических взглядов, выглядело как «реставрация».

3) К осени 1917 г. мода на политику сменяется апатией и разочарованием. В этот период обостряются конфликты вокруг символов, особенно остро они протекают в вооруженных силах.³¹⁷

Царская Россия исчезла навсегда в 1917 г. Интересны свидетельства очевидцев и современников происходивших катаклизмов о том, как резко революция изменила не только повседневный быт, но и казавшиеся незыблемыми понятия, в том числе и политические. Новые власти спешно создавали свою революционную символику и выкорчевывали символы старого режима.

Падение царизма и победа революции воспринимались массовым сознанием как

события, имеющие не столько политический, сколько нравственный смысл. В этой связи изменился для обывателя смысл Пасхи – светлого весеннего праздника, который издавна служил символом надежды, а теперь стал символом «воскрешения великого народа». «Это великая Пасха освобождения, которую мы под гул колоколов впервые встречаем не жалкими рабами, а свободными гражданами», – восторженно писала газета «Северокавказское слово». Таким образом, в символической логике, по замечанию И.И. Глебовой, революция превращается в акт Божьей воли:³¹⁸ «Воистину воскресли мы! Для жизни ровной, яркой, / Не будет больше рабства, тьмы, насилия цепи тяжелой. / Одежды светлые свобод на нас ложатся смело, / Весь просыпается народ, берется он за дело. / Воскресли мы! Смелей вперед! / Царит дух обновления. / Пусть каждый помнит, что кует / Свободу! Прочь сомненья!»³¹⁹

Пасхальная неделя в 1917 году пришлась на первую неделю апреля и для обывателя она символизировала и акт высшей воли, и политическое событие, творцом которого был человек: «Сегодня Пасха необычна, / Не оскверненная в крови. / И льется, льется непривычная / Волна свободы и любви».³²⁰

Религиозная традиция оказала влияние на символику революции: многие флаги повторяли форму хоругвей, на красных знаменах подчас изображались архангелы с трубами, возвещавшие, по-видимому, приход для угнетателей страшного суда – революции. Массовое сознание было политическим лишь по форме, по сути же политика становилась идеологическим суррогатом религии.³²¹

Казалось, что личные проблемы каждого отходят на второй план, а первостепенной задачей становится решение общегосударственных проблем. «Новый строй требует нового строя души».³²² Декларированное превращение обывателей в истинных граждан, хозяев жизни, воспринималось

³¹⁶ Вартумян А.А., Корниенко Т.А. Политическая культура юга России периода Первой мировой войны. М.: ЦИУМинЛ, 2009. С. 106.

³¹⁷ Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 327, 339-441.

³¹⁸ Глебова И.И. Политическая культура России. Образы прошлого и современность. М: Наука, 2006. С. 110.

³¹⁹ Северокавказское слово. 1917. 2 апреля. С. 2.

³²⁰ Там же. 1917. 12 апреля. С. 2.

³²¹ Колоницкий И.Б. «Демократия» как идентификация: К изучению политического сознания Февральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М. 1997. С. 118.

³²² Отклики Кавказа. 1917. 14 марта. С. 3.

массовым сознанием как почетное, важное для осознания общественной значимости завоевание. Центральным символом февральских событий явилась свобода. Она имела множество проявлений в сознании и поведении людей. Для обывателя, как вспоминал писатель М.А. Осоргин, это слово имело множество смыслов: и возможность «вольно идти в строю», и «приварок к щам», и братания на улицах, и превращение вдруг офицеров в «отцов», а жизни – в «политическую сказку».³²³ Свобода как один из политических символов Февральских событий означала наступление новой жизни. Как отмечал в своих воспоминаниях В. Бистрюков, житель станицы Невинномысской, «...после того, как мы узнали об отречении императора, казалось, что дышать стало легче, будто воздух стал каким-то другим, другим стало небо, и люди вокруг стали другими... Свобода! Какой-то неописуемый восторг! Свобода! Свобода от царского произвола, от угнетателей, от царских са-трапов, от жандармского засилья, от ненавистной войны! Все как один мы ходим будто во хмелю и не можем надышаться этим пьянящим воздухом свободы. Теперь мы заживем по-другому!»³²⁴

Наступившая свобода порождала не только радость, но и сомнения. Крушение монархии и последовавшие за этим значительные внутривластные события вызвали неоднозначную оценку у армейского казачества. В наибольшей степени революционная стихия затронула именно казаков-фронтовиков. И первой реакцией казачьей армейской массы на революцию стал своеобразный социально-психологический шок, после которого наступили растерянность и неуверенность в сознании и поведении казаков. Такая их реакция была обусловлена как масштабностью, значимостью, радикальностью происшедших революционных событий и вызванных ими кардинальных изменений во внутренней политической жизни страны, так и вполне определенным непониманием казаками их политической сущности и характера вызванных ими социально-политических процессов в обществе.³²⁵

Позицию казачества охарактеризовал ставший первым после революции войсковым атаманом Кубанского казачьего войска генерал-лейтенант А.П. Филимонов: «Февральский переворот застал казачье население врасплох. Сущность и значение политических событий усваивались с трудом и вселяли в умы наиболее домовитых казаков большие тревоги».³²⁶ Настороженность казачества по отношению к новой власти объяснялась боязнью, что будут изменены их права на войсковые земли. По словам генерала П.Н. Краснова, командовавшего в то время 1-й Кубанской казачьей дивизией, казаков «больше всего интересовали вопросы «данного политического момента» и, «конечно, земля, земля, земля...»³²⁷

Однако через некоторое время замешательство сменилось интересом. В периодической печати, на митингах и демонстрациях утверждалась единая, до примитивности простая схема взаимоотношений прошлого и «настоящего-будущего». «Старый мир» – это «мир насилия и вечного страха, насилия и вечного горя», «бездушного гнета», «слез и тяжкого труда». Его атрибутами выступали «тюрьма и неволя», «оковы», «позора тьма», «рабские пути», «ярмо» и пытки», «голодуха и нищета». Царскому режиму противопоставлялся новый мир, как «царство свободы», «царство Правды»: «Дней без слез и страданий / Без господ и без рабов, / Дней, когда взамен терзаний / Будет братская любовь».³²⁸

Поскольку в большинстве населенных пунктов России революция победила мирно, то символическим знаменем восстания стал революционный праздник. На смену стихийным демонстрациям первых дней пришли торжества и празднования, организованные уже местными властями. Во многих провинциальных городах, селах и станицах проходили «праздники души» и «дни свободы». В некоторых городах в манифестациях участвовало почти все население. Характер праздников в разных местах отличался, это отражало и реальную расстановку сил на местах, и особенности символического сознания их организаторов и участников. Как правило, «праздники

³²³ Цит. по: Архипов И.Л. Общественная психология петроградских обывателей в 1917 году // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 49-58.

³²⁴ Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 66. Д. 9.

³²⁵ Трут В. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций. Режим доступа: http://www.plam.ru/hist/dorogoi_slavy_i_utrat_kazachi_voiska_

v_period_voin_i_revolyucii/index.php

³²⁶ Филимонов А.Н. Мемуары. Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/filimonov_ap/02.html

³²⁷ Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. Режим доступа: http://az.lib.ru/k/krasnow_p_n/text_0130.shtml

³²⁸ Терские Ведомости. 1917. 19 апреля. С. 2.

свободы» происходили при участии духовенства.³²⁹

В Екатеринодаре праздник Свободы состоялся 10 марта 1917 года, он представлял своеобразный синтез традиционных и революционных начал: «С раннего утра главные улицы заполнились толпами празднично одетых людей. Всюду прекратились работы, остановилось движение трамвая. Город украсился красными флагами, в большинстве случаев переделанными из старых, от которых синие и белые полосы были оторваны. Яркое весеннее солнце дополняло праздничную картину... На Соборной площади после короткого молебствия о здравии нового правительства, армии и всего населения России в присутствии членов гражданского комитета, Совета рабочих депутатов и представителей города состоялся парад войск местного гарнизона. В манифестации в этот день приняли участие до 100 тысяч человек». Порядок, как отмечают газеты, был образцовый.³³⁰

18 апреля кубанскими социал-демократами и эсерами было организовано празднование Дня международной солидарности трудящихся. Состоялась демонстрация, в которой приняло участие свыше 200 организаций и более 2 тысяч человек. «Обыкновенные здания, торговые и частные дома были расцвечены красными флагами. Улицы запружены народом, – писали газеты. – С 9 часов утра к местам сборов потянулись организации рабочих, партий, делегации общественных учреждений, профсоюзов, учащихся и многие другие – все со знаменами и плакатами... Шествие началось около 11 часов утра с двух сторон: от памятника Екатерине II и от площади в начале улицы Ростовской в направлении Соборной площади...» У войскового собора состоялся парад войск, который принимали представители городского Совета депутатов; вслед за войсками прошли с красными знаменами учащиеся и рабочие. Пройдя по главным улицам, манифестанты вышли на городской выгон, и там состоялся митинг, на котором выступили представители партий социал-демократов и эсеров. В этот день в городе были и другие митинги. По воспоминаниям П. И. Вишняковой, было устроено несколько трибун: объединенная

трибуна эсеров и меньшевиков на площади около войскового собора; трибуна большевиков на Рашпилевской улице; пять или шесть трибун около Екатеринодарского комитета РСДРП (б), «где выступали ораторы всех партий», после чего «пришли в городской сад, и здесь опять был устроен ряд митингов, которые затянулись далеко за полночь...»³³¹

В период революционных потрясений разворачивается борьба со старой государственной символикой, которая символизирует ненавистный «старый строй», «царизм» и воплощается в самой власти. После Февральской революции уничтожались официальные символы монархии – имперские гербы, вензеля, изображения царских регалий, поскольку знаки императорской власти воспринимались как обобщенный образ царской России. Даже с государственных символов исчезает монархическое наполнение: двуглавый орел был лишен короны, скипетра, ордена Андрея Первозванного.

Всевозможными способами умалялись институты сверженной монархии и ее управленческий аппарат. Царские чиновники были представлены в образах гонителей свободы и демократии, представители генералитета и офицерство – беспробудными пьяницами, а император – деспотом, попираателем свободы: «Ведь трудно представить себе злейшего врага России, как Николай II. Этот *enfant terrible* деспотического монархизма не только не воспитал в себе элементарной любви к родине. Но не хотел ее знать, издевался над страной, вешал ее лучших сынов и пытал и предавал ее в руки своего кузена Вильгельма».³³²

Под влиянием новой социально-экономической ситуации в стране весной – летом 1917 гг. в периодической печати появляется множество анекдотов, памфлетов, карикатур, которые критиковали и высмеивали не столько противника как «врага внешнего», сколько социально-политические силы внутри страны как «враги внутренние»: «Точно спрут – старая монархическая власть своими щупальцами всосалась в сердце народа и мучила его. Но мы

³²⁹ Колоницкий И.Б. «Демократия» как идентификация... С. 39.

³³⁰ История Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. 2-е изд., испр. и доп. Краснодар: Традиция, 2010.

³³¹ Екатеринодар – Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях... Материалы к Летописи. Краснодар: Кн. изд-во, 1993.

³³² Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 66. Д. 6, 12, 15, 64.

победим как свободные граждане... Он, старый строй – это наш первый враг. Второй – Вильгельм и его вооруженный народ. Другой – у нас не только на границах, но и в пределах наших многих губерний. Третий враг, враг пока идейный, но очень серьезный – большевики... Кто знает, что наделает этот большевик своим приказом «долой войну!»»³³³

Ю.Д. Коробков отмечает, что господство в российском общественном сознании инверсионной логики, выразившееся после Февраля 1917 г. в стремлении к тотальному разрыву с прошлым, сопровождалось колоссальным выплеском ненависти по отношению к символам старого строя.³³⁴ Персонафикация абсолютного зла в образах российских монархов и династии в целом отразилась в народной смеховой культуре и бульварной литературе, найдя отражение в частушках и «мужичьих выморочках» о царе и его жене – «Гессенской мухе», «Распутном Григории», «фрейлине Вырубихе», «предателе Сухомлинове». На страницах периодических изданий можно было достаточно часто встретить анекдоты и байки из «прошлой жизни» царского двора, раскрывающие продажность и глупость российского монарха, национального предательства и немецкого засилья, которые зачастую не имели под собой реальной основы.

Так, императору стали приписывать беспробудное пьянство. «Как у нас царица с Невского девица. Народ, Россию продавала своим, а с Гришенькой советовалась. А безвольный Николай ездил на фронт. – Поднимать дух армии. И поднимал. Бутылка за бутылкой споражнивалась. Насвистывал песенки веселый Николай, бормотал Федерикс и зычным голосом зывал к царю Войенков – Едем к Вильгельму! Пьяный царь уснул и проспал подходящий момент. Россия спасена!» – такую информацию публиковали в местных газетах.³³⁵

После Февральской революции активно муссируется тема взаимоотношения царской семьи с Григорием Распутиным. Распространялись слухи, поддерживаемые и периодической печатью, что «старец» находился в интимных отношениях не

только с императрицей, но и с ее дочерьми: «Во время обыска в загородном доме Бадмаева... были найдены письма царицы и царских дочерей к Распутину... Содержание их настолько цинично, что опубликование не представляется возможным. Распутин оказывается, не щадил и царских дочерей. Александра Федоровна заканчивала одно из своих нежных посланий к Распутину такими словами: «Целую твои ноги. Сана».³³⁶

В «Откликах Кавказа» был опубликован отрывок из произведения «Последний император», анонимный автор которого, как он сам утверждал, был человек из окружения царской семьи. Он подчеркивал, что якобы Александра Федоровна страдала от неизлечимого психического заболевания и имела, ко всему прочему нетрадиционную сексуальную ориентацию: «К обычной форме маниакального помешательства примешалась странная, но непреодолимая любовь к одной из придворных дам, к Вырубовой. Разлуки с нею приводили жену Николая II в такое возбуждение, что однажды пришлось посылать за возлюбленной императрицы меченосец, и тогда царица успокоилась». Более того, чтобы придать несостоятельность проектам восстановления в России монархии, автор поддерживал слухи об ограниченной умственной способности царских детей: «все молодое поколение заражено повышенной психической возбудимостью, обо вся обстановка дворцовой жизни слагалась так, что дурно влияла на детскую мозговую систему».³³⁷

Но, несмотря на радикализм в восприятии царской власти, проявлявшийся в отрицании дореволюционной символики, не следует рассматривать его в качестве доказательства полного перерождения политической познавательной карты.³³⁸ Тем более что в ряде мест империи памятники представителям царской династии были снесены только после Гражданской войны. Большая часть консервативно настроенного казачества и крестьянства продолжала хранить верность монархическим традициям. Если в городах и промышленных районах Северного Кавказа революция проходила под красным флагом, казачьи регионы,

³³³ Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 583. Оп. 1. Д. 43, 1001. Л. 5-5 об.

³³⁴ Коробков Ю.Д. Между двуглавым орлом и красный знаменем. Общественное сознание российского общества в 1917 г. Магнитогорск. 2000. С. 115.

³³⁵ Отклики Кавказа. 1917. 14 марта. С. 2.

³³⁶ Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны. Екатеринбург. 2000. С. 108.

³³⁷ Отклики Кавказа. 1917. 22 июля. С. 3.

³³⁸ Там же.

несмотря на процессы демократизации, сохранили преданность своей символике. Монархические символы не исчезли с регалий казачества – ни с нагрудных войсковых знаков, ни со знамен-регалий. «Наши регалии – это слава и доблесть казаков, а не монархов, но они были дарованы царями за храбрость и усердие казаков в великих битвах России. Мы не можем умалять свои заслуги перед Родиной и Кубанью».³³⁹ Такая позиция казачества впоследствии оформилась в своеобразный «третий путь», по которому разворачивались трагические события Гражданской войны.

Крушение монархии в 1917 г. не оставило определенных слоёв населения, в частности, крестьянство и казачество равнодушными к судьбе империи. И хотя «наивный монархизм» умер, как казалось безвозвратно и скоропостижно, это не означало коренных изменений в мировоззрении большинства населения страны.

Отречение царя в массовом сознании лишь формально означало конец самодержавия в России, так как сохранялся целый набор культурно устоявшихся элементов общественных отношений, которые в определенных социально-политических границах воссоздавали соответствующие формы власти и контроля.³⁴⁰ Парадоксальное на первый взгляд сочетание антимонархических настроений и монархистской ментальности не было чем-то необычным в этот период. По мнению Ю.В. Ирхина, российская политическая культура всегда носила авторитарно-патриархальный характер. Именно в качестве главы большой патриархальной семьи рассматривало население фигуру царя, называя его «батюшкой», как верховного владыку, а все надежды на свое благополучие связывало с добрым царем.³⁴¹

Традиционной чертой России являлось взаимообусловленное сосуществование автократии и демократии.³⁴² Эти противоположные начала политической жизни на протяжении большей части истории поддерживали друг друга. В те периоды истории России, когда демократия не уравнивалась автократией, обычно общество

впадало в глубокий социальный кризис. И наоборот – когда автократия не уравнивалась демократией, власть полностью выходила из-под контроля общества, превращаясь в деспотию. В конечном счете, крайности этих двух тенденций могли привести к полному разрушению несбалансированной формы государства.

Боязнь и нежелание реставрации монархии в обыденном сознании обусловили появление психологического комплекса «расплаты за старые грехи». За время своей деятельности Временное правительство не смогло решить сложную социально-экономическую ситуацию в стране, упорядочить жизнь и прекратить ненавистную войну. Кризисы государственной власти рассеивали иллюзию о способности и коалиционных составов правительства нормализовать ситуацию внутри страны. Рождался миф о врагах революции и в политическом сознании большинства населения страны еще задолго до октября 1917 г. начинается переориентация «образа внутреннего врага» с бывших царских чиновников на представителей буржуазии. Самыми распространенными словами-ярлыками, имевшими отрицательный оттенок под влиянием социалистической пропаганды, были: контрреволюционер, саботажник, враг трудового народа, буржуй, погромщик и производные от них.³⁴³

Тема «буржуй», в которую вкладывались негативные характеристики, часто стала встречаться в фольклоре, сатире, пародиях. В массовом сознании периода Февральской революции термин «буржуй» наделялся самыми многочисленными, иногда противоречивыми трактовками.³⁴⁴ И сами современники отмечали, что широкое употребление этого слова объясняется «его политическими удобствами», и смысловая нагрузка изменяется по обстоятельствам: «Буржуазия – это тот класс, который держит в своих руках средства производства продуктов и их распределение и благодаря этому эксплуатирует трудовые классы, рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Но у нас теперь в определении, что такое буржуй, наступила полная неразбериха. Выходит так: «Не тот буржуй, кто буржуй, и не

³³⁹ Сухова О.А. Указ. соч. С. 460.

³⁴⁰ Филлимонов А.Н. Указ. соч.

³⁴¹ Дьячков В. Л., Есиков С. А., Канищев В. В., Протасов Л. Г. Крестьяне и власть (опыт регионального изучения) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): Материалы международной конференции. М. 1996. С. 146–154.

³⁴² Ирхин А. Социология культуры. М. 2006. С. 91.

³⁴³ Тихонова В.А. Политическая культура российского общества: Социально-философский аспект. М. 2001. С. 56.

³⁴⁴ Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917 – 1922 гг. СПб. 1999. С. 167.

тот не буржуй, кто не буржуй, а тот буржуй, кто и не буржуй, да буржуй!»³⁴⁵

К эксплуататорам и паразитам мог быть причислен любой, чье поведение противоречило уравнилельным представлениям масс, независимо от его имущественного положения. Например, в подобном контексте и большевиков «непросвещенная масса» крестьянства причисляла к буржуазии. Слово «буржуй» использовалось в пропагандистском лексиконе и правительственных и оппозиционных сил.

По мере усиления антивоенных настроений солдатской массы буржуазия обвинялась ответственной в развязывании и продолжении кровопролитной войны. Как писали в июне 1917 г. солдаты 7 Кавказского отдельного корпуса: «Кто виновник войны? Капиталисты! Кто желает пролития крови? Капиталисты! Из-за чего народ страдает и проливает кровь? Из-за кучки разжиревших буржуев-капиталистов. Вот почему наша обязанность – борьба с капиталистами». В анонимном письме в Петросовет, датированном 7 ноября 1917 г., тяжелое положение солдат на фронте связывалось с деятельностью сторонников монархии и буржуев: «Почему же, братья товарищи, более виноваты, которые сидят в окопах 4-ый год, а эти черти разоряют Россию, наводят беспорядки? Доктора и писаря – это буржуи и взяточники старого режима. Загубят они нашу свободу и предадут ее опять в руки Николая II. Товарищи Граждане, умоляю вас взять во внимание, навести порядок с этими проклятыми буржуями, иначе пропадать. Товарищи, это справедливая правда, а я подписи своей не дам, опасаясь этих негодяев...»³⁴⁶

По мнению С.В. Ярова, «антибуржуазные настроения» стали одним из типичных проявлений эгалитаризма. «Буржуй» в 1917 г. являлся не столько социальным типом, сколько общественно признанным символом всего негативного.³⁴⁷ Появление подобного клише в системе мыслительных стереотипов коллективного сознания указывало на наличие определенной особенности восприятия политической действительности. Содержание «антибуржуйского

настроения» вмещало в себя образы враждебных или незнакомых сил, осуществляя перенос значения на несовместимые по смысловым характеристикам понятия».³⁴⁸

На углубление антибуржуазной ориентации массового сознания влияли и различные изложения партийных программ, в первую очередь те, которые выпускали партийные комитеты и организации. Распространение антибуржуазных настроений, в формировании которых принимали участие различные социальные силы, происходило на фоне развертывания в стране социальных противоречий.³⁴⁹ Брошюра социал-революционеров, разъясняя цель и задачи партийной организации, отмечала: «Люди, пользовавшиеся равными правами на все – разделились на классы: класс собственников и класс тружеников, лишенных, или почти лишенных собственности, вынужденных кормить кучку изнеженных трутней. Благодаря такому порядку вещей получалось то, что люди, всю жизнь работающие не покладая рук, живут в грязных лачугах, в нужде, терпят голод и холод, а трутни, капиталисты, собственники, не ударив пальцем о палец, пользуются всеми благами жизни».³⁵⁰

Революционные события привели к формированию новой системы политических символов, большая часть из которых «вышла из подполья» ещё в 1905-1907 гг. и была если не легализована, то легитимирована. Временное правительство вынуждено было согласиться с массовизацией революционных символов социал-демократических партий, не найдя им достойной замены.

Включение термина «демократия» в собственный политический лексикон стало обязательным практически для всех политических сил. При этом в социалистических кругах «демократия» противопоставлялась не «диктатуре», а «цензовым элементам», «буржуазии». Различные политические силы вкладывали в слово «демократия» различные смысловые нагрузки, подразумевая под ней не власть народа, а определенной социальной группы.

³⁴⁵ Коробков Ю.Д. Указ. соч. С. 121.

³⁴⁶ Письма во власть 1917 – 1927 гг. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям: сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М. 1998. С. 485.

³⁴⁷ Яров С.В. Указ. соч. С. 13.

³⁴⁸ Там же. С. 190.

³⁴⁹ Абросимова Т.А. Социалистическая идея в массовом сознании в 1917 г. // Анатомия российской революции 1917 г. в России: массы, партии, власть / Под ред. В.Ю. Черняева, Гапили, Хаймсона, Б.И. Колоницкого. СПб. 1994. С. 213.

³⁵⁰ За что борются социалисты – революционеры. Петроград. 1917.

Марсельеза стала национальным гимном. Ее новый вариант «Рабочая марсельеза» исполнялся даже на официальных мероприятиях Временного правительства. В марте 1917 года была зафиксирована эмблема «серп и молот». А во время праздника 1 мая эта эмблема украсила Мариинский дворец, резиденцию Временного правительства.³⁵¹

Основным проявлением массовой политизации в послефевральской России явилась митинговая демократия.³⁵² Митинговали все и по самым различным вопросам. В местной прессе читаем, что во многих городах, селениях и станицах Кубани, Ставрополя, Дона проводились митинги «по насущным политическим вопросам». Большинство населения региона, включая казачество, приняло новый порядок, установившийся после свержения самодержавия. Митинги, собрания, демонстрации под антивоенными и демократическими лозунгами охватили Кубань и Черноморье.

А. С. Ахиезер интерпретирует «митингование» как состояние особого эмоционального возбуждения в рамках господствующего соборного нравственного идеала, в результате чего вырабатывается «вечевой диалог», не знающий прав меньшинства. В бытовых беседах появилась масса слов, заимствованных из резолюций. Так, удивление собеседника могло выражаться восклицанием: «Однако платформа!». Среди малокультурных слоев политические понятия усваивались на языковом уровне без осознания их собственного смысла.³⁵³

Безусловно, революция имела разный уровень районирования. После Февральской революции 1917 г. на Северном Кавказе сложилась политическая ситуация, отличная от общероссийской. В казачьих

областях она протекала мирно и достаточно спокойно по сравнению с другими районами страны. Причем воздействие революционных событий на казачьи станицы и хутора не было значительным. Во многих из них ни жители, ни даже властные структуры не испытывали какого-либо существенного влияния происшедшей революции. Однако, как и повсеместно, революционная символика укореняется в массовое сознание, способствуя демократизации казачества и крестьянства.

Исследователи справедливо называют 1917 г. для России годом упущенных возможностей. Все слои российского общества мечтали о новых демократических формах государства и связанных с ними свободах, справедливости, мире. В период Февральской революции активизировался процесс мифологизации общественного сознания, поскольку тотальный правовой нигилизм основных слоев общества, распустившийся на неустроенности жизни и подогретый большевистской агитацией, трансформировался в их сознании в полное отрицание самой аксиологической сущности завоеванных прав и свобод. Политическая символика периода Февральской революции выражала новое содержание эпохи, что нашло отражение в использовании новой цветовой, музыкальной гаммы, языковых символах, геральдической конструкции (исчезновение монархической и аристократической символики). Политические символы Февраля 1917 года были полифункциональны по своему содержанию, но в последующем были использованы большевиками в качестве структурообразующей основы формирования новой политической реальности, в которой не было места другим политическим силам.

³⁵¹ Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть... С. 46.

³⁵² Коробков Ю.Д. Указ. соч. С. 18.

³⁵³ Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

Глава III. Революция 1991 года: к обоснованию понятия

Д. Э. Летняков

*В монополистической структуре
искра надежды на перемены
поджигает пороховую бочку
революции.
(Р. Дарендорф «После 1989»)*

Уместно ли писать статью о крушении советской системы для сборника, целиком посвященного феномену революции? Думаю, что вполне, потому что на рубеже 1980-1990-х гг. в нашей стране действительно произошла революция, хотя ни среди профессионалов-гуманитариев, ни на уровне общественного мнения представление о революционном характере тех событий до сих пор не закрепилось. Конечно, периодически появляются книги и статьи о 1991 г., в названии которых так или иначе фигурирует слово «революция», однако они остаются скорее исключением, нежели правилом.³⁵⁴ Трудно однозначно сказать, в чем тут дело. Иногда приходится слышать мнение, что прошло еще слишком мало времени для того, чтобы российское общество сумело адекватно оценить совершившиеся перемены – дескать, и Октябрьская революция в первые годы советской власти нередко именовалась «переворотом». Однако после распада СССР прошло уже более двадцати лет – срок, в общем-то, немалый, за это время выросло новое поколение наших сограждан, тем не менее, пока не видно, чтобы в сознании россиян произошли какие-то серьезные подвижки в оценке 1991 г.

Возможно, истинная причина такого отношения к рассматриваемым событиям состоит в том, что в ходе антиноменклатурной революции россияне не успели по-настоящему ощутить себя субъектом политики, народом-сувереном, поскольку многие события перестройки были в первую очередь результатом *внутриэлитных процессов*, а вскоре после августовского путча и распада СССР массовая политическая активность и вовсе сошла на нет. Кроме того, 1991 г. в России, в отличие от ряда других постсоветских стран, не овеян мифологией

«освобождения от тоталитаризма» и «возвращения в Европу». Российское общество так до сих пор и не решило, в каком направлении ему вообще следует идти, и правильно ли мы поступили, разрушив Советский Союз. Мы знаем только, что в результате трансформации конца 1980-х – начала 1990-х гг. мы получили новые потребительские возможности, недоступные в плановой экономике – рискну предположить, что именно отсутствие хронического товарного дефицита и очередей ассоциируется в сознании значительной части россиян (особенно тех, кто помнит прежние времена) с демонтажем советской системы. Однако появившаяся возможность летнего отдыха в Турции, поездки в «Ашан» на купленной в кредит иномарке и прочие блага рынка являются, по-видимому, недостаточными для того, чтобы опознать события 1991 г. как революционные, открывающие собой принципиально новый этап в развитии общества. Ведь мы привыкли отождествлять понятие «революция» с чем-то героическим, возвышенным, вдохновляющим.

Но если это была не революция, то тогда что – контрреволюция, капиталистическая реставрация, переворот, просто череда радикальных реформ? Четкого ответа на этот вопрос у российского общества пока еще нет. Часто эту трудность обходят, предпочитая употреблять нейтральные определения вроде «распада СССР». Проблема, однако, заключается в том, что подобная формулировка не ухватывает сути произошедшего. Ведь сам по себе распад государства – это факт, принадлежащий скорее геополитике, он мало что говорит о *социально-политической логике* случившихся в этом государстве событий. В конце концов, странно было бы услышать от кого-то, что 1917 г. вошел в отечественную историю как год «распада Российской империи». Хотя отделение ряда территорий и тогда имело место, все-таки этот процесс отходит на задний план на фоне свержения самодержавия, провозглашения республики, а затем прихода к власти большевиков. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. дело

³⁵⁴ Из относительно свежих примеров такого рода сошлюсь на книгу: Авен П., Кох А. Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук. М.: Альбина Паблишер, 2013.

тоже не свелось к перекройке государственных границ: произошло крушение всего Восточного блока, смена политических режимов, начались радикальные экономические и социальные преобразования, которые, так или иначе, *нуждаются в понятийной маркировке*. Задача этой статьи показать, что наиболее адекватным обозначением тех событий все-таки был бы термин «революция».³⁵⁵

Начать хотелось бы с краткого обзора различных точек зрения на рассматриваемый вопрос. Множество имеющихся позиций можно сгруппировать следующим образом: (а) авторы, которые полагают, что ни о какой революции в СССР речи идти не может, (б) исследователи, признающие революционность произошедшего в 1991 г., но со значительными оговорками, *cum grano salis*, (в) те, кто считают, что крушение советской модели вполне может рассматриваться как «нормальная», полноценная революция.

Первая позиция представлена, например, *В.А. Куренным*. Для него перестройка – это «демонтаж Революции», это не начало нового периода в истории, а «оформление свершившейся контрреволюции», продолжение и закрепление тех тенденций, которые ранее уже существовали в советской системе: «данная трансформация [перестройка]... в значительной степени лишь воспроизвела... в гиперболизированном виде систему неравенства, возникшую уже в рамках самой социалистической системы, переводя, по сути, старое административное неравенство в неравенство экономическое, позволяющее зафиксировать его новыми – публично-правовыми – средствами».³⁵⁶ Иначе говоря, главное содержание событий перестройки состояло в том, что советская номенклатура смогла окончательно превратиться в класс

³⁵⁵ В данном случае я не хочу глубоко вдаваться в дискуссию о том, что такое революция. Эта сложная полемика сама по себе является предметом отдельного большого исследования. Замечу лишь, что для меня революция, в отличие от переворота или других видов социальных изменений, – это момент глубокого и всестороннего преобразования общества, которое осуществляется во многом стихийно, так что ни один политический актор не может его до конца контролировать, и которое неизменно открывает перед обществом «окно возможностей», актуализируя различные социальные альтернативы, не имевшие шансов для реализации в рамках прежнего статус-кво.

³⁵⁶ Куренной В. Перманентная буржуазная революция // Концепт «революция» в современном политическом дискурсе / Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб: Алетея, 2008. С. 222-223.

собственников, конвертировав свою власть, привилегии и доступ к административному ресурсу в обладание капиталом.

Надо сказать, что такая оценка перестройки вообще довольно популярна. Только ленивый не вспоминал в связи с этим пророчество Льва Троцкого о том, что переродившаяся, обуржуазившаяся и оторвавшаяся от общества советская бюрократия рано или поздно станет могильщиком всех завоеваний социалистической революции, поскольку захочет стать полноценным собственником государственных активов.³⁵⁷ Об этом же пишет и *В.Б. Пастухов*: главной целью перестройки было превращение «обуржуазившейся номенклатуры» в «номенклатурную буржуазию»,³⁵⁸ а потому это была не социальная революция, а всего лишь политический переворот, в рамках которого «власть и собственность... остались в руках того же класса (или мягче – той же элиты), который владел ими до переворота. Изменились лишь формы его политического господства».³⁵⁹ В этом смысле гораздо более революционным представляется Пастухову период брежневского застоя, когда номенклатурная элита впервые осознала, в чем заключается ее основной корпоративный интерес, и лишь ждала удобного момента для его реализации.

Аналогичным образом рассуждает *Б.Ю. Кагарлицкий*: «1989-1991 гг. были вовсе не переломным моментом, не началом нового этапа, а всего лишь кульминацией процессов, развивавшихся в течение предшествующего десятилетия»³⁶⁰ – имеется в виду все то же «обуржуазивание» номенклатурной элиты, кризис всей советской системы в результате отказа от своевременного проведения структурных реформ, а также постепенное возвращение стран советского блока на периферию капиталистической миросистемы. После революции 1917 г. СССР смог создать глобальную экономическую систему, альтернативную капитализму, однако в период застоя, по мере роста экспорта углеводородов на Запад и параллельного усиления

³⁵⁷ См. Троцкий Л.Д. Преданная революция. М.: НИИ Культуры, 1991.

³⁵⁸ Пастухов В.Б. Реставрация вместо реформации. Двадцать лет, которые потрясли Россию. М.: ОГИ, 2012. С. 81.

³⁵⁹ Пастухов В. Преданная революция // Новая газета. 04.01.2013. Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/politics/56123.html>.

³⁶⁰ Кагарлицкий Б.Ю. Управляемая демократия. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. С. 42-43.

зависимости советской экономики от импорта продовольственных и промышленных товаров, происходит втягивание Советского Союза в капиталистическую систему. Перестройка и распад СССР привели к окончательной реинтеграции нашей страны в глобальную экономику, причем Россия заняла там традиционное для нее место поставщика сырья и ресурсов.

А.А. Никифоров полагает, что крушение коммунистических режимов заставляет подумать о каком-то новом термине, более адекватно описывающем ситуацию, чем понятие «революция». Сам он оперирует словом «*refolution*»³⁶¹ (т.е. гибрид реформы и революции), который, впрочем, принадлежит не ему, а британцу Тимоти Гартон-Эшу. Л.Е. Бляхер также приходит к выводу, что в СССР имела место не революция, а просто «некий переход» режима из одного состояния в другой, ведь новая политическая система мало походит на советскую, с другой стороны, ее нельзя назвать и демократической. «Абсолютного события (амбивалентной смерти старого / рождения нового) не произошло... Российский “транзит” завершился ничем».³⁶²

Вторая точка зрения на события перестройки представлена И.К. Пантиным. При анализе 1991 г. он старается избегать термина «революция», предпочитая другие: «крах коммунистического режима», «августовский переворот», «демократический переворот», но при этом он все-таки оговаривается, что мы можем назвать крушение советского строя революцией, ведь произошедшее в 1991 г. означало окончательный разрыв российского общества со своим прошлым, причем «и самодержавным, и коммунистическим», а также радикальное изменение общественных отношений, «уклада жизни», «форм труда и быта» миллионов людей. Тем не менее, наша революция глубоко «вторична» по сравнению с классическими революциями Нового времени – последние формулировали новые социальные проекты, провозглашали великие идеи: политической свободы, социального равенства и т.д., тогда как антикоммунистическая революция в России «была призвана [всего лишь] реали-

зовать уже известные принципы и начала демократии, приспособить их к нашим условиям»,³⁶³ она не выдвинула ни одной новой идеи, продемонстрировав абсолютное интеллектуальное бесплодие. Кроме того, революцию 1991 г. отличало еще и то, что становлению нового строя не предшествовала острая борьба с силами «старого порядка» – последний «пал почти в одночасье, причем даже не из-за неразрешимых социально-экономических проблем или мощного натиска демократических сил. Он просто “просел” под тяжестью накопившихся противоречий, экономических, политических, социальных, разрушился, не справившись с вызовами современности».³⁶⁴

Отказывает в подлинной революционности событиям конца 1980-х – начала 1990-х гг. и М.В. Ремизов. Как и Пантин, он сопоставляет великие революции Модерна и антикоммунистические революции в странах Восточного блока, полагая, что в классической революции внешний фактор (инспирирование революции извне) хотя и мог присутствовать, но всегда был второстепенным. Превращение бунтующей толпы в народ-суверен осуществлялось с помощью насилия, оно завоевывалось *самим народом* в его борьбе со структурами «старого порядка». В «бархатных революциях» (это понятие Ремизов распространяет и на российские события 1991 г., и на «цветные» революции постсоветского пространства) статус народа-суверена, учреждающего новый политический порядок, *приходит извне*: «именно внешний центр власти – не столько по дипломатическим каналам, сколько по каналам мировых СМИ, – гарантирует статус митингующих в качестве авангарда народа, вышедшего на сцену истории, чтобы сменить режим».³⁶⁵ Другими словами, в «бархатных революциях» главным является не процесс «самоучреждения» народного суверенитета, а внешняя легитимация произошедшего со стороны Запада, который объявляет «освободительными революциями» те события, которые выгодны ему с геополитической точки зрения. Все это позволяет говорить об определенной декоративности, искусственности этих революций.

³⁶¹ Никифоров А. Революция как объект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины // Концепт «революция»... С. 131.

³⁶² Бляхер Л. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала // Концепт «революция»... С. 27.

³⁶³ Пантин И.К. Судьбы демократии в России. М.: ИФ РАН, 2004. С. 139.

³⁶⁴ Там же. С. 34-35.

³⁶⁵ Ремизов М. Неоколониальная революция: осмысление вызова. Режим доступа: http://www.apn.ru/userdata/files/szh_1/2.pdf

Б.Г. Капустин также готов говорить о революции 1991 г., лишь беря это слово в кавычки. Он, прежде всего, ставит под сомнение радикальность произошедших в нашей стране перемен, полагая, что в ходе перестройки советский правящий класс просто сбросил «балласт» в виде коммунистической идеологии, плановой экономики, 6-й статьи конституции и т.д. Тогда как «политэкономические конструкции “старого порядка”» в виде отчужденного труда, социально-экономического неравенства, несправедливого распределения общественного богатства и пр. по большому счету не изменились: «политэкономия угнетения в основном осталась прежней, разве что некоторые ее амортизаторы в виде советского социального государства оказались во многом отброшены (в интересах тех же господ)».³⁶⁶ Подлинная революция призвана освободить, в нашем же случае структуры господства и угнетения остались нетронутыми, произошло лишь некоторое изменение декораций; кроме того революция должна формулировать новые социальные альтернативы, но после 1991 г. неолиберальный порядок, напротив, стал восприниматься во всем мире как безальтернативный.

Что касается последней точки зрения на крушение советской системы, то среди тех, кто ее отстаивает, я назвал бы в первую очередь А.В. Магуна. Он рассматривает историю революций как «серию освободительных движений, не достигающих своей (бесконечной) цели, обрывающихся на полпути, которые следующая волна истории подхватывает и радикализует, чтобы в очередной раз споткнуться и откатиться назад со всей своей мощью».³⁶⁷ Антикоммунистическая революция в России, таким образом, — это часть череды европейских революций, которая началась в 1789 г. во Франции.

Магун полагает, что ключевой фазой любой революции является внутренний кризис общества, «взрыв, растворение и разложение социальных связей».³⁶⁸ Этот кризис

возникает сразу после свержения прежней власти, когда накопленная в обществе негативная энергия, консолидировавшая его в борьбе против сил «старого порядка», теперь обращается внутрь его самого. В результате общество начинает отрицать свое прошлое, свои прежние ценности, само себя, вследствие этого часто заходит в тупик, деполитизируется, а иногда и откатывается назад (происходит «частичная реставрация»). Все это, по мнению Магуна, полностью соответствует процессам, идущим в постсоветской России. Аргументы о недостаточной радикальности общественных перемен в ходе революции 1991 г. кажутся Магуну не слишком убедительными: «революцию нельзя определить ни как открытие новых политических систем, ни как переход к очередному историческому этапу, ни даже как позитивное основание нового государства: революция есть ни что иное, как радикальное усилие отрицания».³⁶⁹

Если не ограничивать обзор литературы жанром политической философии, то можно упомянуть еще и фундаментальную работу В.А. Мау и И.В. Стародубровской, в которой события перестройки анализируются с политэкономических позиций. Авторы полагают, что предпосылки революций обычно возникают во время «кризисов экономического роста», в случае, если институциональная структура общества оказывается слишком жесткой и не способной к адаптации, если в ней существуют «встроенные ограничители». Революционную ситуацию в СССР создал «кризис ранней постмодернизации, ознаменовавший начало перехода к постиндустриальному, информационному обществу», а «ограничителями» являлись чрезмерное огосударствление и зарегулированность экономики, авторитарная власть и т.д.³⁷⁰ По мнению исследователей, российские события имели типичные для всех революций закономерности и фазы развития, начиная от деинституционализации (резкого ослабления институтов государства в период, непосредственно предшествующий революции) и заканчивая термидором и постреволюционной стабилизацией (приход к власти Путина), которая характеризуется восстановлением сильного государства и консолидацией элит.

³⁶⁶ Борис Гурьевич Капустин о системе образования в России и США, «реформе» РАН и роли философии в жизни современного общества // Интервью в рамках проекта «Устная история». Режим доступа: <http://oralhistory.ru/projects/science/philosophy/kapustin>

³⁶⁷ Магун А.В. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 17.

³⁶⁸ Магун А. Понятие и опыт революции. Режим доступа: http://www.politstudies.ru/universum/esse/11mgn.htm#_ftnref4.

³⁶⁹ Магун А.В. Отрицательная революция... С. 58.

³⁷⁰ Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2004. С. 418.

Отмечу также точку зрения историка *А.В. Шубина*, убежденного в том, что «в 1988-1993 гг. в СССР и на постсоветском пространстве развернулись события, которые по основным признакам соответствуют революции».³⁷¹ Причем в этой революции можно выделить несколько тенденций или «потоков». Во-первых, это была революция, идущая «сверху», от самой советской элиты. Смысл ее сводился к «гуманитарно-технологическому обновлению» советской системы, к отходу от жестких «авторитарно-бюрократических» механизмов функционирования экономики в сторону большей децентрализации. По сути, это то, о чем пишут Мау и Стародубровская – необходимость ликвидации тех самых «ограничителей» внутри советской системы, мешающих ее нормальному развитию. Это была начальная фаза революции.

Однако затем революция была подхвачена частью советского общества, в первую очередь, интеллигенцией, и в ней начинает явственно проследиваться вторая, «демократическая» составляющая. Она заключалась в требовании демократизации политической системы СССР, в частности, в восстановлении многопартийности, в превращении советов из формальных структур в реальные институты власти и т.д. Демократический «поток» революции вылился в рост низовой политической активности, в появление уличного оппозиционного движения, в возникновение различных структур гражданского общества и развитие горизонтальных социальных взаимосвязей (неформальные политические клубы, движения экологов, анархистов, масштабные шахтерские забастовки).

Третья составляющая перестройки – это «национальные революции», т.е. выход на арену массовых национальных движений (народных фронтов), участники которых были объединены стремлением к отделению от союзного центра. И последняя тенденция – это т.н. «революция менеджеров», под которой Шубин подразумевает стремление номенклатуры в новых условиях захватить в свои руки государственную собственность. Последние две тенденции в итоге и возобладали, в то время как остальные задачи оказались на периферии, поэтому Шубин определяет советскую револю-

цию как потерпевшую неудачу, как время упущенных возможностей для модернизации страны, обновления и реальной демократизации всей советской системы.

Разумеется, мой обзор персоналий далеко не полный, однако общую картину он дает. Обобщая аргументы тех, кто полагает, что перестройка и распад СССР не были революцией (либо что это была «ненастоящая» революция), можно сказать, что они приводят следующие доводы:

- крушение советской системы стало лишь логическим завершением предшествующих тенденций, которые начались задолго до этого и выражались в кризисе плановой экономики, деградации элит, утрате веры в коммунистическую идеологию и т.д. Поэтому перестройка – не момент революционного слома старого режима, а лишь финальный аккорд в процессе его длительного распада;

- многие социально-политические и экономические преобразования во время перестройки инспирировались «сверху» и были результатом возникновения реформистского крыла внутри советской элиты. Перестройке не предшествовали массовые народные волнения, да и само участие общества во всех этих процессах было достаточно ограниченным, а настоящая революция немыслима без мощного напора «снизу»;

- легкость свержения «старого порядка», который пал не в результате кровавой борьбы, гражданской войны и пр., а просто рассыпался, не выдержав собственных противоречий;

- крайне незначительная для революций степень обновления правящего класса. Фактически переходом к демократии и рынку нередко руководили бывшие члены Политбюро, секретари обкомов и горкомов;

- постсоветские государства унаследовали слишком много черт предшествующей эпохи, особенно в политической сфере. Рождения нового общества не произошло;

- события 1991 г., в отличие от многих революций прошлого, не способствовали выдвижению какой-то великой социальной идеи, не породили сколько-нибудь впечатляющего интеллектуального и культурного подъема. Не создавая новых идей, антиноменклатурная революция вдохновлялась старыми, изрядно потертыми доктринами прав человека, народного суверенитета и пр. Как выразился по этому поводу в 1989 г.

³⁷¹ Шубин А.В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. М.: Вече, 2005. С. 440.

Т. Гартон-Эш, «идеи, время которых теперь пришло, — это старые, знакомые, проверенные идеи».³⁷²

Попробуем разобраться со всеми этими аргументами. Начнем с первого из них. Действительно, в событиях перестройки можно усмотреть прямую связь с тенденциями в развитии советского общества, которые обозначились если не со сталинского времени, то, по крайней мере, с эпохи «застоя». Разбалансировка всей советской системы и технологическое отставание СССР от ведущих государств мира осознавалось как серьезная проблема многими представителями элиты уже на рубеже 1970-1980-х гг. — не зря Ю. Андропов начинает свое правление с публичных заявлений о необходимости «реорганизации производства», «ускорения темпов экономики» и т.д. Также не случайной была проводимая Андроповым политика по «закручиванию гаек», которая касалась в том числе советской элиты и включала в себя серьезную чистку в МВД, ротацию партийных кадров и ряд громких антикоррупционных дел. У правящего класса в СССР явно появились собственные интересы, не совпадающие с интересами общества, номенклатура все больше коррумпировалась, обрастала связями и привилегиями, все активнее включалась в систему теневой экономики, а местами и просто сращивалась с организованной преступностью (достаточно вспомнить обстоятельства громкого «хлопкового дела» в Узбекистане).

Важнейшей частью процесса деградации советского правящего слоя была фактическая приватизация им «общенародной» собственности. Об этом факте пишут самые разные исследователи того периода. В. Мау и И. Стародубровская называют это процессами «частного присвоения формально государственных ресурсов»,³⁷³ Е. Гайдар использует термины вроде «квазичастной» собственности, «бюрократического рынка» и «предприватизации»,³⁷⁴ В. Пастухов, как мы помним, писал про «обуржуазившуюся номенклатуру». Более того, именно возможность для номенклатуры конвертировать власть в собственность в ходе пере-

стройки и стала, по всей видимости, одной из главных причин, по которой советская элита достаточно спокойно, если не сказать благосклонно, отнеслась к свержению советского строя. Ведь именно номенклатура стала на начальном этапе главным бенефициаром при перераспределении бывшей государственной собственности (речь идет о феномене т.н. «комсомольской экономики», участии «красных директоров» в приватизации предприятий и т.д.).

Замечу при этом, что сводить все содержание перестройки к процессам передела собственности, как это делает, в частности, В. Пастухов, значит, на мой взгляд, сильно упрощать ситуацию, а также путать причину со следствием — да, перестройка дала возможность части номенклатуры превратиться в собственника де-юре, а не только де-факто, но это вовсе не означает, что сама перестройка была инициирована элитой только лишь для целей личного обогащения. Для перестройки были и вполне объективные причины, которые хорошо известны.

Итак, перестройка без сомнения вытекает из тенденций предшествующих десятилетий, в свою очередь, неудачи и противоречия перестройки, о которых сейчас нет возможности говорить подробно, привели к полному коллапсу советского строя и развалу государства. Но может ли это само по себе являться аргументом против революционности тех событий? Революционная ситуация всегда появляется не вдруг, и хотя непосредственное начало революции часто является неожиданным для современников, все-таки задним числом мы всегда можем найти совокупность фактов и явлений, которые сошлись в определенный момент в одной точке и разрушили прежний статус-кво. Поэтому в данном случае я не могу согласиться с А. Филипповым, определявшим революцию как «абсолютное событие», т.е. такое, которое не индуцировано предшествующими событиями, которое не вытекает напрямую из логики прошлого, и в отношении которого «теоретически бессмысленно» искать причины, его производившие.³⁷⁵

Английская революция XVII в. не была разве логическим следствием предшествующих событий — развития капитализма и

³⁷² Цит. по: Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе. М.: Ad Marginem, 1998. С. 196.

³⁷³ Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции... С. 123.

³⁷⁴ Гайдар Е.Т. Государство и эволюция / Гайдар Е.Т. Власть и собственность. СПб.: Норма, 2009. С. 259.

³⁷⁵ Филиппов А. Триггеры абсолютных событий // Логос. 2006. №5 (56). С. 117.

усиления влияния буржуазии, проникновения в страну кальвинистских верований и пр.? Неужели на пустом месте возникла Великая Французская революция? Если вспомнить анализ последней в классической работе Алексиса де Токвиля, то там он прямо пишет о том, что хотя революция и «застигла мир врасплох», но, в сущности, она «явилась лишь продолжением более долгой работы, внезапным и насильственным окончанием творения, над которым трудились десять поколений. Если бы она не свершилась, то старая социальная постройка все равно бы повсеместно рухнула, тут раньше, там позже... Революция лишь резко завершила одним судорожным, болезненным усилием... то, что со временем окончилось бы мало-помалу само собой».³⁷⁶

Говоря о тех тенденциях, которые революция завершила радикальным усилием, французский философ имел в виду отмирание старого средневекового порядка, основанного на феодализме, сословном разделении и власти аристократии. В случае СССР мы видим такой же постепенный, долгий распад сущностных элементов советской системы: рост числа номенклатурных привилегий означал усиление фактического неравенства в обществе, в котором формально вроде бы победили социалистические принципы; возникновение «квазичастной» собственности и «бюрократического рынка» не могло не входить в противоречие с системой плановой экономики; а ритуализация коммунистической идеологии, утрата ею мобилизующей функции, неизбежно вела к ослаблению единства советского общества (в 1970-е – начале 1980-х гг. мы можем фиксировать появление очень робких, едва заметных ростков гражданского общества в СССР – возникновение движения диссидентов и неформалов, распространение самиздата, появление феномена «кухонного инакомыслия» и пр.).

Перестройка стала своеобразным детонатором, который взорвал систему, выведя на поверхность, обнажив и усилив те противоречия, которые существовали ранее. В связи с этим вспоминается знаменитая ленинская фраза о том, что общество может гнить бесконечно долго, пока не найдет сила, которая подтолкнет его – в этом слове

«гниющего» общества и состоит историческая миссия революций.

Кстати, в токвилевском анализе революции можно найти еще одну интересную параллель с событиями второй половины 1980-х гг. в СССР. Речь идет об известном наблюдении философа, что революции обычно происходят не тогда, когда положение народа ухудшается донельзя, и «старый порядок» принимает какие-то совсем одиозные формы, а наоборот – в ситуации, когда власть пытается изменить существующее положение вещей: «чаще всего случается, что народ, безропотно и словно не замечая терпевший самые тягостные законы, яростно отбрасывает их, едва только бремя становится легче. Режим, разрушенный революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал, и опыт учит, что наиболее опасный момент для плохого правительства это обычно тот, когда начинаются реформы».³⁷⁷ Не напоминает ли ремарка Токвиля годы горбачевской перестройки, когда именно попытки реформ, часто половинчатых и противоречивых, либерализация общественной атмосферы, начало политики гласности и прочие меры способствовали лишь усилению оппозиционных настроений в СССР и привели к тому, что в какой-то момент ситуация в стране окончательно вышла из-под контроля партийного руководства?

Следующий довод касается легкости падения советского режима в 1991 г. Действительно, августовский путч был практически бескровным, он закончился, толком и не начавшись, дальнейшее отстранение от власти М. Горбачева, запрет КПСС и другие события осени-зимы 1991 г., которые подвели черту под существованием Советского Союза, также не встретили никакого сопротивления. Но должно ли нас это удивлять?

Давно замечено, что в ходе революции свалить старый режим бывает не так-то сложно, особенно если он к тому моменту окончательно потерял свою легитимность. Несоизмеримо труднее в сравнении с этим выглядит задача построения нового постреволюционного порядка – вот тут начинается борьба за власть среди победителей и противостояние различных социальных альтернатив, тут дают о себе знать обломки «старого порядка», которые сохраняются при любой, даже самой радикальной

³⁷⁶ Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб.: Алетейя, 2008. С. 29.

³⁷⁷ Там же. С. 157.

революции, и мешают возведению нового общественного здания, тут начинается распад прежних социальных связей и болезненная попытка выстроить новые. Словом, разрушать всегда легче, чем строить. Поэтому всякий раз, когда я слышу, что антикоммунистическая революция в России была «ненастоящей», потому что старая власть в 1991 г. плохо сопротивлялась, мне вспоминаются слова В.В. Розанова, написанные им поздней осенью 1917 г.: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего».³⁷⁸ Как видим, Розанова также удивляет, как поразительно легко старая Россия ушла в небытие, как вдребезги рассыпалось то, что еще недавно казалось незыблемым. Мог ли кто-то представить в 1913 г., когда по всей стране с большой помпой отмечали 300-летие Дома Романовых, что уже через четыре года не будет ни правящей династии, ни самого царского режима? Точно также никто бы не поверил в 1987 г., когда советские люди не менее торжественно праздновали 70-летие Октябрьской революции, что ровно через те же четыре года красный флаг над Кремлем будет заменен триколором, а страна под названием «СССР» станет частью истории.

Не слишком убедительными представляются мне и сомнения в революционности российской социальной трансформации рубежа 1980-90-х гг., основанные на том, что наша революция не сформулировала никакой значимой идеи, не провозгласила новые политические принципы и проекты общественного переустройства. Эта претензия тем более странная, что мы знаем огромное число событий, давно и без сомнений именуемых революциями, которые также в теоретическом плане не породили ничего нового. Какую великую социальную идею выдвинула Февральская революция в России, Французская революция 1830 г., иранская революция 1905-1911 гг., мексиканская революция 1910-1917 гг., Ноябрьская революция в Германии? Список можно продолжать

и дальше, но и так понятно, что если идейную плодovitость мы делаем *conditio sine qua* поп любой революции, то это неоправданно сильно сужает данное понятие.

Далее рассмотрим аргумент об ограниченности участия народных масс в российской революции 1991 г. Б. Кагарлицкий отмечает, что «именно выход масс на передний план, превращение их в силу, творящую историю, опрокидывающую политические режимы, выдвигающую собственные требования, программы и вождей, отличает революционные эпохи от иных времен».³⁷⁹ Замечание верное, и в этом смысле события перестройки, также как и других «бархатных революций», обращают на себя внимание тем, что куда большую роль в создании революционной ситуации там сыграла сама правящая элита, нежели народные массы. Скажем, в СССР почти все ключевые преобразования, способствовавшие расшатыванию «старого порядка» (закон о создании кооперативов, переход к политике гласности, проведение альтернативных выборов народных депутатов и пр.) стали результатом исключительно внутриэлитных решений.

Кстати, по этой причине существует определенная сложность с датировкой антикоммунистической революции – у нее нет символического начала вроде взятия Бастилии. Думаю, что ее исходной точкой можно назвать 1987-88 гг., когда в СССР впервые начинаются серьезные реформы, очевидным становится раскол в элите на «консервативное» и «реформистское» крыло, в прибалтийских республиках формируются народные фронты – первые массовые организации, не связанные с властью, одновременно появляются явные признаки слабости режима и его существенной делегитимации в глазах населения. Что касается завершения революции, то тут ключевым является период 1993-1996 гг., когда были созданы основные структуры нового порядка – появились важнейшие институты рыночной экономики, в ходе приватизации произошло перераспределение значительной части бывшей государственной собственности в пользу новых хозяев, кроме того разгон парламента и принятие ельцинской Конституции позволили окончательно сформировать постсоветскую политическую систему. Но

³⁷⁸ Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. Режим доступа: <http://www.vehi.net/rozanov/apokal.html>

³⁷⁹ Кагарлицкий Б.Ю. Неoliberalизм и революция. СПб.: ООО «Полиграф», 2013. С. 10.

поскольку временные границы революции все-таки недостаточно четкие и могут являться предметом дальнейшего обсуждения, в этой статье я чаще всего употребляю выражение «революция 1991 г.», т.к. эта дата фиксирует момент окончательного свержения «старого порядка», коим стал августовский путч и распад СССР в течение последующих нескольких месяцев.

Возвращаясь к вопросу об участии народных масс в событиях перестройки, подчеркну, что все-таки было бы неправильно полностью его игнорировать. Все мы помним многотысячные выступления и демонстрации, кадры ниспровержения народом ненавистных символов уходящей эпохи (например, снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади), необычайную политизированность нашего общества в конце 1980 – начале 1990-х гг. Одним словом, тогда произошел тот самый выход широких масс за пределы их привычного повседневного существования, который часто случается именно в революционные эпохи. Просто особенностью момента стало то, что два условия ленинского определения революционной ситуации: «верхи не могут, низы не хотят», были несколько разведены по времени – сначала поняла, что не может «хозяйничать и управлять, как прежде» часть советской элиты, инициировавшая серию реформ, а затем уже в ходе их реализации и «низы» не захотели «жить, как прежде». Сработала отмеченная А. Токвилем закономерность, по которой революции часто начинаются тогда, когда старый режим неудачно пытается заняться самореформированием.

Кроме того, не будем забывать, что именно вовлечение народных масс в события перестройки в значительной степени сделало многие социально-политические процессы неподконтрольными власти и необратимыми – в ряде случаев действия народа оказывали *решающее влияние* на события и срывали попытки защитников «старого порядка» овладеть ситуацией и отыграть ее назад. Можно вспомнить, например, как союзное руководство в январе 1991 г. хотело силовым путем привести к власти в Литве лояльные себе политические силы (т.н. «Комитет общественного спасения»). Осуществить этот план помешала многотысячная толпа сторонников независимости, вышедшая на улицы Вильнюса и не допустившая захвата военными парла-

мента и телецентра. Неудача силового варианта в Литве фактически означала, что независимость Прибалтики – это свершившийся факт, что сильно воодушевило сепаратистов в других республиках.

Сюда же я бы отнес и события 19-21 августа 1991 г. в Москве. Образование ГКЧП стало последней попыткой консервативной части элиты восстановить прежний статус-кво – в выпущенном путчистами «Обращении к советскому народу» объявлялось о том, что горбачевская перестройка «зашла в тупик», и потому должна быть свернута. Конечно, путч был плохо организованным, у его вожakov явно не хватало решимости и воли, однако если бы десятки тысяч людей не пришли тогда к Белому дому и не продемонстрировали свою готовность бороться до конца, еще неизвестно, как стали бы развиваться дальнейшие события. Замечу также, что без широкой народной поддержки Б. Ельцин и «Демократическая Россия» просто не могли бы получить ту степень влияния на политические процессы, которая позволила им еще до путча стать в авангарде борьбы с «консерваторами» в КПСС и успешно заниматься тем, что сегодня назвали бы «раскачиванием лодки» (провоцировать «войну законов» с союзным центром и пр.). Таким образом, в ходе перестройки народные массы регулярно мобилизовывались на организованные политические действия, которые зачастую имели чрезвычайно важное, если не сказать судьбоносное, влияние на дальнейшее развитие событий.

Еще один довод, которым оперируют, отрицая революционность произошедших в России перемен, – это слабый уровень элитного обновления. Как правило, в ходе революции прежний истеблишмент теряет свои позиции, происходит его замена новым политическим классом, но в государствах бывшего СССР (пожалуй, за исключением, Армении и стран Балтии) ничего подобного не наблюдалось – там изменились скорее *формальные процедуры* отбора в элиту в связи с появлением выборных должностей и самой публичной политики, а *качественный состав правящего класса во многом остался прежним*. По подсчетам О. Крыштановской в составе ельцинской элиты 75% высшего руководства имело номенклатурное прошлое, а в региональной элите доля бывших номенклатурщиков и вовсе составляла 82,3%. Аналогичная ситуация и в

бизнес-элите – из 100 крупнейших бизнесменов России начала 1990-х гг. более 60% имело непосредственное отношение либо к комсомолу, либо к советской банковской системе, либо к руководству советскими промышленными предприятиями.³⁸⁰

Чем можно объяснить практически полное отсутствие элитной циркуляции? Дело, по всей видимости, в том, что к началу перестройки в СССР практически полностью отсутствовало гражданское общество, не было массового оппозиционного движения, подобного польской «Солидарности», которое могло бы в новых условиях стать каналом рекрутирования новых людей в элиту. Оппозиция возникает в СССР в результате внутриэлитного раскола, поэтому она состояла из тех же самых членов КПСС (изредка разбавленных диссидентами вроде А.Д. Сахарова), но теперь уже противопоставивших себя этой структуре – напомним, что Ельцин покинул ряды КПСС лишь летом 1990 г. Да и откуда могла взяться контрэлита в стране, которая несколько десятилетий существовала в условиях жесткого политического режима, подавлявшего любое инакомыслие и в принципе не допускавшего возникновение каких-то структур, автономных от государства; в стране, где численность единственной партии, сращенной с государственным аппаратом, составляла почти 19 млн. человек? В этой ситуации не стоит удивляться тому, что многие из российских реформаторов 1990-х гг. имели в своей биографии такой пункт, как членство в КПСС и опыт работы в различных советских учреждениях. Что не отменяет, конечно, проблему существования большого числа конъюнктурщиков из бывших партийцев, успевших вовремя «перестроиться» и быстро превратиться в ярких демократов.

При этом нужно отметить, что в ходе трансформации рубежа 1980-1990-х гг. все-таки произошло, с одной стороны, отстранение от власти большинства ключевых фигур, принадлежащих прежнему правящему слою, и, с другой, – вхождение в элиту совершенно новых людей. Скажем, многие члены ельцинской команды – Е. Гайдар, А. Чубайс, С. Шахрай, Б. Немцов и др. – вовсе не занимали важные руководящие посты в номенклатурной иерархии до

1991 г., а путь некоторых из них, например, А. Собчака – от заведующего кафедрой ЛГУ до мэра Петербурга или Г. Попова – от главного редактора научного журнала до градоначальника Москвы, иначе как фантастическим карьерным взлетом не назовешь. Такие головокружительные карьеры в виде исключений случаются во все времена, правилом же становятся только в период революций.

Что касается большого числа выходцев из номенклатуры среди бизнес-элиты, то это было связано с тем, что в эпоху первоначального накопления капитала в Советском Союзе важнейшим активом был административный ресурс – в отсутствие работающих институтов и четких, прозрачных правил игры обогатиться в первую очередь смогли те, кто имел доступ к экспортно-импортным операциям, льготным кредитам, субсидиям, наконец, просто был знаком с «нужными людьми». Поэтому низкий уровень элитного обновления говорит скорее о некоторых особенностях российской антиноменклатурной революции, нежели вовсе отменяет это понятие по отношению к 1991 г.

Наконец, последний аргумент, который мы должны разобрать, – это то, что перестройка не стала моментом основания нового общества, что постсоветская социальная система сохранила довольно много пережитков «старого порядка», а значит, настоящей революции будто бы и не произошло. Эти рассуждения мне также кажутся не совсем справедливыми. Разумеется, можно утверждать, что лозунги свободы, демократии, борьбы с привилегиями, которыми вдохновлялась революция 1991 г., так и не были реализованы. Скажем, социальное неравенство и разрыв между элитой и народом сегодня таков, что пресловутые номенклатурные льготы, бывшие объектом критики в период перестройки, кажутся чем-то несерьезным; недемократической остается политическая система – существующий режим, конечно, мягче, чем доперестроечный авторитаризм, однако мы по-прежнему не имеем честных конкурентных выборов, нормально выстроенной системы разделения властей и самое главное – регулярной сменяемости власти. Многое в нашей политической системе – лишь декорации, без формального наличия которых российским президентам просто было бы неприлично показываться на разного рода международных саммитах и форумах.

³⁸⁰ Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 343.

Но при этом стоит все-таки признать, что, во-первых, *благодаря событиям 1991 г. мы живем сегодня в совершенно другой стране, в которой произошли действительно глубокие изменения*: была создана иная экономическая система, фактически заново произошел процесс первоначального накопления капитала, появился класс предпринимателей и широкий слой частных собственников; кроме того было разрушено советское социальное государство, распределявшее огромное количество общественных благ – от образования и медицины до бесплатного жилья; демонтажу подвергся пост-тоталитарный политический режим со всеми его основными атрибутами: однопартийностью, идеологическим монополизмом, подавлением всякого инакомыслия и т.д. Во-вторых, нужно помнить, что в истории не было ни одной революции, которая бы смогла оправдать все надежды, разрешить разом все проблемы и противоречия. Вспомним хотя бы русскую революцию 1917 г. – были ли по-настоящему осуществлены хоть один ее лозунг? Более того, мы знаем, что за революциями часто следуют откаты, подобно тому, как за «Весной народов» 1848-49 гг. последовала эпоха довольно мрачной реакции; мы знаем, что революции всегда сопровождают такие явления, хорошо знакомые нам по «лихим 90-м», как аномия, девальвация прежней системы ценностей, массовое разочарование в политике т.д.

Короче говоря, революция и прогресс – вовсе не синонимы, однако революция, разрушая структуры «старого порядка» и ломая прежний социальный и политический статус-кво, дает шанс на прогрессивные изменения, создает исторические развилки. Ключевые слова здесь – «*дает шанс*». Поэтому наивно было бы думать, что борьба россиян за лучшую жизнь могла закончиться сразу после победы антикоммунистической революции.

В завершении статьи хотелось бы подвести общие итоги. Как было показано, события конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР/России вполне укладываются в существующее в социальных науках представление о революции: имели место фундаментальные изменения в самых разных сферах общественной жизни, преобразования сопровождались дисфункцией старых институтов и распадом прежнего социального порядка, кризисом государства. Важнейшие политические события, как и положено революционному времени, часто творились на улицах и площадях. Наверху властной пирамиды оказались многие доселе неизвестные люди. Российское общество во второй раз за XX в. прошло через ситуацию радикального отрицания своего прошлого и девальвации старой системы ценностей, что, опять же, характерно для революционных эпох. Поэтому попытки дать какое-либо иное именование рассмотренной социальной трансформации, на мой взгляд, будут заведомо менее удачными – все они либо откровенно идеологизированы (я имею в виду формулировки типа «капиталистическая реставрация», «контрреволюция», которые используют многие левые авторы³⁸¹), либо выглядят слишком искусственно (как, например, слово «*refolution*», используемое А. Никифоровым). Нам может не нравиться постреволюционная социальная система, однако это не повод вовсе отказываться от использования самого понятия «революция» применительно к распаду советского строя. Скорее это стимул продолжить дальнейшую борьбу, которая включала бы в себя требования реальной демократии и свободы, социальных и гражданских прав, эффективного и ответственного государства, более справедливого распределения общественных благ. Словом, это борьба за все то, что мы не получили в ходе революции 1991 г., но обязательно должны получить.

³⁸¹ Вряд ли можно называть «контрреволюцией» свержение режима, который к середине 1980-х гг. давно растерял весь свой революционный пафос, и в котором правящая элита превратилась в описанный М. Джиласом «новый класс» – оторванную от общества партийно-бюрократическую верхушку.

Глава IV. «Октябрьский переворот» или «Великая российская революция»? Переосмысление «мифа основания» СССР в политическом дискурсе постсоветской России³⁸²

О. Ю. Малинова

Современные макрополитические сообщества мыслятся по модели нации, которая предполагает многовековую преемственность поколений. Отчасти в силу этого, а отчасти – по причине того, что в эпоху Модерна идея истории вообще выступает в качестве фундаментального принципа воображения социального порядка, апелляция к прошлому является неотъемлемым атрибутом политической риторики. Когда речь идет о легитимации и делегитимации существующего режима, политическом целеполагании, мобилизации поддержки, критике оппонентов и проч., отсылки к «коллективной памяти» оказываются весомыми аргументами. Предполагается, что они подкрепляют нормативные и причинные утверждения «эмпирическим» опытом предков.

Используя этот ресурс, публичные политики участвуют в дискурсивном конструировании «памяти» о национальном прошлом. При этом они оперируют наличным репертуаром исторических событий и фигур, которые известны широкой аудитории и способны вызывать ожидаемую реакцию. Чтобы быть политически пригодными, символы прошлого должны быть закреплены не только в параграфах школьных учебников, но и в художественной литературе, кинематографе, документальных фильмах, музеях, памятниках, топографии публичного пространства, национальных праздниках и ритуалах, личном опыте индивидов, передаваемом через живое общение и др. Имеет значение и то, в какой мере доминирующие интерпретации исторических событий подвергаются оспариванию и в частности – как они используются оппонентами.

Будучи ограничены репертуаром «актуализированного» прошлого, политики в то же время располагают существенными ресурсами для его трансформации, причем не только за счет риторической реинтерпретации. Те из них, кто участвует в принятии соответствующих властных решений, име-

ют эксклюзивные возможности как для номинации событий прошлого для политического использования (в форме установления национальных праздников и практик официальной коммеморации, государственных наград, символической реорганизации пространства и проч.), так и для трансляции определенных версий коллективной памяти (путем регулирования школьных программ, государственных инвестиций в культуру и др.). Вместе с тем символические действия власти – легкая мишень для критики оппонентов: опыт многих стран свидетельствует, что они часто становятся предметом публичных дебатов (в том числе и потому, что, по определению Д. Арта, «не требуется особой подготовки, чтобы сформировать собственное мнение по этим проблемам»).³⁸³ Другими словами, для властвующей элиты «актуализированное» прошлое выступает и как ресурс, применение которого сопряжено с определенными выгодами и рисками, и как объект символических инвестиций.

В этом смысле «тысячелетняя история» России – хотя и богатый, но трудный материал для постсоветских политиков. С одной стороны, в силу особенностей советской исторической политики память о событиях XX века была наиболее основательно институционализирована, т.е. выступает в качестве «готового» для политического использования символического ресурса. С другой стороны, именно эта часть отечественной истории вызывает наиболее острые споры, выступая в качестве объекта диаметрально противоположных оценок. Тем не менее, конструирование новой российской идентичности невозможно без переосмысления наиболее значимых элементов советского прошлого. Настоящая статья посвящена изучению опыта адаптации для политического использования в постсоветском контексте одного из ключевых элементов советского исторического нарратива, мифа основания

³⁸² Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №№ 11-03-00202а.

³⁸³ Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 3.

Советского государства³⁸⁴ – Великой Октябрьской социалистической революции. События, выполняющие такую функцию, не только знаменуют поворотный момент в истории сообщества, но и символизируют вектор его развития. В силу этого в политических дискурсах они фигурируют в качестве центральных пунктов нарративов, описывающих генеалогию современных макрополитических сообществ, и одновременно – в роли символов, способных порождать различные цепочки ассоциаций. Без реинтерпретации событий октября 1917 г. было невозможно сконструировать новую смысловую схему, объясняющую связь между коллективным прошлым, настоящим и будущим. Поэтому изучение адаптации символа Октября к новому контексту позволяет увидеть многие проблемы, с которыми сталкивалась символическая политика власти в постсоветской России. Материалом для нашего анализа послужили официальные и неофициальные выступления президентов РФ и других политиков, а также публикации в СМИ, для сбора которых использовалась информационная база Интегрум.

Распад смысловой схемы, определявшей рамки памяти о «главном событии XX века» на протяжении советских десятилетий, произошел еще в период перестройки. Он стал следствием не только политики гласности, сделавшей «актуальным» принудительно забытое коллективное прошлое, но и изменений в официальном дискурсе. Как хорошо показал Г.Гилл, пытаясь облечь перестройку в традиционные советские символы, Горбачев наделял их новыми смыслами, чем разрушал связи между элементами и без того уже изрядно «расшатанного» советского «метанарратива».³⁸⁵ Казалось бы, после распада СССР это открывало хорошие перспективы для трансформации фреймов коллективной памяти об Октябре 1917 года. Властвующей элите новой России требовалось только подхва-

тить усилия своих предшественников и развить их «успех». Однако в 1990-х годах этого не произошло.

*«Главное событие XX века»
в идеологических битвах 1990-х гг.*

В первые годы существования нового Российского государства интерпретация национального прошлого в публичной риторике властвующей элиты была подчинена главной политической задаче – оправданию курса на радикальную трансформацию советского «тоталитарного» порядка. Цели реформ, начатых в 1992 г., формулировались в духе неозападнического антикоммунистического дискурса, который сложился еще в годы перестройки. Казалось, что победа «демократов» в августе 1991 г., предотвратив «возврат к административно-командной системе», ради которого был организован «путч» ГКЧП, открывает перед Россией перспективу превращения в «нормальную» демократическую страну с рыночной экономикой. По образному выражению министра иностранных дел в правительстве Ельцина – Гайдара А.В.Козырева, *«наша «сверхзадача» – буквально за волосы себя втащить... в клуб наиболее развитых демократических держав. Только на этом пути Россия обретет столь необходимое ей национальное самосознание и самоуважение, встанет на твердую почву»*.³⁸⁶ Отталкиваясь от идеологических оппозиций времен холодной войны, властвующая элита начала 1990-х гг. интерпретировала постсоветский транзит в логике исторцистской схемы, побуждавшей к тотальному отрицанию советских принципов.

Отношение к дореволюционному наследию было более сложным. Начатые преобразования интерпретировались как восстановление связи времен, разорванной в годы Советской власти. Как подчеркивал Б.Н.Ельцин в своем первом президентском послании Федеральному Собранию, *«разложилась доминировавшая в течение десятилетий тоталитарная государственная идеология, выразителем которой была КПСС. На смену приходит осознание естественной исторической и культурной преемственности...»*.³⁸⁷ Впрочем, реализация

³⁸⁴ Миф основания (foundation myth) – это история о моменте «начала» группы, политической системы или какой-то области деятельности, который открывает перспективу определенного будущего. Мифы этого типа несут в себе идею, что «потом» все будет по-другому (лучше) и что новая система избавлена от того, что было неприемлемо в старой. См. Schöppflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths // Myths and Nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schöppflin. New York: Routledge etc., 1997. P. 33.

³⁸⁵ Gill G. Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 15-17.

³⁸⁶ Козырев А.В. Преображение. М.: Международные отношения, 1994. С. 22.

³⁸⁷ Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Об укреплении

этой установки в символической политике государства носила избирательный характер. Усилия по «восстановлению памяти» в большей мере касались недавнего прошлого. Действовала Комиссия при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий (соответствующий закон был принят еще в октябре 1991 г.; ранее, в апреле того же года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов»). В общественном дискурсе продолжалось восстановление «белых пятен» истории. «Вспоминание» того, что по политическим или идеологическим соображениям было предано забвению, давало возможность формировать репертуар позитивных символов, не отступая от принципа отрицания «тоталитарного прошлого».

Вместе с тем, в дискурсе ельцинской элиты дореволюционное прошлое нередко описывалось сквозь смысловую рамку авторитарной традиции, которую преодолевает современная демократическая Россия. Напоминания о хрупкости ростков либерализма выполняли мобилизационную функцию: они должны были оттенить грандиозность переживаемых реформ и одновременно подчеркнуть связанные с ними риски. Думается, однако, что стремление элиты начала 1990-х противопоставлять «демократическую» Россию как «советской», так и «царской» было связано не только с политической прагматикой. Оно опиралось на представления, сформированные советским нарративом о дореволюционном прошлом, стержнем которого была история революционно-освободительной борьбы с самодержавием, увенчавшейся Октябрьской революцией. Критическая реинтерпретация «главного события XX века» меняла оценки с плюса на минус, не пересматривая связи событий, заданные прежним нарративом. Ельцин и его соратники конструировали образ новой демократической России, противопоставляя настоящее (авторитарному и тоталитарному) прошлому; идея преемственности с отечественной демократической традицией использовалась в их риторике крайне редко.

События 1917 г. в официальном дискурсе 1990-х гг. были подвергнуты радикальной переоценке. То, что в советское

время интерпретировалось как исторический рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по коммунистической версии), стало рассматриваться как катастрофа, прервавшая «нормальный» путь развития страны. Действия реформаторов представлялись как возобновление демократического проекта, прерванного Октябрьской революцией. Именно такую смысловую схему событий XX века Б.Н.Ельцин предложил, выступая перед участниками Конституционного совещания – конференции представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, созванной им в июне 1993 года для завершения подготовки «президентского» проекта новой Конституции Российской Федерации, альтернативного проекту, который был подготовлен Конституционной комиссией Съезда народных депутатов. Обосновывая необходимость «демократической» конституции, решительно порывающей с советскими традициями, Ельцин возводил ее генеалогию к событиям 1917 года: *«С принятием Конституции завершится учреждение подлинной демократической республики в России, – утверждал он. – Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянулся на многие десятилетия. Республика в нашей стране была провозглашена 1 сентября 1917 года декретом Временного Правительства. Ее становление было сразу прервано Октябрьской революцией, которая провозгласила Республику Советов. Сейчас рождается новая республика – Федеративное демократическое государство народов России»*.³⁸⁸ Непригодность проекта, подготовленного Конституционной комиссией Съезда народных депутатов, он объяснял «недемократической» природой последнего: *«Именно советский характер нынешних представительных учреждений породил парадоксальное, но в общем-то закономерное явление. Они вместо того, чтобы стать средоточием цивилизованного согласования интересов, направляют свои разрушительные усилия на исполнительную власть и Президента»*.³⁸⁹ Апеллируя к послеоктябрьской истории, Ельцин доказывал нелегитимность противостоящего ему Верховного Совета: *«Советы разогнали в 1918*

Российского Государства». 1994. Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html

³⁸⁸ Ельцин Б.Н. О демократической российской государственности и проекте новой Конституции // Обозреватель – Observer. 1993. № 15.

³⁸⁹ Там же.

году Учредительное собрание, а оно было сформировано в ходе демократических выборов. Нынешние представительные органы избирались на основе советского избирательного закона, а значит, они остаются продолжателями захваченной силой власти. В демократической системе они не легитимны».³⁹⁰ Позже, когда кризис, вызванный противостоянием двух ветвей власти, был преодолен силовым путем, и повторно созданное Конституционное совещание завершило работу над Конституцией, в своем выступлении по центральным каналам телевидения Ельцин доказывал преимущества нового Основного закона, противопоставляя его советскому прошлому: «Нам нужен порядок, – говорил он. – Но не страшный репрессивный порядок сталинских лагерей. Не «железная рука», а демократическая государственная власть обеспечит движение к нормальной и достойной жизни граждан, к процветанию единой, целостной России».³⁹¹

В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся президентской избирательной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ большой фрагмент, излагавший официальный нарратив истории XX века. В нем уже не было речи о преемственности между Февралем 1917 года и новой демократической Россией, зато подробно описывались катастрофические последствия «особого пути», начатого Октябрем. Напоминая, что в XX веке другие «государства отказывались от авторитарных форм правления, переходили к демократии, к поиску разумных сочетаний свободы и справедливости, рынка и социальных гарантий государства», Ельцин признавал, что «царская Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти на эту дорогу».³⁹² Если в июне 1993 г. президент апеллировал к демократическим традициям дореволюционной России³⁹³, то в

феврале 1996 г. он утверждал, что именно отсутствие таковых в совокупности с «глубиной общественных противоречий» предопределили «радикализм российского революционного процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю». В свою очередь, Октябрьская катастрофа стала разрушительным фактором, лишившим Россию накопленного культурного достояния («Этим разрушительным радикализмом – «до основания, а затем» – объясняется тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития»).³⁹⁴ Ельцин крайне негативно характеризовал предложенную большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель развития» и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что «превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь» и полностью исключил из своего пересказа политической истории России тему Великой Отечественной войны.³⁹⁵ В контексте избирательной кампании, в которой его главным противником был кандидат от народно-патриотического блока Г.А. Зюганов, Ельцину важно было показать, сколь гибелен путь, на который призывают вернуться его оппоненты. Поэтому он настойчиво подчеркивал негативные аспекты советского прошлого, описывая его с помощью популярной в публицистике того

ния, содержавшего описание демократической традиции, на которую может опираться «новая» Россия: «Нам есть, что взять в завтрашний день России из настоящего, из нашего противоречивого прошлого. У нас за спиной славные традиции вольного Новгорода, опыт уникальных преобразований Петра Великого и Александра Второго. Именно Россия внесла в мировую сокровищницу демократии опыт земства, опыт самой передовой для своего времени судебной реформы. Мы не властны над прошлым, но будущее в наших руках. Уверен, демократическая государственность не противопоставлена традициям России, самобытности ее народов. Наоборот, только с ее помощью они и могут быть сохранены». См. Ельцин Б.Н. О демократической российской государственности... Большая часть того, что попало в этот список, было слабо подкреплено унаследованной от СССР «инфраструктурой» памяти. Конструируя образ «новой» России, порывающей с прошлым, властвующая элита 1990-х не спешила восполнить этот пробел. К сожалению, тем самым она недальновидно лишала себя полезного символического ресурса.

³⁹⁴ Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе».

³⁹⁵ Там же.

³⁹⁰ Там же.

³⁹¹ Ельцин Б.Н. Вчера завершилось дело огромной важности для нашей страны, для каждого из нас. Подготовлен проект Конституции Российской Федерации. Выступление Б.Н.Ельцина по I и II каналам телевидения 9 ноября 1993 г. // Российская газета. 1993. № 210 (826). 10 ноября. С. 1.

³⁹² Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». 1996. Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html.

³⁹³ Вот как выглядел фрагмент ельцинского выступле-

периода концепции тоталитаризма: *«Важно до конца осознать, что трагические последствия коммунистического эксперимента были закономерны... И массовые репрессии, и жесткий политический монополизм, и классовые чистки, и тотальное идеологическое «прореживание» культуры, и отгороженность от внешнего мира, и поддержание атмосферы враждебности и страха – все это родовые признаки тоталитарного режима. И все это означает, что путь назад – это путь в исторический тупик, к неизбежной гибели России».*³⁹⁶ Таким образом, логика политической борьбы укрепляла стремление властвующей элиты конструировать образ «новой» России по принципу контраста, заостряя негативные оценки прошлого.

Вместе с тем, в начале 1990-х гг. события Октября 1917 г. часто фигурировали и в выступлениях политиков, и в публицистике. У многих современников было ощущение, что «в России сегодня делается не политика, а история, реализуется исторический выбор, который определит жизнь нашу и новых поколений»,³⁹⁷ и это побуждало мысленно возвращаться к мифу основания «старого режима» и проводить параллели с событиями 1917 года. Сначала объектом сравнения был Август 1991 года.³⁹⁸ Затем Октябрь 1917-го стали сравнивать с октябрём 1993-го. Примечательно, что и первые лица государства, говоря о современных политических кризисах, настойчиво возвращались к событиям 1917 года. Так, Ельцин в интервью газете «Штерн», данном в день расстрела Белого дома, оправдывая действия правительства, говорил: *«...Нам удалось избежать худшего – угроза гражданской войны отведена от России».* И далее проводил прямую параллель с опытом революции: *«Расчет делался на молниеносные действия: на вооруженный захват ключевых точек столицы – мэрии, средств массовой информации, Кремля – по сценарию октября 1917 г.».*³⁹⁹ Очевидно, что и исполнительная

власть действовала, помня про этот хрестоматийный сценарий, знакомый по курсу истории КПСС.

Год спустя, накануне думских выборов Е.Гайдар делился с журналистом своими историческими ассоциациями: *«День 19 августа 1991 года поразительно напоминал ситуацию 28 февраля – 1 марта 1917-го. Реально представляю себе этот день, когда старый набор институтов, казавшийся вечным и неизменным, данным навсегда, вдруг развалился подобно картонному домику. И оказалось: огромная страна в общем-то абсолютно неуправляема. Это понимают, к сожалению, не все. Когда перечитываешь стенограммы заседаний Временного правительства, видишь массу параллелей с реалиями августа-91. Эта картина меня всегда преследовала, когда мы только начинали работать. И все время думал: не дай Бог вот так же взять – и все бездарно проиграть, как проиграли тогда. Точно так же связаны у меня ассоциации октября 17-го с октябрём 93-го. И такая же небольшая кучка хорошо организованных, знающих, чего они хотят, готовых прорваться к власти экстремистов пыталась опрокинуть страну при непротивлении слабой, вялой, не понимающей, что от нее требуется и что следует делать, власти. К счастью, этого не захотело подавляющее большинство общества. Думаю, на этом прямые параллели и заканчиваются. Сегодня мы уже вышли из реалий 1917 года, потому что основные угрозы приобрели избирательный характер. Ныне логичнее искать сходство с ситуацией 1927 года. НЭП... Все искренне убеждены, будто он всерьез и надолго... То есть полное непонимание того, как быстро все может быть демонтировано и свернуто при определенном сценарии развития событий».*⁴⁰⁰ Из этих высказываний видно, что представления о событиях 1917-1927 гг. не просто использовались в риторике первых лиц государства, но были частью когнитивных схем, на основе которых они принимали решения.

В официальном нарративе, оформившемся к середине 1990-х гг., Октябрьская революция интерпретировалась как «катастрофа», последствия которой Россия с

³⁹⁶ Там же.

³⁹⁷ Гайдар Е. Двуглавый орел и золотой теленок // Известия. 1994. № 216 (24323). 10 ноября.

³⁹⁸ См. Третьяков В. Уроки Октябрьского (1917) и августовского (1991) переворотов // Независимая газета. 1991. № 140. 7 ноября; Моравский Н. Россия и демократия // Независимая газета. 1993. № 31 (455). 18 февраля.

³⁹⁹ Ельцин Б.Н. Лишь бы сила аргументов не подменялась силой оружия. Ответы на вопросы журнала «Штерн» // Российская газета. 1993. № 206 (822). 4 ноября.

С. 1, 4.

⁴⁰⁰ Долганов В. Егор Гайдар: у коммунистов есть два варианта – сажать и воевать // Куранты. 1995. № 155. 20 октября.

большим трудом исправляет сегодня. Демонстративно отказавшись от советских идеалов, новая власть видела свою задачу в том, чтобы вернуть страну в «нормальное» состояние, избавившись от последствий «советского эксперимента». С распадом СССР перестроечный дискурс, рассматривавший реформы как движение к «настоящему» социализму, утратил актуальность. Тем не менее, и после поворота в сторону «рынка» теоретически существовала возможность таких способов переосмысления Октябрьской революции, при которых она продолжала бы рассматриваться в качестве хотя и трагического, но «великого» события отечественной и мировой истории. Например — в логике «социал-демократической» парадигмы, нацеленной на удержание позитивных достижений социализма при переходе к «рынку и демократии». Или в контексте «общегуманитарной» постановки проблемы, связанной с признанием вклада СССР в решение проблемы социальной справедливости. Оба подхода были представлены в публицистике тех лет. Однако они не вписывались в выбранную властвующей элитой стратегию легитимации политического курса: представляя начатые реформы как радикальное изменение советского уклада, «команда Ельцина» пошла по пути критики и «демонтажа» мифа основания «старого режима». Позже оказалось, что это был неудачный выбор: отказываясь от попыток адаптации к новому контексту исторического символа, основательно укорененного в сложившейся инфраструктуре памяти, властвующая элита тем самым оставляла его в безраздельное пользование оппонентов режима.

Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало резкую трансформацию смыслов: то, что прежде воспринималось сквозь рамку когнитивной модели «национальной славы», теперь стало рассматриваться в логике «коллективной травмы». Это должно было повлечь за собой радикальное переформатирование сложившихся практик коммеморации и инфраструктуры памяти.⁴⁰¹ нужно

⁴⁰¹ Следует отметить, что на локальном уровне попытки изменить практики коммеморации Октября имели место: после августа 1991 года по всей стране прошла волна сноса памятников героям революции, стихийно складывались новые ритуалы для по-прежнему праздничного 7 ноября (см. описание празднований 7 ноября в начале 1990-х в работе Кэтлин Смит: Smith K. *Mythmaking in the New Russia. Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca, London: Cornell

было не только перенести акцент с «героев» (которые перестали быть героями) на «жертвы», но и воздать по заслугам «палачам». Эта работа требовала ресурсов и была сопряжена со значительными политическими рисками. И дело не только в том, что выяснение «истинных» ролей «героев», «палачей» и «жертв» в обществе, прошедшем через гражданскую войну — неизбежно болезненный процесс. Столь резкое изменение смысла исторического события, выполнявшего функцию мифа основания, затрагивает всю конструкцию коллективной идентичности. Заменить «национальную славу» «коллективной травмой» не так просто: сплывающие эффекты данных когнитивных моделей опосредованы разными социально-психологическими механизмами.⁴⁰² Кроме того, эта процедура может оказаться вообще неосуществимой в конкретном культурном контексте.⁴⁰³

Трудно сказать, имела ли шансы на успех попытка столь радикального замещения фреймов коллективной памяти. Однако она не только не была поддержана достаточными ресурсами, но и столкнулась с весьма успешным контрдискурсом, который, в отличие от символической политики властвующей элиты, опирался на менее рискованную стратегию частичной трансформации привычного нарратива.

Распад СССР и начало экономических реформ превратили приверженцев коммунистической идеологии из защитников статус-кво (или его критиков справа) в «левую оппозицию»,⁴⁰⁴ что способствовало

University Press, 2002. P.81-83). Однако вплоть до 1996 г. федеральная власть не предпринимала шагов для поддержки этих инициатив.

⁴⁰² В данном отношении большой интерес представляет работа Стивена Мока, исследовавшего роль символов поражения в конструировании национальных идентичностей. Мок утверждает, что «любое общество нуждается в коммеморации жертв», однако миф поражения — «не единственный инструмент, с помощью которого современный социальный конструктор нации выполняет эту функцию», см.: Mock S. *Symbols of Defeat in the Construction of National Identity*. N.Y., etc.: Cambridge University Press, 2012. P. 260. Он полагает, что в силу своих структурно-смысловых особенностей миф поражения не работает в постимперском контексте (что демонстрируют примеры США, Китая и России) и в случаях «безгосударственных» наций. Ibid. P. 261-268.

⁴⁰³ В частности, наблюдения Дж. Уэртша относительно распространенности в российской историографии нарративного шаблона «победы-над-враждебными-силами» могут рассматриваться как эмпирическое свидетельство значимости фрейма «национальной славы» для конструирования русской/советской/российской идентичности. См.: Wertsch J.V. *Voices of Collective Remembering*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

⁴⁰⁴ Впрочем, в начале 1990-х эта терминология еще не устоялась: с учетом того, что идеалы коммунистов были

обновлению их дискурсов. Эта метаморфоза наиболее заметна в идеологии Коммунистической партии Российской Федерации, созданной в феврале 1992 г. на основе первичных организаций КП РСФСР. Изначально взяв курс на соединение социалистических и патриотических ценностей, КПРФ весьма творчески подошла к идеологическому наследию КПСС: она изменила отношение к частной собственности, отказалась от атеизма, ухитрилась соединить формальную приверженность пролетарскому интернационализму с державным патриотизмом и дополнила марксизм «полезными» теоретическими новшествами – например, цивилизационным подходом в духе С. Хантингтона. Благодаря такому обновлению репертуара и унаследованным остаткам организационных ресурсов КПСС КПРФ стала лидером альянса левых и национал-патриотических организаций, выступавшего в 1990-х гг. в роли основного политического противника «действующей власти».⁴⁰⁵ Поскольку задача настоящей статьи – проанализировать смысловую схему истории XX века, которая в контексте политической борьбы 1990-х оказалась главной альтернативой складывающемуся официальному нарративу, высказывания представителей этого альянса рассматриваются здесь как общий дискурс, без учета от особенностей отдельных идеологических позиций.

Если практика использования прошлого властвующей элитой начала 1990-х направлялась потребностью легитимировать реформы, нацеленные на демонтаж советской системы, то главной смысловой доминантой дискурса «народно-патриотической оппозиции» были распад СССР и «разбазаривание» его достижений. Октябрьская революция, формально сохраняя значение мифа основания исчезнувшей страны, превращалась в удобный для политических манипуляций символ утраты – тем более что сохранение за 7 ноября статуса праздничного дня давало повод для ежегодной коммеморации. При этом распад СССР и конец холодной войны придавали интерпретации Октябрьской

революции новые ракурсы. Например, в 1994 г. Г.А. Зюганов – на тот момент председатель Президиума ЦИК КПРФ, а в будущем – бессменный председатель ее ЦК, – представлял Октябрь 1917 года как эпизод цивилизационного противостояния Запада с Россией, выступающей в роли «последнего противовеса» его гегемонизму. По словам Зюганова, *«предпосылки российской революции зрели давно и последовательно, являясь в равной мере следствием ошибок русского правительства во внутренней политике и внешнего, разлагающего влияния западной цивилизации»*.⁴⁰⁶ Однако *«надежды Запада на избавление от своего главного геополитического конкурента... оказались тщетными», ибо «революция не разрушила, а напротив, обновила и укрепила российскую государственность, очистив ее от изживших себя феодально-буржуазных реформ»*.⁴⁰⁷

В рамках такой смысловой схемы Октябрь лишился части своего героического ореола и становился одним из эпизодов многовекового «столкновения цивилизаций». Но одновременно он приобретал новое качество: из события, разделяющего прошлое на «до» и «после», революция 1917 года превращалась в своеобразную кульминацию «русского духа» и даже в символ его преемственности.⁴⁰⁸ Классовая парадигма заменялась националистической.⁴⁰⁹ При этом в новом дискурсе об Октябрьской революции соседствовали две темы, каждая из которых подавалась в националистической аранжировке. Во-первых, развивалась тема национально-освободительной борьбы против гегемонии Запада. Октябрь представлялся как спасение *«от колониального порабощения, от развития по капиталистическому пути, а в религиозном смысле – от превращения в общество «практического атеизма» (как определял капитализм Бердяев) – предшественника “нового мирового порядка и будущего царства Антихриста”*».⁴¹⁰ В заслугу

связаны с прошлым, их нередко называли правыми.

⁴⁰⁵ КПРФ и ее союзники имели значительное представительство в Государственной Думе; однако в логике разделения властей, сложившегося после принятия Конституции 1993 г., под «властью» понимается президент и фактически подотчетное ему правительство.

⁴⁰⁶ Зюганов Г.А. Взгляд за горизонт // Обозреватель – Observer. 1994. № 18.

⁴⁰⁷ Там же.

⁴⁰⁸ Согласно концепции Зюганова, *«Советская власть... унаследовала у исторической России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощного государства»*, что и привело к ее небывалому подъему в XX веке. Там же.

⁴⁰⁹ Если первая предполагает, что прошлое рассматривается сквозь призму классовой борьбы как главной движущей силы истории, то вторая сосредоточена на генеалогии сообщества, считающегося «нацией».

⁴¹⁰ Общенациональная идея – важнейший фактор преоб-

социализму ставилось «сохранение целостности государства... и превращение его в могущественную державу».⁴¹¹ Во-вторых, утверждалась идея о соответствии принципов советского строя русскому национальному духу. По словам (на тот момент) члена Конституционного Суда В. Зорькина, «коммунисты сумели удержаться у власти целых семьдесят лет потому, что... привели свою идейную платформу в соответствие с характерными особенностями русского самосознания».⁴¹² Таковые усматривались не только в тяге русского народа к социальной справедливости (Октябрь как «мощный порыв широких слоев народа к правде и справедливости, как они это понимали, протест против фарисейства «господ» и стремление утвердить новые, братские отношения между людьми, правда, только между трудящимися»),⁴¹³ но и в «сочетании идей соборной демократии и личной свободы с сильной и ответственной государственной властью».⁴¹⁴ Путь, начатый Октябрем, представлялся как триумф национального духа, обогатившего коммунистическую идею «истинно русскими» принципами коллективизма, соборности и общинности.

Таким образом, и в дискурсе «народно-патриотической» оппозиции советский нарратив отечественной истории XX века подвергся трансформации, менявшей смысловое наполнение символа Октябрьской революции. Строго говоря, акцентирование преемственности отечественной истории в духе националистической парадигмы ставило под сомнение ее прежнюю функцию, ибо миф основания требует противопоставления «до» и «после». Однако поскольку революция продолжала рассматриваться как событие, причинно связанное с успешной модернизацией, победой над фашизмом, превращением России в великую державу, созданием справедливой системы распределения (пусть и при не вполне эффективной экономике) и др. достижениями, знакомыми по советскому канону, сохранялась возможность использования прежнего смыслового репертуара.⁴¹⁵ В конце концов, Ок-

тябрьская революция оставалась центральным элементом коммунистической мифологии, что позволяло опираться на богатую «инфраструктуру» коллективной памяти, унаследованную от СССР, включая традицию ежегодной коммеморации. Как показала К.Смит, начиная с 1991 года ритуалы празднования 7 ноября менялись, приспосабливаясь к новому контексту: в отличие от критиков Октября, которым не удалось закрепить практику гражданских антикоммунистических контрдемонстраций (они были действительно массовыми лишь в 1991-1992 гг.), его сторонники вполне успешно совершенствовали свои праздничные ритуалы, осваивая новые места памяти.⁴¹⁶ Благодаря удачно найденной стратегии трансформации советского нарратива коммунисты и их союзники сумели воспользоваться доставшимися по наследству символическими ресурсами. Правда, у них было мало возможностей «инвестировать» в их дальнейшее развитие, но на первых порах они получили значительное преимущество перед противниками.

Таким образом, попытки властвующей элиты представить революцию как трагедию наталкивались на стремление «народно-патриотической» оппозиции превратить ее в одну из несущих опор национальной идентичности. В силу этого в 1990-х гг. переоценка Октябрьской революции происходила по принципу игры с нулевой суммой.

Тема «октябрьской катастрофы» активно использовалась во время избирательной кампании Б.Н. Ельцина в 1996 г. Представляя выбор между действующим президентом и его главным противником — лидером коммунистов Г.А. Зюгановым, как вопрос жизни и смерти для новой России, члены властвующей элиты пытались мобилизовать массовые представления об ужасах большевистской революции и ее последствиях, сформированные благодаря потоку разоблачительных публикаций в СМИ конца 1980-х — начала 1990-х гг. Как подчеркивалось в статье, напечатанной «Российской газетой» за подписью тогдашнего руководителя администрации президента

разований в России и консолидации общества // Обозреватель — Observer. 1994. № 21-24.

⁴¹¹ Зюганов Г.А. Россия и современный мир. М.: Информпечать, 1995. С. 6.

⁴¹² Зорькин В. Строительство новой России // Обозреватель — Observer. 1994. № 16-17.

⁴¹³ Общенациональная идея...

⁴¹⁴ Зорькин В. Указ. соч.

⁴¹⁵ Следует оговориться, что не все представители наци-

онал-патриотической оппозиции разделяли безусловно положительную оценку Октябрьской революции. В русском национализме существует традиция критики советского интернационализма, жертвующего интересами русского народа; эту точку зрения выражали и некоторые союзники КПрФ (см., напр. Общенациональная идея...).

⁴¹⁶ Smith K. Op. cit. P. 81-83.

Н.Д. Егорова, «нам придется снова выбрать между продолжением демократических реформ и поворотом вспять. Но назад дороги нет, сзади – пропасть. Еще одной разрушительной революции Россия просто не выдержит».⁴¹⁷ Еще более определенно ту же мысль сформулировал мэр Петербурга А.А.Собчак: «После того, что пережила Россия в течение заканчивающегося столетия, она просто не выдержит еще одного диктатора, еще одной революции, которая может оказаться самой кровавой в ее истории».⁴¹⁸

После выборов, продемонстрировавших готовность значительной части избирателей поддержать кандидата от КРПФ, властвующая элита начала принимать меры к смягчению конфронтации. 7 ноября 1996 г., за год до 80-летия Октябрьской революции Б.Н.Ельцин издал указ, вводивший новую формулу праздника, оставшегося в наследство от Советской власти – День согласия и примирения, и объявлявший 1997 год Годом согласия и примирения. В том же указе было предусмотрено проведение конкурса по созданию памятников, увековечивающих память жертв революций, гражданской войны и политических репрессий.⁴¹⁹ Как вспоминала потом Л. Пихоя, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 г. на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А.Чубайса: «Сама идея заключалась в следующем: в конце концов, после Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему

бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем».⁴²⁰ По-видимому, решение действительно было подготовлено спонтанно; Ельцин подписал указ через день после операции на сердце, как потом злословили оппоненты, «не приходя в сознание после наркоза».

Существовали и другие сценарии решения проблемы: накануне 79-летней годовщины революции бывший соратник М.С.Горбачева А.Н.Яковлев опубликовал в «Российской газете» статью «Если большевизм не сдастся», в которой доказывал, что «путь к торжеству свободы в России может быть прерван в любой день, если не поставить вне закона большевистскую идеологию членоконевизмичества». Автор статьи обращался к Президенту России, Конституционному суду, Правительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному Собранию с призывом «возбудить преследования фашистско-большевистской идеологии и ее носителей».⁴²¹ Однако Ельцин и его окружение не захотели играть на обострение.

В период второго президентства Б.Н. Ельцина наметились очевидные сдвиги в символической политике, которые определялись, с одной стороны, новым раскладом сил, а с другой – потребностью в консолидации расколотого политического класса и «стабилизации» конфликтов, которые во время избирательной кампании намеренно обострялись. Не случайно использованное для переопределения праздника слово «согласие» заняло центральное место в риторике президента. Государство перешло от квази-невмешательства в «свободный рынок» идей к продвижению идеи национального консенсуса. Наиболее заметным проявлением этого сдвига стал призыв к разработке новой «национальной идеи», озвученный Ельциным через месяц после выборов.⁴²² Хотя последовавшая за этим дискуссия несомненно внесла оживление в

⁴¹⁷ Егоров Н.Д. Июньские выборы: за стабильность и за потрясения? // Российская газета. 1996. № 53. 29 марта.

⁴¹⁸ Собчак А.А. Мы начинали реформы, не рассчитывая на аплодисменты // Российская газета. 1996. № 95. 2 мая.

⁴¹⁹ См.: О Дне согласия и примирения. Указ Президента РФ // Российская газета. 1996. № 214 (1574). 10 ноября С. 2. Эта инициатива так и не была реализована. В 2011 г. в предложениях об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении», подготовленных рабочей группой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, вновь говорилось о необходимости создания «как минимум двух общенациональных мемориально-музейных комплексов рядом с обеими столицами и монументального памятника жертвам в центре Москвы». См.: Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Подготовлены Рабочей группой Совета по исторической памяти и переданы Президенту РФ на встрече 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге. Режим доступа: http://www.president-sovet.ru/structure/group_5/materials/proposals_at_a_meeting_in_ekb/index.php

⁴²⁰ Соколова М., Яковлева Е. Прибавление смуты. Что мы будем праздновать 4 ноября // Российская газета (Федеральный выпуск). 2004. № 3621. 4 ноября.

⁴²¹ Яковлев А.Н. Если большевизм не сдастся // Российская газета. 1996. № 199. 17 октября.

⁴²² ИТАР-ТАСС. Кто мы? И что нас объединит? // Российская газета. 1996. № 131. 13 июля.

общественную повестку и привлекла внимание многих политиков, журналистов, специалистов и просто рядовых граждан, она не привела к искомому результату – установка политического класса на взаимодействие по принципу игры с нулевой суммой оказалась сильнее призывов к единению. С учетом прежнего советского опыта закрепления «государственной идеологии» ставки казались слишком высокими, чтобы решать проблему «принципов» на пути компромисса.

Это в полной мере касалось и проблемы интерпретации коллективного прошлого: в понимании «демократов», оппонировавших власти справа, идея «согласия и примирения» не отменяла необходимости «покаяния» в преступлениях советского режима, в то время как «народно-патриотическая» оппозиция изображала попытки переписать историю советского периода как стремление правящего «преступного режима» «унизить русский народ». В таком контексте идея переименования праздника – даже если бы ее реализацией занимались всерьез – едва ли могла сработать. Возможно, у нее было больше шансов на успех в 1991-1992 гг., когда развивались гражданские инициативы коммеморации жертв революции и гражданской войны. Однако обстоятельства сложились иначе. Поначалу власть была слишком занята продвижением реформ, чтобы отвлекаться на символическую политику. А потом октябрьский кризис 1993 г. и начавшаяся в декабре 1994 г. война в Чечне внесли раскол в лагерь поддерживавших Ельцина «демократов». Получилось, что, не поддержав своевременно гражданские инициативы, власть упустила момент для трансформации практики коммеморации Октябрьской революции.

Кроме того, как справедливо заметила К.Смит, «переработка прошлого в форме примитивного переименования старого праздника не меняет содержания празднования. Чтобы стать эффективными средствами коммуникации, общественные праздники нуждаются в сценариях и ритуалах».⁴²³ Однако ни в 1997 году, ни позже попыток сформировать такие сценарии и ритуалы для Дня согласия и примирения не наблюдалось. Во время празднования 80-летия Октябрьской революции Ельцин воздержался от комментариев по поводу юби-

лейной даты; в своем традиционном радиобращении, прозвучавшем незадолго до праздника, он ограничился призывом не участвовать в осенних мероприятиях оппозиции, а заняться домашними делами: квасить капусту, утеплять окна и вообще готовиться к зиме.⁴²⁴ Таким образом, юбилейная дискуссия о значении революции происходила на фоне демонстративного отказа главы государства обсуждать данную тему.

Хотя спустя пять с лишним лет после распада советского режима и произошла определенная перестановка акцентов в оценках мифа его основания, объявленное «согласие и примирение» так и не наступило. В юбилейных публикациях можно обнаружить широкий разброс оценок. На одном полюсе были те, кто вспоминал об Октябре 1917 г. как о трагедии, последствия которой приходится исправлять сегодня.⁴²⁵ На другом – коммунисты и их союзники. Г.А. Зюганов к юбилею Октября опубликовал большую статью в «Советской России», в которой доказывал, что «Октябрьская революция была... единственным реальным шансом для России на национально-государственное самосохранение». На этот раз он не апеллировал к «столкновению цивилизаций», а сосредоточился на внутренних причинах Октябрьской революции. Представляя действия большевиков, восстановивших «сильную власть», как «акт в высшей степени патриотический и государственный», он утверждал, что социалистический характер революции был не следствием «субъективного идеала революционеров», а ответом на «объективную общественную потребность». По словам лидера КПРФ, «*итог Октябрьской революции и гражданской войны – это победа революционно-демократического способа спасения и собирания России над способом реакционно-бюрократическим*».⁴²⁶ Однако у его

⁴²⁴ См.: Драгунский Д. Октябрь уж отступил // Итоги. 1997. № 43.

⁴²⁵ Вот характерный пример такой оценки, взятый из статьи в «Российской газете», официального печатного органа Правительства РФ: «Нужно ли еще кому-то доказывать, что наш прежний общественный и государственный строй привел нас на грань катастрофы и мы как нация, так или иначе возрастившая его, потерпели исторический крах? И то, что мы сейчас переживаем не лучший период в своей истории, есть не что иное, как расплата за прошлые грехи? (...) Большевики, опираясь на поддержку широких слоев народа, направили страну по ложному пути развития...» Кива А. Россия после коммунизма // Российская газета. 1997. № 180. 17 сентября.

⁴²⁶ Зюганов Г.А. Смысл и дело Октября // Советская Россия. 1997. № 130. 6 ноября.

⁴²³ Smith K. Op. cit. P. 99.

оппонентов была прямо противоположная точка зрения на этот счет: *«Советский строй в конечном счете не разрешил ни одного из породивших его кризисов. Таков итог Октября для России»*, – писал один из «демократов» первого призыва, бывший мэр Москвы Г. Попов.⁴²⁷ Между отрицанием Октября как «катастрофы» и его апологетикой в духе государственнического национализма располагались позиции тех, кто пытался отнестись к нему критически, не отрицая его статуса великого события. Так, по определению Горбачева, *«Октябрьская революция выражала потребность России вырваться на новый цивилизованный уровень развития. И прорыв этот был сделан. Он оказал огромное влияние на всю историю XX века, на развитие всего мирового сообщества. Но средства для реализации идей, которые помогли осуществить прорыв, оказались неадекватными. Они потом и загубили эти идеи, дискредитировали их»*.⁴²⁸

Однако, несмотря на столь очевидное расхождение оценок, были два пункта, по которым наблюдалось удивительное согласие. Во-первых, большинство комментаторов признавали бесспорным значение Октябрьской революции для трансформации капитализма в других странах. Как сформулировал это А.Бовин, *«парадокс, губительный для одних и спасительный для других, состоит в том, что минусы Октябрьской революции сконцентрировались в России, а ее плюсы проявились по большей части за пределами «лагеря» социализма»*.⁴²⁹ Разумеется, этот тезис был далек от прежней перспективы «триумфального шествия социализма, выводящего Россию в авангард прогресса», тем не менее, он мог служить основой для реинтерпретации Октябрьской революции как великого события XX века. В 1990-х гг. парадокс, о котором писал Бовин, часто интерпретировали в духе чаадаевского «урока саморазрушения». Однако в случае отказа от тотального отрицания со-

ветского прошлого и его тщательной критической «проработки» тезис о мировом значении опыта СССР мог бы стать важной составной частью обновленных фреймов коллективной памяти о революции. Во-вторых, представители разных политических сил сходились в том, что главный урок революции – «не повторить эпидемии насилия и безумства».⁴³⁰ Как я попытаюсь показать ниже, представление о пагубности революций, прочно ассоциируемых с насилием, стало своеобразным общим местом дискурсов российских политических элит, влияя на репрезентацию актуальных и предполагаемых политических изменений.

Память о революции и репрезентация политических изменений

В советском дискурсе прилагательное «революционный» имело положительные коннотации. Подразумевалось, что «революционный путь» решения назревших общественных проблем лучше «реформистского», поскольку он надежно искореняет «пережитки прошлого», открывая более широкие возможности для дальнейшего развития. Эта презумпция имела место и в случае интерпретации Октябрьской революции: считалось, что в силу «половинчатости» буржуазно-демократических революций 1905-1907 гг. и февраля 1917 г. большевики были вынуждены решать задачи, не решенные на предыдущих этапах революционно-освободительного движения (как мы видели выше, в несколько трансформированном виде этот тезис воспроизводил и Зюганов). Следуя этой логике, Горбачев некогда представлял перестройку как «процесс революционного обновления общества»; заглавие его юбилейной статьи – «Октябрь и перестройка: революция продолжается» – говорит само за себя.⁴³¹ Позже это сослужило плохую службу для ретроспективной оценки инициированных им

⁴²⁷ Попов Г. Месяц Скорпиона, год Красной Змеи // Известия. 1997. 6 ноября.

⁴²⁸ Горбачев М.С. История не фатальна // Московские новости. 1997. № 43. 28 октября.

⁴²⁹ Бовин А. Великая революция // Известия. 1997. 5 ноября. Ср. у Зюганова: «Октябрьская революция не переросла в мировую, но она сильнее всего стимулировала мировую реформу, в ходе которой трудящиеся развитых капиталистических стран добились весьма существенных социальных завоеваний». Зюганов Г.А. Смысл и дело Октября.

⁴³⁰ Тарасов А. Ты за какой Октябрь? // Дом и Отечество. 1997. № 38 (76). 1-7 ноября. С. I, III. Ср. этот вывод, взятый из вкладки новой «партии власти» «Наш дом – Россия» в «Российской газете» со словами Зюганова: «...если социалистическая революция 1917 года могла быть совершена как мирным, так и немирным путем, то сегодня мы прямо ставим национально-государственное выживание и возрождение России в зависимость от сохранения гражданского, межнационального и международного мира». Зюганов Г.А. Смысл и дело Октября.

⁴³¹ Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: Революция продолжается // Правда. 1987. № 307 (25294). 3 ноября. С. 2-5.

перемен. Одним из результатов бурных общественных дискуссий по поводу вновь открытых «белых пятен истории» стала негативная переоценка «революции». Данное понятие стало ассоциироваться с радикальным изменением общественного строя на основе умозрительных схем, которое неизбежно приобретает насильственные формы. Воспроизводя этот новый фрейм, член Конституционного Суда и активный деятель лево-патриотической оппозиции В. Зорькин писал в 1994 г., объединяя в один ряд современные, «гайдаровские» реформы, перестройку и Октябрьскую революцию: *«Особенно опасно в таком утопическом догматизме то, что, встречая естественное сопротивление консервативной и малоподвижной общественной среды, он легко приобретает агрессивные, а порой и откровенно террористические формы. Оглянитесь! Так было после революции 1917 г., так развиваются события и сегодня, особенно с тех пор, как пресловутая «перестройка» приобрела революционные черты...»*.⁴³²

Негативная коннотация слова «революция» закрепилась настолько прочно, что когда властвующая элита уже новой, независимой России начала осуществлять гораздо более радикальную по сравнению с перестройкой трансформацию экономической системы, ее с самого начала стали называть «реформой». Как комментировал это во время избирательной кампании 1995 г. председатель «правительства реформ» Е. Гайдар, *«либералам, демократам никогда не нужны великие потрясения. Потрясения – питательная среда для авантюристов. Но если бы в 1989-90 году демократы ограничились такими словами, они бы слукавили. Надо было сменить отжившую себя систему. Задача была – демонтировать ее мирным путем, с помощью эволюции, а не революции, но, очевидно, что полностью избежать здесь потрясений было невозможно в принципе»*. Признавая таким образом хотя и «мирный», но все же скорее революционный характер перемен, он продолжал: *«Теперь – иное. При всех недостатках, при всех тенденциях к застою и разложению, новая система в принципе жизнеспособна, она дает стране возможность развиваться. Мы действительно*

против любых острых потрясений, действительно за плавную эволюцию, при сохранении стабильности. Это не просто лозунг, это точная констатация».⁴³³ Как мы видим, Гайдар стремился создать возглавляемой им партии «Выбор России» имидж принципиальной противницы «великих потрясений», объясняя радикализм имевших место перемен исключительно стечением обстоятельств. Той же логики придерживался и Б.Н. Ельцин. Он тоже списывал крайности реформ на чрезвычайные обстоятельства, возникшие по вине союзного руководства (*страна «стояла перед угрозой полного разрушения экономики. Ее либерализация в начале 1992 года была не плановой хирургической операцией, а срочной реанимацией»*),⁴³⁴ и подчеркивал мирный характер перемен (*«...нельзя не признать – это первые в истории России преобразования такого масштаба, осуществляемые без подавления и уничтожения политических противников»*).⁴³⁵ Таким образом, не отрицая радикализма «реформ» (но подчеркивая его вынужденный характер), властвующая элита делала упор на то, что они не были сопряжены с насилием. Конечно, дело обстоит не совсем так, ибо имел место штурм Белого дома и инициированная федеральной властью первая чеченская война; однако нельзя не признать, что трансформация советского режима не повлекла за собой полномасштабную гражданскую войну и политический террор – в немалой степени потому, что опыт революции 1917 года побуждал властвующую элиту помнить об этой опасности.

Все это не мешало оппонентам использовать слово «революция» как обвинение против реформаторов. Разделяя «систему координат», в которой «реформа» наделялась положительным содержанием, а «революция» – отрицательным, они не сводили различие между ними к степени радикальности перемен и фактору насилия, а трактовали его шире. Например, авторы коллективного документа «Общенациональная идея – важнейший фактор преобразований в России и консолидации общества», опубликованного в одном из ведущих журналов

⁴³² Зорькин В. Указ. соч.; ср. Зюганов Г.А. Россия и современный мир.

⁴³³ Гайдар Е. От выборов нельзя уйти или спрятаться. Их надо выиграть // Известия. 1995. № 64 (24423). 7 апреля.

⁴³⁴ Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе».

⁴³⁵ Там же.

«народно-патриотической оппозиции», доказывая, что происходящее в СССР и России с конца 1980-х гг. является революцией, а не реформой, писали: *«Но реформы тем и отличаются от революций, что они проводятся с согласия общества, в условиях общегражданского мира, в обстановке стабильности и порядка... Когда общество проводит реформы, каждый что-то теряет, но и приобретает; в революции, напротив, одни приобретают, а другие только теряют. В реформах заинтересованы самые разные слои общества, а революции совершаются в интересах какого-то класса или клана, выдающих свой частный интерес за всеобщий»*. Из этих соображений делался вывод, с которым, как мы видели выше, был вполне согласен и Е. Гайдар: *«Проблема сегодня состоит в том, чтобы идущий революционный процесс ввести в русло эволюционного и цивилизованного развития, в строго правовые рамки»*.⁴³⁶

Очевидно, что введение процесса в «эволюционное и цивилизованное» русло оппоненты видели по-разному. Как мы помним, властвующая элита тоже охотно использовала «революционную» тему во время президентской кампании 1996 г., убеждая избирателей, что приход к власти Зюганова неизбежно ввергнет страну в «еще одну разрушительную революцию».

Постфактум некоторые публицисты из «демократического» лагеря находили нежелание власти признать революционный характер «реформ» ошибкой. Как писал Л. Опенкин, *«миф о реформах деморализовал общество. Искажая шкалу оценок, он породил такие надежды и ожидания, которых... не должно быть при трезвом взгляде на то, что реально происходит в стране»*, ибо *«люди невольно проникаются надеждой, что реформирование общества сделает его в самое ближайшее время еще более совершенным, способным изменить жизнь к лучшему. (...) Пора перестать лукавить и честно признать: многочисленные российские катаклизмы последних лет — это естественное, причем далеко не самое худшее, состояние общества, неминуемо возникающее в моменты революционных переворотов»*.⁴³⁷ Активный участник процесса подготовки новой Конституции

М. Краснов, анализируя события 1993 г., впоследствии находил, что этот «трагический конфликт» был отчасти обусловлен тем, что «все молчаливо согласилось наложить табу даже на само слово “революция”»: *«В силу непонимания или нежелания понимать глубинный смысл событий, — писал он, — так и не произошла естественная для любой революции череда действий: официальный разрыв с предшествующей государственной системой; роспуск законодательных органов, сформированных в принципиально иных политических и идеологических условиях и сохранивших все родовые признаки прежней системы; выборы учредительного органа (Учредительного собрания. Конституционного конвента и т.п.); наконец, принятие этим учредительным органом Конституции России и проведение на ее основе всеобщих выборов всех органов власти. Вместо этого в государственно-правовой сфере процесс приобрел по форме эволюционный характер..., который, естественно, вошел в противоречие с революционным содержанием — сменой государственного и общественного строя»*.⁴³⁸ Эти наблюдения безусловно справедливы: действительно, определение начатых преобразований в качестве «реформ»⁴³⁹ имело не только позитивные символические последствия. Однако нельзя согласиться, что выбор этого термина был ошибкой. При наличии столь впечатляющего негативного консенсуса относительно «революции» вряд ли можно было использовать это понятие для мобилизации поддержки и без того обреченного на непопулярность политического курса. Напротив, обещание хотя и болезненных, но быстрых «реформ» имело шансы на успех — по крайней мере, вначале. Тем не менее этой символической мерой нельзя было предотвратить последующее переопределение «реформ»: когда постфактум они были признаны «революцией», это повлекло за собой перенос негативных

⁴³⁸ Краснов М. Мы проснулись в другой стране // Российская газета. 2001. № 160 (2772). 18 августа.

⁴³⁹ Как верно заметил Б.Г. Капустин, «революция» — «это культурный конструкт»; его определение зависит как от «произвола наблюдателей, провозгласивших себя “экспертами”», так и от «устойчивых историко-культурных традиций», в рамках которых мыслится это понятие. Поэтому «борьба за “символическую власть” есть то, что релятивизирует концепт “революции”». Капустин Б.Г. О предмете и употреблении понятия «революция» // Логос. 2008. № 6. С. 13. Рассматриваемый здесь случай — хорошая тому иллюстрация.

⁴³⁶ Общественная идея...

⁴³⁷ Опенкин Л. Река времени вспять не течет // Российская газета. 1996. № 107. 7 июня.

коннотаций слова, закрепившихся в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Как ни странно, «лихие девяностые» прошли под знаком риторического неприятия «революции». В этом отношении властвующая элита и оппозиция были вполне едины – что, однако, не мешало им использовать данное понятие как инструмент критики друг друга. Поэтому когда председатель правительства и без пяти минут и.о. президента России В.В. Путин написал в своей программной статье: *«Россия исчерпала свой лимит на политические и социально-экономические потрясения, катаклизмы, радикальные преобразования. Только фанатики или глубоко равнодушные, безразличные к России, к народу политические силы в состоянии призывать к очередной революции»*,⁴⁴⁰ – он посылал обращение, способное вызвать поддержку практически во всех сегментах политического спектра. Идея была не нова – ее, как заклинание, не раз высказывали политики, стоявшие по разные стороны идеологических баррикад. Тем не менее то, что до сих пор служило средством самопрезентации или дискредитации противников, в исполнении «преемника» уходящего президента было воспринято как обещание «стабилизации». Смена политического лидера побуждала рассматривать «рубеж тысячелетий» как новый этап, разделяющий историю постсоветской России на «до» и «после», что создавало предпосылки для политической «перезагрузки».

«Нормализация» советского прошлого: технологии символической политики 2000-х гг.

Действительно, приход В.В. Путина к власти сопровождался изменениями в символической политике. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х гг., он мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми для Ельцина. Первым шагом в этом направлении стало принятие в 2000 г. федеральных конституционных законов о государственных символах России, утвердивших трехцветный романовский флаг, взятый на вооружение «демократическими» силами в дни августовского путча 1991 г., герб с дву-

главым орлом – символ империи Романовых, и гимн с новыми словами, положенными на «старую» советскую мелодию. Аргументируя этот компромисс, Путин осуждал позицию тех, кто «предельно идеологизирует» эти символы государства и связывает с ними исключительно «мрачные стороны в нашей истории». По словам президента, *«если мы будем руководствоваться только этой логикой, тогда мы должны забыть и достижения нашего народа на протяжении веков. Куда мы с вами тогда поместим достижения русской культуры? Куда мы денем Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского? Куда мы денем достижения русской науки – Менделеева, Лобачевского и многих, многих других? А их имена, их достижения тоже были связаны с этими символами. И неужели за советский период существования нашей страны нам нечего вспомнить, кроме сталинских лагерей и репрессий? Куда мы тогда с вами денем Дунаевского, Шолохова, Шостаковича, Королева и достижения в области космоса? Куда мы денем полет Юрия Гагарина? А как же блестящие победы русского оружия со времен Румянцева, Суворова и Кутузова? А как же победа весной 1945 года? Я думаю, что если мы подумаем обо всем этом, то мы признаем, что мы не только можем, но и должны использовать сегодня все основные символы нашего государства»*.⁴⁴¹

Приведенный Путиным список национальных достижений, которые не должны быть забыты, складывался из трех категорий: а) заслуги великих соотечественников на почве культуры и науки, получившие мировое признание, б) военные победы прошлого, в ряду которых особое место занимает победа в Великой Отечественной войне, в) достижения в области освоения космоса. Все эти категории соответствуют фрейму «национальной славы». Однако, будучи «взяты» из разных исторических эпох, которые в существовавших до сих пор официальных нарративах (разных версиях советского и ельцинском) описывались в логике противопоставления друг другу, они не были связаны «очевидной»⁴⁴² смысловой

⁴⁴⁰ Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря.

⁴⁴¹ Путин В.В. Не жечь мостов, не раскалывать общество // Российская газета. 2000. № 233 (2597). 6 декабря.

⁴⁴² Анализируя алгоритм конструирования исторических нарративов, Е. Топольски пришел к выводу, что историки используют не только знание фактов, но и воображение, помогающее им создавать логически последовательные образы

схемой. То же можно было сказать о наборе утвержденных по инициативе Путина государственных символов. Как заметил один из комментаторов, «Путин по существу провозгласил доктрину тотальной преемственности, в которой должны соединиться и царские, и советские, и «демократические» ценности».⁴⁴³ «Доктрина тотальной преемственности» несомненно знаменовала новый подход к политическому использованию прошлого: вместо решения дилемм, с которыми неизбежно связано конструирование целостного нарратива, был взят курс на выборочную «эксплуатацию» исторических событий, явлений и фигур, соответствующих конкретному контексту. Такой поход позволял успешно выполнять тактические задачи (что в условиях жесткой идеологической конфронтации было немаловажно), однако он не решал стратегической проблемы замещения «советского метанарратива» новой смысловой схемой, объясняющей связь между прошлым, настоящим и будущим. Как сформулировал это А.Миллер, «возникла крайне противоречивая конструкция, которая держалась... на умолчании о проблемах и ответственности».⁴⁴⁴ Кроме того, выбранный подход плохо стимулировал стратегические «инвестиции» в развитие «инфраструктуры» коллективной памяти.

Роль интегратора положительных символов, способных служить опорой коллективной идентичности, стала играть идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России. В новом официальном дискурсе именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего макрополитическую идентичность. Идея «сильного госу-

дарства» как основы былого и будущего величия России была ясно сформулирована Путиным в 2003 г.: *«Хотел бы напомнить: на всем протяжении нашей истории Россия и ее граждане совершали и совершают поистине исторический подвиг, – говорил он в послании Федеральному Собранию. – Подвиг во имя целостности страны, во имя мира в ней и стабильной жизни. Удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире – это не только огромный труд. Это еще и огромные жертвы, лишения нашего народа»*.⁴⁴⁵

Естественным следствием этих изменений в модели коллективной идентичности, поддерживаемой властью, стала переоценка советского прошлого. Путин определил свою позицию на этот счет уже в начале своей первой президентской кампании. В упоминавшейся выше статье «Россия на рубеже тысячелетий» он писал: *«Было бы ошибкой не видеть, а тем более отрицать несомненные достижения того времени»,* – а ниже в духе «демократического» дискурса 1990-х гг. добавлял: *«Как ни горько признаваться в этом, но почти семь десятилетий мы двигались по тупиковому маршруту движения, который проходил в стороне от столбовой дороги цивилизации»*.⁴⁴⁶ Таким образом, принимая ельцинский нарратив, он отказывался от принципа тотального отрицания советского опыта, определявшего символическую политику начала 1990-х гг.

Новая смысловая схема коллективного прошлого оформлялась постепенно. Решительный разрыв с прежней, ельцинской моделью обозначился лишь в начале второго президентского срока Путина, когда в послание Федеральному Собранию 2005 г. были включены известные слова о распаде СССР как *«крупнейшей геополитической катастрофе века»*.⁴⁴⁷ Они явно противоречили оценке, многократно озвученной Ельциным (ср.: *«Советский Союз рухнул под*

прошлого, которые доступны восприятию аудитории, т.е. отвечают «чувству очевидности». «Это не значит, – уточняет он, – что реципиент должен соглашаться с предлагаемой историком интерпретацией, но он должен распознавать нарратив как разумный и заслуживающий принятия во внимание». Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999. Vol. 38. № 2. P. 205. По-видимому, это наблюдение с еще большим основанием можно отнести к нарративам, являющимся элементами политической риторики, поскольку их сжатый формат оставляет мало возможностей для аргументации.

⁴⁴³ Васильков Ю. Третий путь в XXI век // Российская газета. 2000. № 241 (2605). 22 декабря.

⁴⁴⁴ Миллер А.И. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А.Миллера, М.Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 331.

⁴⁴⁵ Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». 2003. 16 мая. Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259_type63372type63374type82634_44623.shtml.

⁴⁴⁶ Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий.

⁴⁴⁷ Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». 2005. 25 апреля. Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml.

тяжестью всеобъемлющего кризиса, разорванный на куски экономическими, политическими и социальными противоречиями».⁴⁴⁸ Интерпретация распада СССР (который де-факто был актом рождения нового Российского государства) как случайной катастрофы, спровоцированной действиями злонамеренных политиков, хорошо вписывалась в концепцию «тысячелетней» великой державы. Однако она полностью противоречила прежнему официальному нарративу, который представлял крах «тоталитарного» коммунистического режима как историческую необходимость и подчеркивал принципиальную новизну выбора, сделанного в начале 1990-х гг.

Вместе с тем, «реабилитация» советского в официальной символической политике происходила избирательно: наиболее одиозные моменты были исключены из репертуара «используемого» прошлого. В выступлениях Путина можно обнаружить немало критических замечаний в адрес советского опыта; описываемые изменения дискурса не означали тотальной апологии. История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая несмотря на все трудности смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Как заметил И.Калинин, мы имеем дело с «политикой, направленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого «советское», будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого... культурного наследия».⁴⁴⁹ Примечательно, что сходная редукция «актуальной» памяти имела место в массовом сознании. Согласно наблюдениям социологов Левада-Центра, «символическое примирение» с советским прошлым в конце 1990-х – начале 2000-х гг. сопровождалось «декоммунизацией» советских символов, которые «теперь связаны в общественном сознании не с коммунистической партией, ее руководством, тоталитарной пропагандой и т.п., а с идеализированным образом

коллективного существования «всего народа»».⁴⁵⁰ Очевидно, что такая трансформация коллективной памяти – следствие времени.

В этом контексте теоретически были возможны разные подходы к работе с символом Октябрьской революции: как мы видели на примере «народно-патриотического» дискурса, потенциал «великого события» вполне мог быть использован в качестве строительного материала для «государственнического» нарратива – особенно с учетом вышеупомянутой операции перекодирования. В публицистике того времени не было недостатка в предложениях именно такого варианта «использования» Октября. Одни авторы подчеркивали международный потенциал этого символа: *«Впервые Россия (СССР) явился лишь временной формой ее существования) в огромной степени влияла на умонастроения в глобальном масштабе. Она предлагала свою модель развития (именно российскую, а не интернационально-коммунистическую) в качестве образца всему миру. Впервые был брошен нештучный вызов абсолютной ценности западноевропейского опыта для остального человечества»*.⁴⁵¹ Другие интерпретировали Октябрьскую революцию как событие, предотвратившее «распад России» и сохранившее ей «статус великой державы, а не «чистого листа бумаги», как того хотел в 1918 году американский президент Вильсон, сводивший в то время границы России “к средне-русской возвышенности”».⁴⁵² Многие выступали с предложением вернуть прежнее название праздника. Как писал один из авторов «Российской газеты», *«нам нет резона стыдиться этого вселенского потрясения, которое в последнее время кое-кто низводит до уровня “большевистского переворота”»*, поэтому те, кто *«предлагает забыть о нем, как о некоей беспричинной семейной склоке, объявив годовщину Октябрьской революции “Днем согласия и примирения”»*, лишают Россию ее истории.⁴⁵³ Эти и другие подобные публикации были ответом на изменения символической политики, обозначенные первыми шагами

⁴⁴⁸ Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе».

⁴⁴⁹ Kalinin I. Nostalgic Modernization: the Soviet Past as “Historical Horizon” // Slavonica. 2011. Vol. 17. № 2. P. 157.

⁴⁵⁰ Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. 2011. № 5 (53). С. 18-19.

⁴⁵¹ Никонов В. Российский век // Известия. 1999. 28 декабря.

⁴⁵² Константинов С. Октябрьская революция была неизбежна // Независимая газета. 2000. №211 (2273). 5 ноября.

⁴⁵³ Васильков Ю. Третий путь в XXI век; ср.: Константинов С. Октябрьская революция была неизбежна.

Путина на посту президента: казалось, что признание «несомненных достижений» советской эпохи открывает возможность для изменения официальной интерпретации Октября.

Собственно, реализуя «доктрину тотальной преемственности» путинская властвующая элита шла по стопам КПРФ, которая в начале 1990-х трансформировала советский нарратив, сделав историю СССР своеобразной кульминацией «тысячелетней истории» русского народа. Правда, сама по себе версия, разработанная «народно-патриотической оппозицией», не подходила на роль официального нарратива, поскольку она была построена по модели мифа об утраченном «золотом веке»,⁴⁵⁴ т.е. воспроизводила смысловую схему, в которой [печальное] настоящее противопоставлялось [прекрасному] прошлому, чтобы мобилизовать сообщество на перемены ради [светлого] будущего. Такая схема была удобна для оппозиции, но не для властвующей элиты, которой было важно оправдать настоящее. Тем не менее пересказывание советского прошлого «патриотическим языком общего наследия»⁴⁵⁵ в принципе позволяло не только «забыть» о его «неудобных» страницах, но и переосмыслить символ Октября как — пусть не кульминационный, но все же «великий» — эпизод «тысячелетней истории». Это не слишком выбивалось бы из общей эклектической конструкции «тысячелетней истории».

Однако этого не произошло, новая властвующая элита предпочла продолжить демонтаж «инфраструктуры» коллективной памяти о революции, окончательно отменив в 2004 г. посвященный ей праздник. В начале 2000-х гг. федеральные и московские власти пытались экспериментировать с форматами празднования 7 ноября, именовавшегося теперь Днем согласия и примирения. В 2000 г. в этот день помимо традиционных демонстраций и митингов левых сил на Васильевском спуске прошла молодежная акция движения «Идущие вместе», посвященная президенту Владимиру Путину, а на Ордынке открыли памятник Анне Ахматовой. В 2001 г. 7 ноября проходил торжественный парад на Красной площади, посвященный 60-летию парада 1941 г.; а во

второй половине дня в тот же день члены общероссийской молодежной общественной организации «Идущие вместе» проводили акцию по очистке города от мусора. В 2003 году праздник проходил незадолго до думских выборов, и был отмечен мероприятиями не только левых, но и правых сил. Однако эти эксперименты не имели продолжения, и единственным устойчивым ритуалом праздника оставались мероприятия левых.

В конце 2004 г. в результате внесения поправок в Трудовой кодекс 7 ноября перестало быть нерабочим праздничным днем. «Вместо него» появился новый государственный праздник — День народного единства 4 ноября, весьма условно приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г.⁴⁵⁶ Инициатором «замены» был Межрелигиозный Совет России, объединяющий так называемые традиционные конфессии. Согласно заявлению главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Кирилла, Совет предложил «сделать 4 ноября Днем согласия и примирения, потому что 7 ноября в силу исторических событий, произошедших в этот день, не может быть Днем примирения и согласия».⁴⁵⁷ Однако властвующая элита решила, приняв предложение о переносе праздника на 4 ноября, придать ему другое название и содержание. Коммунисты выступали против этой инициативы, но остались в меньшинстве. Позже, 6 июля 2005 г. по предложению думского комитета по труду и социальной политике были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 7 ноября стало памятной датой в

⁴⁵⁶ Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года // Отечественные записки. 2004. № 5 (20). С. 85-99. По единодушному мнению комментаторов и исследователей, «замену» нельзя назвать удачной. «Авторам» нового праздника так и не удалось укоренить его в практиках и ритуалах, способных вызвать общественный резонанс; его смысл остается непонятным и для элит, и для широкой публики. См.: Ефремова В.Н. День народного единства: Изобретение праздника // Символическая политика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 286-261. Оставшийся «ничейным» праздник оказался эффективно использован лишь организаторами традиционно проходящих в этот день «Русских маршей».

⁴⁵⁷ Митрополит Кирилл полагает, что 7 ноября нельзя праздновать «День примирения и согласия». Режим доступа: http://www.otechestvo.org.ua/vesti/2004_10/v_29_02.htm

⁴⁵⁴ См. Schöpfli G. Op. cit.; Smith A. Myths and memories of the nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.

⁴⁵⁵ Kalinin I. Op. cit. P. 159.

формулировке «День Октябрьской революции 1917 года» (кроме того, этот день остается и днем воинской славы – Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год))⁴⁵⁸ Таким образом, в итоге реформы праздничного календаря 7 ноября вновь стало Днем Октябрьской революции (правда, уже не «великой» и «социалистической»), а ельцинский вариант названия праздника оказался отвергнут.

Возникает вопрос: почему в середине 2000-х гг., как и в начале 1990-х, властвующая элита предпочла «отбросить» символ Октябрьской революции, вместо того, чтобы работать над его трансформацией? Кажется бы, взятый на вооружение принцип «тотальной преемственности» открывает возможность для интеграции этого по общепринятым меркам «великого» события, несомненно значимого с точки зрения конструирования российской идентичности, в обновленный национальный нарратив. Правдоподобным представляется объяснение В. Иноземцева, который обратил внимание на то, что решение о «замене» праздника было принято 29 декабря 2004 г. – через три дня после завершения украинской оранжевой революции. «Смысл, судя по всему, заключался в том, – пишет Иноземцев, – что любая революция – это плохо и даже ужасно, любое противостояние коварным замыслам Запада – это хорошо и обнадеживающе, а единение народа с последующим избранием самодержца и основанием новой династии – и вовсе замечательно...».⁴⁵⁹ Это объяснение подкрепляется и приведенными выше наблюдениями относительно использования слова «революция» российской политической элитой.

Возможно, сыграли свою роль и личные взгляды В.В. Путина, который никогда не выказывал особой симпатии Октябрь-

ской революции. В 1999 г., еще в ранге председателя правительства, он выступил в МГУ с актовой речью, посвященной урокам завершающегося XX века. В этом выступлении, носившем не программный, а скорее «тренировочный» характер (недавно назначенный премьер набирал очки в публичных коммуникациях), Путин говорил о революции как о событии, которое учит, чего следует избегать ответственным политикам: *«Почему в стране произошла революция 1917 года, или, как ее еще называют, октябрьский переворот?»* – спрашивал он. – *«Да потому, что было утрачено единство власти... А также потому, что материальное благосостояние основной массы населения опустилось ниже низшего предела»*.⁴⁶⁰ Разделяя, по-видимому, негативное отношение к «революциям», свойственное значительной части политической элиты 1990-х гг. Путин ни слова не сказал о значении Октября для истории XX века, хотя тема к этому, казалось бы, располагала. В дальнейшем, в своих публичных выступлениях уже в качестве президента, он предпочитал не вспоминать о революционных истоках советского опыта. Судя по всему, квалификация событий 1917 г. как «октябрьского переворота» не противоречит личным представлениям Путина. Во всяком случае, именно в таком духе он рассуждал на встрече с членами Совета Федерации 4 июля 2012 г., отвечая на предложение подумать о коммеморации 100-летия начала Первой мировой войны. Горячо поддержав эту инициативу, Путин, по видимости, экспромтом стал объяснять, почему эта война оказалась «забытой». По его версии, это произошло *«не потому, что ее обозвали империалистической», а потому, что «тогдашнее руководство страны» предпочитало не вспоминать о собственном «национальном предательстве»*, определившем ее исход для России.⁴⁶¹ Правда, Путин тут

⁴⁵⁸ Федеральный Закон от 13 марта 1995 г. № 31-ФЗ. Впрочем, эти переименования 7 ноября остались малозаметными для широкой публики и даже для многих журналистов. Забавно, что в 2012 г. журналист «Новых известий» уверял читателей, что 7 ноября «последние 16 лет считается не Днем Великой Октябрьской социалистической революции, как в советское время, а Днем согласия и примирения». Кузнецов А. Загадочный выходной. Россияне не понимают, что они отмечают 4 ноября // Новые известия. 2012. № 198. 1 ноября. Большее символическое значение имела «замена» праздника.

⁴⁵⁹ Иноземцев В. Раздвоение сознания // Независимая газета. 2012. № 232 (5719). 7 ноября.

⁴⁶⁰ Путин В. В. Куда двигаться дальше. Из актовой лекции председателя Правительства В.В. Путина в МГУ // Российская газета. 1999. № 171. 13 ноября.

⁴⁶¹ Лидер коммунистов Г.А.Зюганов опроверг на партийном сайте заявление Путина о «национальном предательстве» большевиков, предложив свою версию событий, согласно которой в неудачах России в Первой мировой войне и падении империи виноват «кризис царизма и вырождение династии Романовых». Большевики, по мнению Зюганова, не имеют отношения к распаду страны – напротив, *«Гражданская война... быстро приобрела характер национально-освободительной», и, победив, они «они буквально в считанные годы заново собрали воедино подавляющую часть государства российского, обеспечив ему такое*

же уточнил, что *большевистское руководство «искупило свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной»*.⁴⁶² Очевидно, что при такой постановке вопроса Октябрьская революция вряд ли может рассматриваться как «великое событие», которым следует гордиться – скорее это момент трагического «срыва», «исправленный» последующим ходом истории.

Отмена праздника 7 ноября способствовала понижению актуальности этого события в репертуаре политически используемого прошлого, однако не прекратила споры о бывшем «главном событии XX века». По мере увеличения временной и семантической дистанции между «советским» и «постсоветским» символ Октября все реже используется в режиме прямых ассоциаций. Включаясь в обсуждение событий 1917 года (как правило, по случаям уже не ежегодных, а юбилейных коммемораций), политики озабочены конструированием «удобных» для них смысловых схем коллективного прошлого; символ революции уже не столь актуален в качестве инструмента оправдания или критики текущего политического курса.

Следствием этого стало очевидное расширение спектра интерпретаций Октябрьской революции как «великого события», выполненных с разных идеологических позиций. Эта тенденция особенно заметна при сравнении юбилейных публикаций политиков и публичных интеллектуалов в 2007 г. и 1997 г. Если «коммунистическая» версия не претерпела особых изменений – большая часть юбилейного выступления Г.Зюганова в 2007 г. была дословным повторением его текста 1997 г.,⁴⁶³ – то «социал-демократическая» получила развитие благодаря появлению претендующей на эту идеологическую нишу «Справедливой России». Лидер этой партии С.М.Миронов опубликовал в «Российской газете» большую статью, в которой критиковал и коммунистов, и либералов, и ано-

нимных представителей власти, которым хочется, «чтобы общество забыло об Октябре 17-го». Отвергая мнение, что революция была «исключительно детищем большевиков», Миронов представлял ее как вынужденный ответ на вызов глобализации, поставивший многие страны перед выбором – «либо находить способы догоняющего развития, форсированной модернизации и политической трансформации, либо смириться с проигрышем, со своей второстепенной ролью».⁴⁶⁴ Выводя «уроки» из предпосылок революции («когда жизнь требует заниматься модернизацией страны, крайне опасно затягивать этот процесс, откладывать на потом», опасно накапливать культурный и социально-экономический разрыв между «правлящим слоем» и народом и т.п.), лидер «Справедливой России» вместе с тем не разделял негативной оценки Октября. Интерпретируя революцию с точки зрения истории народа, а не государства, он утверждал: «...Отнюдь не тоталитарный режим был главным источником всех лучших достижений советской эпохи, которыми мы можем и должны гордиться сегодня. Этим источником была именно энергия «разжавшейся пружины» народного порыва к достойной и справедливой жизни».⁴⁶⁵ Отмечая несомненные достижения советского режима в деле модернизации, он признавал, что «цена всего этого в результате деятельности тоталитарного режима оказалась ужасной» и что в конечном счете «режим... завел страну в новые тупики».⁴⁶⁶ Этот нарратив идеально соответствовал задаче обоснования заявленной политической цели возглавляемой Мироновым партии – движению к «социализму XXI века».

Вместе с тем, и на «патриотическом» фланге соперничали разные интерпретации, ставящие во главу угла «русский народ» или «государство». Примером первого подхода может служить позиция Н. Нарочницкой, которая призывала «отделить рассмотрение революции от анализа советского периода истории», «проект» – от «итога приспособления этого проекта к русской почве». Рассматривая историю XX века с позиций русского национализма,

экономическое, социальное и культурное единство, которого наша страна никогда не знала прежде». Зюганов Г.А. «Не Ленин со Сталиным» // Персональный сайт Г.А. Зюганова. 24.07.2012. Режим доступа: <http://www.zyuganov.kprf.ru/news/ne-lenin-so-stalinym>

⁴⁶² Путин В.В. Ответы на вопросы членов Совета Федерации // Портал «Президент России». 27.06.2012. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15781/work>

⁴⁶³ Зюганов Г.А. Дело Октября снова побеждает! // Правда. 2007. № 122. 2 ноября.

⁴⁶⁴ Миронов С. Октябрь 17-го: уроки без забвения // Российская газета (Федеральный выпуск). 2007. № 4506. 31 октября.

⁴⁶⁵ Там же.

⁴⁶⁶ Там же.

Нарочницкая предлагала «признать огромную драматическую значимость советского периода истории», отделяя его от Октябрьской революции, которая «была сознательным чудовищным погромом русской государственности “до основания”». Согласно ее интерпретации, «дух Мая 1945-го... в значительной мере обезвредил разрушительный и антирусский пафос ниспровержения. Великая Отечественная война востребовала национальное чувство, подорванное «пролетарским интернационализмом», и восстановила, казалось бы, навек разорванную нить русской и советской истории».⁴⁶⁷ Нельзя не заметить, что эта смысловая схема вполне соответствовала официальной практике коммеморации советского прошлого: упорно отказываясь работать с символом Октября 1917 г., властвующая элита стремилась превратить в «миф происхождения» современной России Великую Отечественную войну,⁴⁶⁸ нагружая этот символ новыми смыслами.

Впрочем, как показала дискуссия, апология Октября была возможна и в рамках «националистической» версии «патриотического» подхода. Если исходить из того, что революция предотвратила «втягивание страны в мировую капиталистическую систему на правах периферийной зоны», а советский проект рассматривать как способ вырваться из этой «исторической ловушки», то в большевиках можно увидеть силу, «выбранную» (в мистическом смысле) народом и «в наибольшей степени соответствующую его убеждениям», как это предлагал делать С. Кара-Мурза.⁴⁶⁹

С точки же зрения «государственнической» версии «патриотического» подхода возвеличивание революции и вовсе не представляло трудности при условии, что большевики представляются политической силой, ответственной за «восстановление» России, а не за ее распад (вина за последний возлагается на царя и Временное правительство). Например, согласно образной интерпретации главного редактора газеты

«Завтра» А. Проханова, «Октябрьская Революция – это промыслительный рывок, которым гибнущая в пучине Россия была выхвачена из бездны и возвращена в историю, пусть в виде «красного проекта», в образе Сталинской Империи. Вершиной этой Империи была Победа сорок пятого года, небывалая точка в эволюции человечества, сравнимая с Рождеством Христовым».⁴⁷⁰ Менее красочно ту же схему воспроизводил и Г. Зюганов.⁴⁷¹

Были и публикации, предлагавшие более взвешенный подход, сочетающий критическую оценку Октября с признанием его величия. К примеру, по определению В.Третьякова, «это была Великая революция. Великая абсолютно по всем параметрам и по всем своим последствиям», поэтому к ее оценке нельзя подходить с позиций тотальной апологетики или огульной критики. По словам главного редактора «Московских новостей», «большой террор хоть, безусловно, и значительно обесценивает Великую революцию, но не может обесмыслить ее полностью».⁴⁷² Но были и публикации, интерпретировавшие события 1917 года как «переворот». Например, в редакционной статье «Независимой газеты» бесстрастный перечень несчастий и достижений СССР завершался констатацией финальной неудачи «дела Октября» («Стало очевидно, что революция 17 года на самом деле была переворотом. Ведь принципы настоящей революции, подобно Французской, необратимы»)⁴⁷³.

Таким образом, и в 2007 г. разброс оценок Октябрьской революции сохранялся. Однако страсти заметно поутихли, и стало заметно больше интерпретаций, встраивающих данный символ в нарративные схемы разной идеологической направленности.

«Октябрьский переворот» или «Великая российская революция»?

В 2012-2013 гг. тема революции вновь стала предметом общественных дискуссий – не только из-за июльской полемики Путина

⁴⁶⁷ Нарочницкая Н. Революция: до основания, а зачем? Интервью Б.Кроткова с Н. Нарочницкой // Российская газета. (Неделя). 2007. № 4508. 1 ноября.

⁴⁶⁸ Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 163-164.

⁴⁶⁹ Кара-Мурза С.Г. Это была патриотическая революция. Профессор С. Кара-Мурза в диалоге с обозревателем «Правды» В. Кожемяко // Правда. 2007. № 116. 19-22 октября.

⁴⁷⁰ Проханов А. Великая Октябрьская Владимиропутинская революция // Завтра. 2007. № 45 (729). 7 ноября.

⁴⁷¹ Зюганов Г.А. Дело Октября снова побеждает!

⁴⁷² Третьяков В. 1917, 1937, 1957, 2007, 2017 // Московские новости. 2007. № 43. 2 ноября. С. 3.

⁴⁷³ 90 лет Октябрьскому перевороту // Независимая газета. 2007. № 237 (4199). 7 ноября. С. 2.

и Зюганова о «национальном предательстве» большевиков и отмечавшегося в 2012 г. 95-летия Октября, но и в связи с подготовкой Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Ее разработка была инициирована В.В.Путиным в феврале 2013 г. на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Для выполнения этого задания, порученного Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Российской академией наук, была создана рабочая группа под руководством спикера Государственной Думы и председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина, в состав которой вошли историки, общественные деятели и учителя истории. Работа комиссии, протекавшая в режиме экспертных дискуссий, вызывала живой интерес у СМИ и сопровождалась множеством спекуляций. 31 октября 2013 г. на суд заказчика был представлен итоговый документ, в котором, помимо прочего, была предложена новая формула событий 1917 года – «Великая российская революция 1917-1921 гг.».⁴⁷⁴ По аналогии с Французской революцией авторы Концепции решили раздвинуть хронологические рамки, представив Великую российскую революцию как долгий процесс, в котором следует выделять февральский, октябрьский этап и закончившуюся в 1921 г. Гражданскую войну.

Таким образом, незадолго до 100-летнего юбилея Октября идея «великой революции» в обновленной формулировке оказалась «возвращена» в одобряемую государством смысловую схему отечественной истории. Это не прекратило общественные дискуссии по поводу мифа основания советского общества – новое определение событий 1917-1921 г. вызывает возражения у части коммунистов и русских националистов. Тем не менее на основе представленного выше анализа динамики интерпретации символа Октября в постсоветском политическом дискурсе можно предположить, что формула «Великой российской революции» способна вписаться в широкий спектр идеологических конструкций, представленных на современном «рынке идей». В конечном итоге «успех» данной инновации у взрослой аудитории зависит от того,

насколько систематически она будет использоваться и продвигаться политической, медийной и культурной элитой. И здесь многое будет определяться готовностью «авторов» государственной символической политики и лично президента Путина воспринять инновацию, предложенную созданной по его инициативе комиссией.

Судя по недавним речам президента, определенности в данном вопросе пока не достигнуто. С одной стороны, на встрече с авторами концепции нового учебника истории 16 января 2014 г., ставя задачу подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Февральской и Октябрьской революций, Путин отмечал: *«Эти даты имеют большое общенациональное значение, причем все из них, какие бы оценки мы им ни давали, но это факт»*.⁴⁷⁵ С другой стороны, выступая 1 августа 2014 г. на открытии памятника героям Первой мировой войны, президент фактически воспроизвел озвученную им двумя годами историю об «украденной победе» и «национальном предательстве» тех, *«кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы»*, т.е. большевиков.⁴⁷⁶ Очевидно, что в контексте украинского кризиса и санкций со стороны Запада тема борьбы с «национальными предателями» приобретает особую актуальность. Таким образом, пока трудно сказать, чему будет отдано предпочтение – политической конъюнктуре или стратегической задаче формирования репертуара исторических символов, способных служить основой национальной идентичности.

Ретроспективный анализ опыта политического использования Октябрьской революции в постсоветском контексте позволяет сделать вывод, что стратегия частичной реинтерпретации события, игравшего центральную роль в «старом» нарративе коллективного прошлого и основательно укорененного в сложившейся «инфраструктуре» памяти, имеет гораздо больше шансов на успех, нежели стратегия

⁴⁷⁴ Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М. 2013. Режим доступа: http://rushiistory.org/wp-content/uploads/2013/11/2013.10.31-Концепция_финал.pdf. С. 46.

⁴⁷⁵ Путин В.В. Выступление на встрече с авторами концепции нового учебника истории // Портал «Президент России». 2014. 16 января. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/20071>

⁴⁷⁶ Путин В.В. Выступление на открытии памятника героям Первой мировой войны // Портал «Президент России». 2014. 1 августа. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/46385>

его радикальной переоценки и понижения символического статуса. Последняя не только требует единства воли и привлечения значительных ресурсов (что сложно обеспечить в условиях столь масштабной трансформации), но и создает дополнительные политические риски, отдавая «готовый» к употреблению символический ресурс в безраздельное пользование оппозиции. Как я попыталась показать, возможность использования первой стратегии теоретически существовала (хотя с учетом особенностей векторов символической политики и общего политического контекста, в 1990-х гг. реализовать ее было сложнее, нежели в 2000-х гг.). Однако она не была взята на вооружение властвующей элитой. Объяснения этого, по-видимому, следует искать, с одной стороны, в особенностях идеологических кон-

струкций, служивших для легитимации политического курса, а с другой – в субъективных предпочтениях лиц, принимавших решения. Вместе с тем, если в 1990-х гг. переоценка символа Октябрьской революции происходила в условиях жесткого противостояния власти и оппозиции, то в 2000-х гг. сформировался более широкий спектр позиций, что открывает более благоприятную перспективу для его интеграции в национальный нарратив в качестве «великого» и драматического события, которое не может оцениваться однозначно. Этому способствовал не только естественный процесс избирательного «забывания» советского прошлого, но и политические изменения 2000-х гг. – ослабление оппозиции, установление частичного контроля над СМИ и «нормализация» советского прошлого.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Абросимова Т.А. Социалистическая идея в массовом сознании в 1917 г. // *Анатомия российской революции 1917 г. в России: массы, партии, власть* / Под ред. В.Ю. Черняева, Гапили, Хаймсона, Б.И. Колоницкого. СПб. 1994.
2. Авен П., Кох А. Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук. М. 2013.
3. Адорно Т. Негативная диалектика. М. 2003.
4. Арендт Х. О революции. М. 2011.
5. Арон Р. Эссе о свободах. М. 2005.
6. Арриги Д. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М. 2009.
7. Архипов И.Л. Общественная психология петроградских обывателей в 1917 году // *Вопросы истории*. 1994. № 7.
8. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск. 1998.
9. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. М. 2003.
10. Баллаев А.Б. Маркс размышляющий. М. 2014.
11. Баллаев А.Б. Философия революции в марксизме начала XX века // *Философия политического действия*. М. 2010.
12. Белл Д. Грядущее индустриальное общество. М. 1999.
13. Беньямин В. О понимании истории // *Озарения*. М. 2000.
14. Бляхер Л.Е. Заклинание революции, или внезапные модуляции революционной метафоры // *Полития*. 2010. № 2 (57).
15. Бляхер Л.Е., Межуев Б.В., Павлов А.В. (ред.) Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. СПб. 2008.
16. Бовин А. Великая революция // *Известия*. 1997. 5 ноября.
17. Богданов А., Степанов И. Курс политической экономии. Т. 11. Выпуск IV. М.-Петроград. 1918.
18. Богданов А.А. Познание с исторической точки зрения. Москва-Воронеж. 1999.
19. Будина М.Э. Понятие «революция» в контексте именования «цветные революции» // *Вестник ТвГУ. Серия филология*. Выпуск 5. 2013. № 24.
20. Бузгалин А. В. Марксизм: Перегрузка // *Марксизм. Очерки марксистской политической экономии*. М. 2013.
21. Бузгалин А.В. Методология и теория исследования социализма: некоторые полемические заметки // *Марксизм. Альтернативы XXI века*. М. 2009.
22. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Эксплуатация XXI века // *Свободная мысль*. 2012. № 7-8, 9-10.
23. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М. 2004.
24. Вартумян А.А. К вопросу о модернизации и архаизации общественных отношений на Северном Кавказе // *Астраполис*. Т. 3. 2014.
25. Вартумян А.А. Региональный политический процесс: динамика, особенности, проблемы. М. 2004.
26. Вартумян А.А. Социокультурные коммуникации как элемент политической культуры населения Юга России в период мировой войны // *Каспийский регион: политика, экономика, культура*. 2014. №2.
27. Вартумян А.А., Корниенко Т.А. Неоднозначность восприятия революционных событий 1917 г. населением Юга России // *История и обществознание*. 2009. № 7.
28. Вартумян А.А., Корниенко Т.А. Политическая культура юга России периода Первой мировой войны. М. 2009.
29. Васильков Ю. Третий путь в XXI век // *Российская газета*. 2000. № 241 (2605). 22 декабря.
30. Виппер Р.Ю. История Нового времени. М. 1997.
31. Выступление Б.Н. Ельцина по I и II каналам телевидения 9 ноября 1993 г. // *Российская газета*. 1993. № 210 (826). 10 ноября.
32. Гаджиев К.С. Политическая наука. М. 1995.
33. Гайдар Е. Двуглавый орел и золотой теленок // *Известия*. 1994. № 216 (24323). 10 ноября.
34. Гайдар Е. От выборов нельзя уйти или спрятаться. Их надо выиграть // *Известия*. 1995. № 64 (24423).
35. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция / Гайдар Е.Т. Власть и собственность. СПб. 2009.
36. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. 1990.
37. Герцен А.И. Сочинения в девяти томах. Т. 8. М. 1958.

38. Гефтер М.Я. Многоукладность – характеристика целого // Вопросы истории капитализма России. Проблема многоукладности. Свердловск. 1972.
39. Гефтер М.Я. Страница из истории марксизма XX века // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М. 1971.
40. Глазьев С.Ю. Как не проиграть в войне. Режим доступа: <http://worldcrisis.ru/crisis/1584472>.
41. Глебова И.И. Политическая культура России. Образы прошлого и современность. М. 2006.
42. Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения // Логос. 2006. № 5 (56).
43. Горбачев М.С. История не фатальна // Московские новости. 1997. № 43. 28 октября.
44. Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: Революция продолжается // Правда. 1987. № 307 (25294). 3 ноября.
45. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 583. Оп. 1. Д. 43, 1001.
46. Грамши А. Избранные произведения. Т. 3.
47. Гроций Г. О праве войны и мира. М. 1994.
48. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М. 1969.
49. Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе. М. 1998.
50. Дидро Д. О достаточности естественной религии // Дидро Д. Сочинения: в 2-х т. М. 1986.
51. Долганов В. Егор Гайдар: у коммунистов есть два варианта – сажать и воевать // Куранты. 1995. № 155. 20 октября.
52. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 27. Л. 1986.
53. Драгунский Д. Октябрь уж отступил // Итоги. 1997. № 43.
54. Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. 2011. № 5 (53).
55. Дугин А.Г. Возможность революции в условиях Постмодерна (постполитики). Режим доступа: <http://konservatizm.org/konservatizm/theory/040211150308.x.html>.
56. Дьячков В.Л., Есиков С.А., Канищев В.В., Протасов Л.Г. Крестьяне и власть (опыт регионального изучения) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.): Материалы международной конференции. М. 1996.
57. Егоров Н.Д. Июньские выборы: за стабильность и за потрясения? // Российская газета. 1996. № 53. 29 марта.
58. Екатеринбург – Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях... Материалы к Летописи. Краснодар. 1993.
59. Ельцин Б.Н. Лишь бы сила аргументов не подменялась силой оружия. Ответы на вопросы журнала «Штерн» // Российская газета. 1993. № 206 (822). 4 ноября.
60. Ельцин Б.Н. О демократической российской государственности и проекте новой Конституции // Обозреватель – Observer. 1993. № 15.
61. Ефремова В.Н. День народного единства: Изобретение праздника // Символическая политика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М. 2012.
62. Завалько Г. Изучение революции в эпоху реакции // Альтернативы. 2013. № 4.
63. Зорькин В. Строительство новой России // Обозреватель – Observer. 1994. № 16-17.
64. Зюганов Г.А. Взгляд за горизонт // Обозреватель – Observer. 1994. № 18.
65. Зюганов Г.А. Дело Октября снова побеждает! // Правда. 2007. № 122.
66. Зюганов Г.А. Россия и современный мир. М. 1995.
67. Зюганов Г.А. Смысл и дело Октября // Советская Россия. 1997. № 130. 6 ноября.
68. Ильинская С.Г. Гражданское общество и современное российское государство // Вестник РУДН. Серия политология. 2009. № 4.
69. Иноземцев В. Раздвоение сознания // Независимая газета. 2012. № 232 (5719).
70. Ирхин А. Социология культуры. М. 2006.
71. История Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. 2-е изд., испр. и доп. Краснодар. 2010.
72. ИТАР-ТАСС. Кто мы? И что нас объединит? // Российская газета. 1996. № 131. 13 июля.
73. Кагарлицкий Б.Ю. Неолиберализм и революция. СПб. 2013.
74. Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России. М. 2000.
75. Кагарлицкий Б.Ю. Управляемая демократия. Екатеринбург. 2005.

76. Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире. СПб. 2003.
77. Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. М. 1994.
78. Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. в 8-ми тт. М. 1994. Т. 7.
79. Кантор В. К. Россия есть европейская держава. М. 1997.
80. Капустин Б. Г. Критика политической философии. Избранные эссе. М. 2010.
81. Капустин Б. Г. О системе образования в России и США, «реформе» РАН и роли философии в жизни современного общества // Интервью в рамках проекта «Устная история». Режим доступа: <http://oralhistory.ru/projects/science/philosophy/kapustin>.
82. Капустин Б.Г. О предмете и употреблении понятия «революция» // Логос. 2008. № 6.
83. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М. 1998.
84. Кара-Мурза С.Г. Это была патриотическая революция. Профессор С. Кара-Мурза в диалоге с обозревателем «Правды» В. Кожемяко // Правда. 2007. № 116. 19-22 октября.
85. Касториadis К. Воображаемое установление общества. М. 2003.
86. Касториadis К. Дрейфующее общество. М. 2012.
87. Каутский К. От демократии к государственному рабству // Большевизм в тупике. М. 2002.
88. Кива А. Россия после коммунизма // Российская газета. 1997. № 180. 17 сентября.
89. Ключевский В. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М. 1968.
90. Ключевский В. Лекции. Запись Н.Н. Селивановой. Б. м. и г.
91. Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественные записки. 2004. № 3.
92. Козырев А.В. Преображение. М. 1994.
93. Колесник В.И. Курс лекций по истории Западноевропейского Средневековья (V-XV вв.): учебное пособие для вузов. Элиста. 2009.
94. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб. 2001.
95. Колоницкий И.Б. «Демократия» как идентификация: К изучению политического сознания Февральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М. 1997.
96. Кондорсе Ж.-А. Эскиз картины прогресса человеческого разума. М. 1936.
97. Константинов С. Октябрьская революция была неизбежна // Независимая газета. 2000. № 211 (2273). 5 ноября.
98. Конт О. Дух позитивной философии. СПб. 1910.
99. Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М. 2011.
100. Коробков Ю.Д. Между двуглавым орлом и красным знаменем. Общественное сознание российского общества в 1917 г. Магнитогорск. 2000.
101. Косовский сценарий для Киргизии? // Фонд стратегической культуры. 27.07.2010. Режим доступа: www.fondsk.ru
102. Краснов М. Мы проснулись в другой стране // Российская газета. 2001. № 160 (2772). 18 августа.
103. Крылов В.В. Капиталистически ориентированная форма развития освободившихся стран в методологии марксистского исследования // Рабочий класс и современный мир. 1982.
104. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М. 2005.
105. Купряшкин И.В. Мир-системный подход к всемирной истории: от минимиров к мир-социуму // Философия и общество. 2012. Выпуск №3 (67).
106. Магун А. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб. 2008.
107. Куренной В. Перманентная буржуазная революция // Прогнозис. 2006. № 3 (7).
108. Левая политика. 2012. № 17-18.
109. Ленин В.И. Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала. Полн. собр. соч. Т. 44. М. 1964.
110. Логинов В.Т. Анатомия революции // Прогнозы и стратегии. 2008-2009. № 1.
111. Локк Дж. О государственном правлении // Избранные философские произведения в двух томах. Т. II.
112. Лукач Д. Ленин и классовая борьба. М. 2008.
113. Люксембург Р. О социализме и русской революции. М. 1991.

114. Магун А. Понятие и опыт революции. Режим доступа: http://www.polit-studies.ru/universum/esse/11mgn.htm#_ftnref4.
115. Магун А.В. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб. 2008.
116. Макеев С.В. Технократические идеи и концептуальные построения в их историко-философском развитии. М. 2006.
117. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3, 4, 23, 34, 39. М. 1955.
118. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование об идеологии Развитого Индустриального Общества. М. 1994.
119. Марченя П.П., Разин С.Ю. (ред.) Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории: Сборник научных статей (к 95-летию Февраля – Октября 1917 г.). М. 2012.
120. Межуев В.М. Идея всемирной истории в учении Карла Маркса // Логос. 2011. № 2.
121. Миллер А.И. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М. 2012.
122. Миронов С. Октябрь 17-го: уроки без забвения // Российская газета (Федеральный выпуск). 2007. № 4506.
123. Монтескье Ш. О духе законов. Кн. IV. Гл. 5 // Монтескье Ш. Избранные произведения. М. 1955.
124. Моравский Н. Россия и демократия // Независимая газета. 1993. № 31 (455).
125. Мусаэлян Л.А. О законах истории, цветных революциях и возможности белой революции в России // Вестник Пермского университета. Сер. Философия. Психология. Социология. 2012. Вып. 3 (1).
126. Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года // Отечественные записки. 2004. № 5 (20).
127. Нарочницкая Н. Революция: до основания, а зачем? Интервью Б. Кроткова с Н. Нарочницкой // Российская газета. (Неделя). 2007. № 4508. 1 ноября.
128. Никонов В. Российский век // Известия. 1999. 28 декабря.
129. Ницше Ф. О пользе и вреде истории // О пользе и вреде истории. Сумерки кумиров. О философах. Об истине и лжи во внеэтичном смысле. М. 2003.
130. О Дне согласия и примирения. Указ Президента РФ // Российская газета. 1996. № 214 (1574).
131. Обозреватель – Observer. 1994. № 21-24.
132. Одесский М., Фельдман Д. Революция как идеологема (к истории формирования) // Общественные науки и современность. 1994. № 2.
133. Опенкин Л. Река времени вспять не течет // Российская газета. 1996. № 107. 7 июня.
134. Отклики Кавказа. 1917. 14 марта, 22 июля.
135. Пантин И.К. Судьбы демократии в России. М.: ИФ РАН, 2004.
136. Пастухов В.Б. Реставрация вместо реформации. Двадцать лет, которые потрясли Россию. М. 2012.
137. Письма во власть 1917 – 1927 гг. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям: сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М. 1998.
138. Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций. М. 2000.
139. Попов Г. Месяц Скорпиона, год Красной Змеи // Известия. 1997. 6 ноября.
140. Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны. Екатеринбург. 2000.
141. Прасвет. 2011. № 1. Листопад.
142. Пристланд Д. Красный флаг. История коммунизма. М. 2011.
143. Проханов А. Великая Октябрьская Владимиропутинская революция // Завтра. 2007. № 45 (729). 7 ноября.
144. Путин В.В. Не жечь мостов, не раскалывать общество // Российская газета. 2000. № 233 (2597).
145. Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». 2003.
146. Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря.
147. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 66. Д. 6, 9, 12, 15, 64.
148. Руссо Ж-Ж. О происхождении неравенства и основаниях неравенства между людьми; Об общественном договоре, или Принципы политического права // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М. 1969.
149. Ситнянский Г.Ю. Отношения севера и юга Киргизии: история и современность. М. 2007.

150. Собчак А.А. Мы начинали реформы, не рассчитывая на аплодисменты // Российская газета. 1996. № 95. 2 мая.
151. Соколова М., Яковлева Е. Прибавление смуты. Что мы будем праздновать 4 ноября // Российская газета (Федеральный выпуск). 2004. № 3621. 4 ноября.
152. Солженицын А. Ленин в Цюрихе // Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Екатеринбург. 1999.
153. Соловьев С. Сочинения. Кн. XIX. М. 1995.
154. Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Трактаты. М. 1998.
155. Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина. М. 2004.
156. Сурмин Ю.П. Постмодерн-революции: сущность и тенденции развития // Социология власти. 2005. № 6.
157. Тарасов А. Ты за какой Октябрь? // Дом и Отечество. 1997. № 38 (76). 1-7 ноября.
158. Терские Ведомости. 1917. 19 апреля.
159. Тихонова В.А. Политическая культура российского общества: Социально-философский аспект. М. 2001.
160. Токвиль А. Старый порядок и революция. М. 1905.
161. Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб. 2008.
162. Третьяков В. 1917, 1937, 1957, 2007, 2017 // Московские новости. 2007. № 43. 2 ноября.
163. Третьяков В. Уроки Октябрьского (1917) и августовского (1991) переворотов // Независимая газета. 1991. № 140. 7 ноября.
164. Троцкий Л.Д. Преданная революция. М. 1991.
165. Федорова М.М. Понятие политического в контексте феноменологической критики концепции истории // Полис. 2007. № 4.
166. Филиппов А. К теории социальных событий // Логос. 2005. № 5.
167. Филиппов А. Триггеры абсолютных событий // Логос. 2006. №5 (56).
168. Фисун А. Политическая экономия «цветных революций»: неопатримониальная интерпретация // Прогнозис. 2006. № 3 (7).
169. Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи // Сочинения в двух томах. Т. II. СПб. 1993.
170. Фролов И. Введение в философию. Режим доступа: <http://eurasialand.ru/txt/frolov1/188.htm>.
171. Фуко М. Интеллектуалы и власть. М. 2002.
172. Фуко М. Что такое Просвещение? Пер. Н.Т. Пахсарьян // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 2.
173. Фурсов А.И. Недолгое счастье среднего класса // РФ сегодня. 2007. № 10.
174. Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М. 1998.
175. Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и истощенность утопической энергии // Политические работы. М. 2005.
176. Хабермас Ю. Философский дискурс о Модерне. М. 2003.
177. Хобсбаум Э. Век капитала. 1848 – 1875. Ростов н/Д. 1999.
178. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб. 1998.
179. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». М. 1991.
180. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.-СПб. 1997.
181. Чаннинг Э. Приложение // История Северо-Американских Соединенных Штатов. М. 1897.
182. Че Гевара Э. Опыт революционной борьбы. М. 2012.
183. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в пятнадцати томах. Т. X.
184. Штраус Л. Прогресс или возврат? Современный кризис западной цивилизации // Штраус Л. Введение в политическую философию. М. 2000.
185. Штыков П. Деконструкция революции // Повороты истории. Том 2. Науч. ред. В. Гельман. СПб. 2003.
186. Шубин А. Социализм. «Золотой век» теории. М. 2007.
187. Шубин А.В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. М. 2005.
188. Эйзенштадт Ш. Конструктивные элементы великих революций: Культура, социальная структура, история и человеческая деятельность // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1. Вып. 2.
189. Эксперт. Специальный выпуск журнала: Смогут ли исламисты провести модернизацию Ближнего Востока? 2012. № 30-31 (813). 30 июля – 12 августа.

190. Эритье Л. История Французской революции 1848 года и второй республики. СПб. 1907.
191. Эсенбаев А.Э. «Революция тюльпанов» в Кыргызстане и особенности трансформации политической системы: попытка осмысления // Власть. 2009. № 3.
192. Яковлев А.Н. Если большевизм не сдастся // Российская газета. 1996. № 199. 17 октября.
193. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917 – 1922 гг. СПб. 1999.
194. Abbot A. From Causes to Events // Sociological Methods and Research. 1992. Vol. 20. № 4.
195. Abrams P. Historical Sociology. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1982.
196. Akayev Blames U.S. for Kyrgyz Uprising // Moscow Times. 01.07.2005.
197. Anderson P. Modernity and Revolution // New Left Review. 1984. № 144.
198. Arendt H. La Crise de la culture / Trad. Franc. De Between Past and Future. P.: Gallimard, 2009.
199. Arendt H. What Is Freedom? // Between Past and Future. NY: Penguin, 1977.
200. Aron R. Dix-huit lecons sur la societe industrielle. P. 1962.
201. Aron R. Sociologie des societes industrielles. P. 1964.
202. Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
203. Badiou A. Infinite Thought. Truth and the Return to Philosophy / Tr. O. Feltham and J. Clemens. L-NY: Continuum, 2003.
204. Badiou A. On a Finally Objectless Subject // Who Comes After the Subject? Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, 1991.
205. Baker K.M. Inventing the French Revolution: Essays on the French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
206. Balandier G. Political Anthropology / Tr. A. Sheridan Smith. NY: Random House, 1970.
207. Balibar E. Citizen Subject // Who Comes After the Subject? Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, 1991.
208. Balibar E. Marx, the Joker in the Pack (or the Included Middle) // Economy and Society. 1985. Vol. 14. № 1.
209. Benjamin W. Theses on the Philosophy of History // Illuminations, ed. H. Arendt. NY: Schocken Books, 1978.
210. Bensaid D. Alain Badiou and the Miracle of Event // Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, ed. P. Hallward. L-NY: Continuum, 2004.
211. Bobbio N. Gramsci and the Conception of Civil Society // Gramsci and Marxist Theory, ed. C. Mouffe. L.: Routledge and Kegan Paul, 1979.
212. Bourdieu P. Pascalian Meditations / Tr. R. Nice. Stanford (CA): Stanford University Press, 2000.
213. Brenner R. Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism // The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone, ed. A.L. Beier et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
214. Brinton C. The Anatomy of Revolution. N.Y. 1965.
215. Calvert P. Revolution and Counter-Revolution. Milton Keynes (UK): Open University Press, 1990.
216. Castoriadis C. Les carrefours du labyrinthe. P. 1978.
217. Castoriadis C. The Idea of Revolution // The Rising Tide of Insignificance. Печать доступна: <http://www.notbored.org/RTI.pdf>.
218. Chateaubriand R. Memoires d'outre-tomde. Livre V. Ch.11.
219. Che Guevara E. Guerilla Warfare: A Method // Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara, ed. J. Gerassi. NY: Macmillan, 1968.
220. Clemens J. and O. Feltham. The Thought of Stupefaction; Or, Event and Decision as Non-Ontological and Pre-Political Factors in the Work of Gilles Deleuze and Alain Badiou.
221. Comaroff J.L. and J. Introduction // Civil Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives, ed. J.L. and J. Comaroff. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.
222. Condorcet J.-A. Sur le sens du mot "revolutionnaire" // Euvres compl. de Condorcet. V. 12. P. 1847.
223. Countryman E. The American Revolution. NY: Hill & Wang, 1985.
224. Darnton R. What Was Revolutionary about the French Revolution? // The French Revolution in Social and Political Perspectives, ed. P. Jones. L.: Arnold, 1996.
225. Davidson N. How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? // Historical Materialism. 2005. Vol. 13. № 3.

226. Davies J.K. *Democracy and Classical Greece*. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1993.
227. Debord G. *The Society of the Spectacle*. Detroit: Black & Red, 1977.
228. Descombes V. A propos of the «Critique of the Subject» and of the Critique of this Critique // *Who Comes after the Subject?* Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, 1991.
229. Doyle W. *Revolution and Counter-Revolution in France // Revolution and Counter-Revolution*, ed. E.E. Rice. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
230. Dunn J. *Capitalist Democracy: Elective Affinity or Beguiling Illusion // Daedalus*. 2007. Vol. 136. № 3.
231. Dunn J. *Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
232. Ellul J. *La technique ou L'enjeu du siecle*. P. 1954.
233. Finlay C.J. *Violence and Revolutionary Subjectivity // European Journal of Political Theory*. 2006. Vol. 5. № 4.
234. Finley M.I. *Revolution in Antiquity // Revolution in History*, ed. R. Porter and M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
235. Forrest W.G. *The Emergence of Greek Democracy*. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1966.
236. Foucault M. *The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom: An Interview with Michel Foucault // Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault, 1954-1984*, ed. P. Rabinow. Vol. 1. L.: Penguin Books, 1997.
237. Furet F. *The French Revolution Is Over // The French Revolution in Social and Political Perspectives*.
238. Gadamer H.-G. *Le probleme de la conscience historique*. P.: Seuil, 1996.
239. Gagliardo J.G. *Enlightened Despotism*. Arlington Heights (IL): Harlan Davidson, 1967.
240. Garton Ash T. *The Last Revolution // The New York Review of Books*. 2000. November 16 (Vol. 47. № 18).
241. Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
242. Godechot J. *The Taking of the Bastille: July 14, 1789 / Tr. J. Stewart*. NY: Charles Scribner's Sons, 1970.
243. Gorz A. *Adieux au proletariat*. P. 1980.
244. Gramsci A. *Selections from the Prison Notebooks / Tr. Q. Hoare and G. Nowell Smith*. L.: Lawrence and Wishart, 1971.
245. Griffin L. *Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology // Sociological Methods and Research*. 1992. Vol. 20. № 4.
246. Grote G. *History of Greece*. Vol. 3. L.: J. Murray, 1862.
247. Gurvitch G. *Les fondateurs de la sociologie contemporaine*. P. 1957.
248. Gusdorf G. *Les sciences humaines et la pensee occidentale*. T. VIII. *Lacon science revolutionnaire. Les Ideologues*. P. 1978.
249. Hampson N. *The Enlightenment: An Evaluation of Its Assumptions and Values*. Harmondsworth: Penguin, 1990.
250. Hartog F. *Régimes d'historicité. Présent is meet experiences du temps*. P.: Ed. du Seuil, 2003.
251. Hayek F.A. *Law, Legislation and Liberty*. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
252. *Historisches Lexikon zur Politisch-Sozialen Sprache in Deutschland*. Bd. 5. Stuttgart: Klett-Cotta, 1984.
253. Hobsbawm E. *The Making of a 'Bourgeois Revolution' // Social Research*. 1989. Vol. 56. № 1.
254. Jameson F. *A Singular Modernity. Essays on the Ontology of the Present*. L.-NY: Verso, 2002.
255. Jameson F. *Introduction // Kouvelakis E. Philosophie et revolution*. P.: PUF, 2003.
256. Klima A. *The Bourgeois Revolution of 1848-9 in Central Europe // Revolution in History*.
257. Koselleck R. *Historical Criteria of the Modern Concept of Revolution // Koselleck R. Futures Past; On the Semantics of Historical Time*. NY: Columbia University Press, 2004.
258. Koselleck R. *Le futur du passé. Contribution à l'analyse de la notion de temps historiques / Trad. Hoock J., Hoock M.-C.* P.: EHESS, 1990.
259. Kuran T. *Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989 // World Politics*. 1991. Vol. 44. № 1.
260. Laclau E. *New Reflections on the Revolution of Our Time*. L.-NY: Verso, 1990.

261. Lefebvre G. The Coming of the French Revolution / Tr. R.R. Palmer. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2005.
262. Lermnier E. Lettres philosophiques adresses á un Berlinois. P. 1832.
263. Lindblom C.E. The Market as Prison // The Journal of Politics. 1982. Vol. 44. № 2.
264. Lipset S.M. and G. Bence. Anticipations of the Failure of Communism // Theory and Society. 1994. Vol. 23. № 2.
265. Louis Dumont. Essays on Individualism. Modern Ideology in Anthropological Perspective. The University of Chicago. Press Chicago and London. 1968.
266. Lusebrink H-J. and R. Reihardt. The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom / Tr. N. Schurer. Durham (NC): Duke University Press, 1997.
267. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1966.
268. Mouzelis N. Evolution and Democracy: Talcott Parsons and the Collapse of Eastern European Regimes // Theory, Culture and Society. 1993. Vol. 10. № 1.
269. Neocleous M. Fascism. Bristol. 1997.
270. Ober J. The Athenian Revolution of 508/7 B.C.: Violence, Authority, and the Origins of Democracy // The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1996.
271. Olson M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. NY: Basic Books, 2000.
272. Olson M. Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.
273. Osborne R. When Was the Athenian Revolution? // Rethinking Revolutions Through Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
274. Polanyi M. Tacit Dimension. NY: Anchor Books, 1967.
275. Porter R. The Enlightenment. Basingstoke (UK): Macmillan, 1990.
276. Przeworski A. Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
277. Rosenthal J. Who Practices Hegemony? Class Division and the Subject of Politics // Cultural Critique. 1988. № 9.
278. Rothman S. Barrington Moore and the Dialectic of Revolution: An Essay Review // The American Political Science Review. 1970. Vol. 64.
279. Sahlins M. The Return of the Event, Again // Clio in Oceania: Toward a Historical Anthropology. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1991.
280. Schöpfung G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths // Myths and Nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schöpfung. New York: Routledge etc., 1997.
281. Schumpeter J.A. Imperialism and Social Classes, ed. P.M. Sweezy. NY: A.M. Kelley, 1951.
282. Sewell W.H., Jr. Historical Events as Transformations of Structures // Theory and Society. 1996. Vol. 25. № 6.
283. Sharman J.C. Culture, Strategy, and State-Centered Explanations of Revolution, 1789 and 1989 // Social Science History. 2003. Vol. 27. № 1.
284. Skockpol T. States and Social Revolutions. Cambridge University Press, 1979.
285. Skockpol T. (with M. Somers). The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry // Social Revolutions in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
286. Smith A. Myths and memories of the nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.
287. The Defeated Cause of Revolutions // Social Research. 2007. Vol. 74. № 4.
288. The Future of Revolutions, ed. J. Foran. L.: Zed Press, 2003.
289. Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999. Vol. 38. № 2.
290. Touraine A. L'après socialisme. P. 1980.
291. Touraine A. La société post-industrielle. P. 1969.
292. Touraine A. Les autres. Mouvements sociaux d'aujourd'hui. P. 1982.
293. Trimberger E.K. A Theory of Elite Revolutions // Studies in Comparative International Development. 1972. Vol. 7. № 3.
294. Troeltsch E. The social Teaching of the Christian Churches and Groups. 2 vols. New York. 1960. Published in 1911.
295. Trotsky L. The History of the Russian Revolution. Vol. 1, tr. M. Eastman. NY: Simon & Schuster, 1932.
296. Voegelin E. From Enlightenment to Revolution, ed. J.H. Hallowell. Durham, NC: Duke University Press, 1975.

297. Walker E.M. The Periclean Democracy // Cambridge Ancient History. Vol. 5, ed. J.B. Bury et al. Cambridge: University Press, 1927.

298. Wang Hui. Depoliticized Politics, from East to West // New Left Review. 2006. № 41.

299. Wertsch J.V. Voices of Collective Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

300. Wolin S. The Politics of the Study of Revolution // Comparative Politics. 1973. Vol. 5. № 3.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Баллаев Андрей Борисович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук».

Вартумян Арушан Арушанович – доктор политических наук, профессор, проректор по научной работе Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске.

Водолазов Григорий Григорьевич – доктор философских наук, профессор МГИМО (У) МИД России.

Глинчикова Алла Григорьевна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук», профессор кафедры политологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет».

Ильинская Светлана Геннадьевна – кандидат политических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук», доцент ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ответственный редактор).

Кагарлицкий Борис Юльевич – кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений.

Капустин Борис Гурьевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук», visiting-professor Yale-University.

Корниенко Татьяна Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научной работе филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире.

Летняков Денис Эдуардович – кандидат политических наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук», доцент ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук».

Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук», профессор НИУ «Высшая школа экономики», профессор МГИМО (У) МИД России.

Пантин Игорь Константинович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук».

Самарская Елена Александровна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии наук».

Федорова Мария Михайловна – доктор политических наук, заведующая сектором истории политической философии, заместитель директора ФГБУН «Институт философии Российской академии наук», декан факультета политологии ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук».